



ФРИДА ВИГДОРОВА
Любимая улица



Проза:
женский род

Фрида Вигдорова

Любимая улица

**Астрель
Москва**

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
В42

Вигдорова, Ф.А.

В42 Любимая улица /Фрида Вигдорова. — М.: Астрель, 2012. — 384 с. — (Проза: женский род)

ISBN 978-5-271-40747-5 (ООО «Издательство Астрель»)

Повесть «Любимая улица» — одна из лучших книг Фриды Вигдоровой — завершает ее дилогию (первая повесть — «Семейное счастье»). Это книга о семье, о любви, о долге, о человеческих отношениях. О том, что можно быть просто счастливым. Вигдорова возвращает надежду и веру в то, что все будет хорошо.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-985-18-1557-5
(ООО «Харвест»)

© Вигдорова Ф.А., наследники, 2012
© ООО «Издательство Астрель», 2012

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

— Ну, Аня, — сказала Анисья Матвеевна, — кто ж тебя в первый раз в школу-то поведет?

Аня ответила:

— В первый день меня поведет мама. Во второй — ты или бабушка, а в третий, если захочет, — Митя.

И он настал, этот день — первое сентября 1944 года. Они проснулись очень рано, обе — Аня и Саша. Но Анисья Матвеевна поднялась еще раньше. Она выгладила саатиновое синее платье и пришила к нему белый воротничок. Она, строго приучавшая Аню чистить башмаки, сегодня сама их начистила до блеска. А на столе стоял царский завтрак: горячее молоко и белый хлеб с маслом!

Катя, которой было уже два года и которая очень любила поесть, тоже вскочила с кровати и уселась на стул против Ани.

— А помнишь, — сказала она, — ты один раз пила молоко и оставила мне?

Аня налила ей молока на блюдце и сказала:

— Не обожгись!

— А хлебушка белого? — осторожно сказала Катя.

— Дала бы человеку поесть! Человек в школу собирается, — сердито сказала Анисья Матвеевна.

Аня ходила по комнате так, будто проглотила аршин, — очень прямо и осторожно. Она боялась сесть, чтоб не помять платье, боялась повернуть голову — как бы не растрепались волосы.

— В добрый час! — сказала Анисья Матвеевна, когда Аня и Саша спускались с лестницы.

И снова Саша ведет свою девочку по московским улицам.

Город ее детства и юности. Вспоминала ли она его там, в Ташкенте? Ей было некогда вспоминать. Она просто помнила его постоянно. Может быть, она даже не знала, что помнит. Он вставал перед ней вдруг и всегда неожиданно. Кривым переулком, по которому они когда-то бродили с Юлей. Зачем они оказались там? Этого Саша не помнила. Вечер. Зажигаются окна. Вдалеке старая церквушка... Саша ведет за руку маленького Лешу. Он размазывает по лицу слезы, а она говорит наставительно: ну, не плачь, не плачь... Сколько же ей было тогда? И этого она не помнит. Много, много раз видела она Красную площадь. Но теперь ей кажется, что она видела ее только однажды. В памяти вставали темные на темнеющем небе стены Кремля. Саша с Андреем идут через Красную площадь мимо Мавзолея, вниз к реке. Саша запрячала себе об этом вспоминать и долго, долго не вспоминала.

И вот снова перед ней Москва. Саша вернулась сюда, став взрослой. Сколько же для этого должно было пройти лет? Всего три года. Но столько вместили эти три года — целую жизнь! Сейчас ей кажется, что только там, в одиночестве первых ташкентских месяцев, она по-настоящему поняла, что значит быть матерью. Только в разлуке с отцом поняла, что значит быть дочерью. Только ожидая писем с фронта и видя солдат, выходящих из госпиталей, она поняла, что значит быть сестрой своего брата. И конечно, только сейчас она поняла, что значит быть женой. Нет, прежде она этого не знала.

Саша идет с Анютой по московской улице. На этот раз их путь недалек, школа за углом. Сентябрь. Еще не опали листья с деревьев. На школьном дворе стоят большие, старые деревья. Сколько школьников перевидали

они на своем веку! Сейчас здесь одни девочки. Они нарядные, с разноцветными бантами, но Саше не нравится, что здесь одни девочки. И зачем так сделали? И еще одно замечает Саша: с другими девочками тоже мамы, отцов не видно.

Двоих привел дедушка: седой, сгорбленный, руки дрожат. И только один папа на школьном дворе — в выцветшей гимнастерке со споротыми погонами. Он держит букет, и лицо у него торжественное.

На порог школы выходят три женщины, это учительницы первых классов. Одна из них, видно, только что кончила институт. На блузке комсомольский значок. Что-то в ней есть мальчишеское, лихое: короткая стрижка, вихор на макушке, а глаза чуть растерянные, и руки не знает, куда девать. Ей хочется быть и веселой, и приветливой, но она боится, как боится всякая учительница, впервые встречающая своих будущих питомцев. А они боятся ее. Аня крепко сжимает Сашину руку и шепчет:

— Боюсь.

Другая учительница чуть постарше, миловидная, с гладкой кожей, гладкой прической, в гладком сером костюме, над губой маленькая черная родинка. Она держится уверенно, она громко и ласково говорит:

— Первый «А»! Ко мне!

До чего же они смешные, те, что бегут к ней, они чем-то похожи на цыплят. Все смешалось, перепуталось, кто-то спрашивает:

— А я первый «А»?

Кто-то зовет в последний раз безнадежно и отчаянно: мама! — и учительница начинает толково и быстро расставлять детей в пары.

«Значит, не Анина, — подумала Саша и с надеждой взглянула на ту, что с вихорком. — Как бы хорошо, если

б Аня попала к ней!» Но нет, молоденькая сказала дрогнувшим голосом:

— Первый «Б»! Ко мне!

Аня была зачислена в первый «В», и Саша перевела глаза на высокую пожилую женщину в синем английском костюме.

— Мама, она злая? — шепотом спросила Аня.

— Ну почему ты думаешь? — неуверенно ответила Саша.

Учительница была несколько не злая, она, наверно, была просто строгая. Она даже улыбнулась, показала два металлических зуба и сказала спокойно и властно:

— Первый «В», становитесь в пары! Мамаши, прошу прийти за детьми в половине первого!

Сердце Саши сжалось, она отпустила Анину руку. А та женщина, которая будет иметь над Аней такую же власть, как она, шла вперед не оглядываясь, а за ней испуганно и покорно, сбивая шаг, тянулась вереница девочек с короткими косичками и пестрыми лентами. Открылись двери, впустили эту робкую вереницу и захлопнулись. А мамы все еще стояли на школьном дворе и не знали, что делать дальше.

Теперь, когда Ани с ней не было, Саша оглянулась и увидела толпу старшеклассниц. Девочки смеялись, зашлебываясь о чем-то рассказывали друг другу, и Саша вдруг пожалела, что она никогда уже не сможет как равная смешаться с этой веселой толпой.

«Ах, как бы хорошо, если бы та, молоденькая, с виHORком! — снова подумала Саша. — А может, лучше, что эта? Опытная, строгая, приучит к дисциплине...» Но слова пошли такие скучные, хоть и правильные, мысли такие нерадостные, что не хотелось и думать об этом. Она ускорила шаг. В газетах всегда пишут, будто это такой счастливый день, когда в первый раз отводишь свое-

го ребенка в школу. Почему же она не радуется? А если б оказалась та, молоденькая, может, радовалась бы?

Саша отворяет калитку своего двора. Распахнуты окна, двери балконов. Еще тепло. Из того окна не выглядывает Петька, не окликнет: Са-аша! Его нет в живых, он убит под Ельней. А каштан? Нет, лучше не глядеть туда... И, дав себе слово не глядеть, она вдруг оглядывается. Там стоит обугленный каштан, а она так помнит его в зелени, в цвету. Всякий раз, вновь увидев черный ствол и голые ветки, она непременно вспоминает щедрую листву и бело-розовые цветы среди зелени. Как давно это было!

Быстро, через две ступеньки, Саша поднимается по лестнице — сколько раз она по ней поднималась с тех пор, как помнит себя. Сколько раз вспоминала в эвакуации. Сколько раз ждала той минуты, когда снова взлетит по ней. Оттуда, издалека, ей казалось, что она никогда не привыкнет к счастью ходить по этим наизусть знакомым ступенькам. Там, в Ташкенте, когда они еще были одни с Аней, она постоянно видела этот дом во сне. Из всех домов на свете он был ей самым дорогим. Закопченный, старый, тронутый войной: кое-где фанера вместо стекла, осыпавшаяся штукатурка, отбитый угол — это случилось в ту памятную бомбежку, после которой ее выпроводили из Москвы.

Когда она была маленькая, она съезжала по этим перилам, пряталась на той, верхней площадке.

Вот дверь из квартиры. На стене слева до сих пор не стерлась надпись: «Куда ты девалась? Я сто раз заходила. Юля».

Саша повернула ключ, вошла в переднюю и тотчас стукнулась о сундук, на котором теперь спала Анисья Матвеевна. Сундук стоял здесь с незапамятных времен, но все натыкались на него: свет экономили, и в коридоре было темно.

Саша принялась убирать в комнате. Здесь было тесно, теперь тут жили четверо. Саша никогда не думала, что это будет так трудно — вновь жить в этой комнате.

Комнату нельзя было узнать: диван, раскладушка, две детские кровати, книжный шкаф, неизвестно как здесь поместившийся. Письменный стол не стоял больше у окна, Митя работал в комнате Константина Артемьевича или в редакции.

Да, все было другое. А стены те же. Вот они-то все и подняли со дна души.

Сегодня я отвела ее в школу. Я хочу вспомнить твое лицо. Встань, улыбнись, посмотри мне в глаза... Но лицо Андрея ускользало, расплывалось. И вдруг оно встало перед ней на мгновение — юное, доброе, ямка на щеке. Оно встало перед ней с пронзительной отчетливостью. Саша принялась перебирать книги. Андрей не уходил. Он глядел на нее теплыми коричневыми глазами, Аниными глазами.

Саша открыла окно и выглянула на улицу. Во двор входила Анисья Матвеевна с Катей.

Саша знала, что братья и сестры иногда бывают не похожи друг на друга, но все-таки ее не переставала удивлять Анина и Катина несхожесть. В Кате не было Аниной тишины, робости Аниных первых лет. Она была драчунья, она приставала к детям во дворе, она была ревнива и пристрастна. И очень уверена в своих правах — в праве на любовь, на счастье, на хлеб с маслом (масло бывало редко!), на всеобщее уважение, и уж конечно на немедленный отклик мира, земли, прохожего — на все, что Кате хочется узнать или спросить: мама, а скажи... Мама, погляди на меня! Мама!

Саша помахала ей из окна. Катя стояла задрав голову. Лицо ее сияло навстречу Саше, она что-то кричала сни-

зу, но Анисья Матвеевна подтолкнула ее к дверям, и обе скрылись в парадном. Вот ее ноги затопали по коридору, вот и она:

— А мы чего принесли! В магазине давали! Подушечки! Сладкие!

...Уже двенадцать. Пора идти за Аней... «У нас сегодня праздник, хорошо бы купить цветы», — подумала Саша. Она взяла в цветочном киоске розовую, красную и белую, чуть поблекшую, остро пахнущую гвоздику и, боясь опоздать, ускорила шаг.

«Неужели я опоздала?» — подумала Саша. И в самом деле, во дворе уже толпились мамы и разговаривали между собой, то и дело поглядывая на дверь школы. И вдруг Саша заметила Митю. Он стоял к ней спиной в своей потертой кожаной куртке, заложив руки в карманы. Она хотела его окликнуть, но тут отворилась тяжелая школьная дверь и вышли девочки-первоклассницы. Торжественно и молча, сияя Мите улыбкой, спускалась Аня с каменного крыльца. Он присел на корточки и широко расставил руки. Она ускорила шаг, почти побежала и ринулась в эти руки, крепко обнявшие ее. Митя смеялся, Саша знала это, хотя он и стоял к ней спиной. Выражение его лица и глаз отразилось в выражении Аниного лица. Он взял Аню на руки, как маленькую, поцеловал и, только поставив ее наземь, увидел Сашу.

— Ой, мама, Митя, послушайте, — говорила Аня захлебываясь, — и я сказала Зинаиде Петровне: не буду я сидеть с этой девочкой, она толкается. А Зинаида Петровна сказала: привыкай к коллективу. А когда спрашиваешь, надо поднимать руку. А букетов — ну, прямо сто штук — на подоконнике, и у нее на столе, и где только хочешь. А одна девочка говорит: не отдам я ей свой букет, у нее и так много. А другая девочка...

Они шли по улице — Митя, Саша и между ними Аня. И Саша держала в свободной руке гвоздику, а придя домой, поставила ее в воду.

— Это мне? — спросила Аня.

— Конечно! — ответил Митя и тотчас повернулся к Анисье Матвеевне: — Неужели сегодня нет пирога?

— Еще чего — нет! Скажет тоже! Из кожи лезли, муки заняли, будет пирог!

— С капустой? — спросила Катя.

— С яблоком! — сухо и гордо ответила Анисья Матвеевна.

Саша слышала все это и видела веселые лица детей и полное достоинства лицо Анисьи Матвеевны.

«Неужели я все испорчу и заплачу?» — подумала она и быстро вышла в коридор.

Теплая, большая рука легла ей на плечо. Она повернулась — Митя. Он привлек ее к себе, заглянул в глаза:

— Ну что? Ну что ты?

Он откинул ей со лба волосы, поцеловал глаза, щеки, а Саша, не умея найти ответных слов, повторяла, плача:

— Митя... Митя...

— Уж шли бы на свою жилплощадь, что ли, от соседей совестно! — раздался рядом сдержанный голос Анисьи Матвеевны.

— Что ж такого? Почему совестно? Я ее поздравляю! — ответил Митя. — Дочь в школу пошла — это можно приравнять к Первому мая!

Когда Анисья Матвеевна в первый раз постлала себе на старом сундуке, Ольга Сергеевна, соседка, сказала:

— Нет такого правила, чтоб прислуга жила в коридоре.

— Я те покажу прислугу, — спокойно отчеканила Анисья Матвеевна, да так, что Ольга Сергеевна больше не пыталась вступить с ней в спор.

Ольга Сергеевна была в квартире единственной прежней жилищей. Тетя Даша умерла, не вернулись из эвакуации другие соседи, вместо них жили новые люди.

Вот за той дверью в конце коридора живут молодые супруги. У них двое мальчишек: одному три года, другому пять.

Раньше самыми шумными в квартире были Константин Артемьевич и его семья. Теперь они остались далеко позади, и на первое место вышли молодые супруги. Они ссорились так, что звенели стекла не только в их комнате, но и у всех по соседству.

Находя арену своей комнаты слишком тесной, молодые супруги без стеснения выскакивали в коридор — обычно это бывало по ночам — и поливали друг друга бранью.

— Ты зачем с ним в кино бегаешь? — кричал муж, Юра.

— Оглянись на себя! — отвечала Леля, жена, и все оглядывались на Юру, который тарасил обезумевшие глаза на неверную жену и все норовил оскорбить ее посильнее и ударить покрепче.

— Поднять руку на женщину! Позор! — кричал Константин Артемьевич. — Я сейчас позвоню в милицию.

— Не волнуйся, голубчик! — уговаривала Нина Викторовна и добавляла: — Какие впечатления для детей! А такая тихая была квартира!

— Ну и люди! И выспаться не дадут! — спокойно, но с досадой говорила Анисья Матвеевна. — Дрались бы на своей площади. Зачем будить весь дом?

Еще одна новая соседка — она жила в маленькой комнате при кухне, высокая, худощавая стенографистка, тоже выходила на крик. Она запахивала халат, поднимала тонкие, аккуратно выщипанные брови и презрительно спрашивала:

— Опять? Ну что ж. Хорошую вещь браком не назовут.

И какой бы час ночи ни был, зябко поводя плечами, ставила на газ эмалированный кофейник.

Аня очень боялась ночных криков. Она говорила, проснувшись:

— Мама, сядь ко мне. Мама, разве большие тоже дерутся?

А Катя, если крик будил ее, садилась на кровати и деловито говорила:

— Опять тетя Леля ходила в кино?

Катя еще никогда не была в кино, однако твердо усвоила, что за это бьют.

Поморгав большими черными глазами и немного подумав, она вдруг говорила:

— Мама, дай хлебушка! — и, заведомо зная, что сейчас ей не откажут, добавляла нерешительно: — Белого.

— Варвары! — восклицала Ольга Сергеевна. — Третий час ночи! В бомбежку и то было тише!

Митя не просыпался дольше всех. Если становилось очень шумно, он натягивал подушку на ухо и, закаленный на фронте и в командировках, продолжал спать. Но нередко наставала минута, когда его приходилось будить.

— Митенька! — с жалостью говорила Саша.

— Дмитрий Александрович, — отхлебывая валерьянку, молила Нина Викторовна.

Митя неторопливо совал ноги в старые домашние туфли.

— Да, — говорил он, зевая, — если бы наши соседи по коммунальной квартире были ангелами, нас бы раздражал шелест их крыльев. А наши соседи ох не ангелы, и стучат они — ох не крыльями. — Потом он выходил в коридор, спокойно брал телефонную трубку и спрашивал недрогнувшим голосом: — Милиция? Шестое отделение?

Все, что делал Митя, действовало мгновенно и отвязляюще. Он работал по вдохновению и всегда попадал в цель. Пользуясь минутным затишьем, Митя говорил, к примеру, так:

— Утро вечера мудренее! Завтра разберетесь! Я рассужу вас раз и навсегда!

Почему-то его слушались. Он брал Лелю под руку, уводил в ее комнату, приговаривая на ходу:

— Очень советую приложить к глазу медный пятак, помогает.

А Юре шептал на ухо то, чего никто не слышал и чего, видимо, никак нельзя было сказать вслух.

Когда еще только начинались вопли, предвещавшие драку, Саша входила в комнату соседей и забирала детей: они захлебывались от плача. Она уносила их к себе, поила сахарной водой, и ложка дробно стучала о зубы младшего белоголового толстяка. Она укладывала их на свою раскладушку, а Митя, возвращаясь, говорил:

— Прирост населения? — Потом ложился и тотчас засыпал.

Но самое удивительное было то, что, выйдя поутру с подбитым глазом, Леля гордо говорила в ответ на презрительный взгляд стенографистки:

— Зато любит!

...Такова была новая Сашина квартира.

В мае сорок четвертого года Лешу наградили орденом Отечественной войны второй степени. А перед этим, в начале сорок третьего, он получил Красное Знамя. Он очень гордился своими орденами и до смерти хотел съездить в Москву, показаться семье и друзьям во всем блеске.

Незадолго перед награждением он едва не погиб. Над Херсонесом на Лешиной машине разбили правый мотор. Сломать шею должен был непременно, однако уцелел.

— Ну, друг, ты, я вижу, в рубашке родился, — сказал ему командир полка Дмитрий Данилович Валентик, — кто-то сильно тебе ворожил. Сознайся кто?

Леша не знал, кто ему ворожил. Наверно, весь Серебряный переулочек — отец, мать, сестра, друзья. Он очень сильно хотел побывать в Москве и увидеть всех. И еще ему очень надо было помочь одному человеку. И он, кажется, придумал, как это сделать. Но не желал говорить прежде времени.

И вот разнесся слух: старые, потрепанные в боях машины будут отогнаны в тыл, в училище, затем нужно будет получить новенькие — и на фронт! А пока собирают перегонщиков.

На Лешином счету было уже около семидесяти боевых вылетов, и Леша чувствовал себя ветераном полка. И он быстро прикинул: вообще-то Москва не совсем по пути. Но и не так уже сбоку. Всего каких-нибудь семьсот—восемьсот километров. Кто еще в полку старый москвич? Серега Стрелков — хороший летчик, к тому же приятель.

И они пошли к Валентикю проситься. Особых возражений у командира полка не было, да и причина у ребят уважительная: надо бы купить часы. А где их купишь на

фронте? О московских планах Валентик, кажется, не догадывается. Но ему известно, что ребята воюют уже два года. На книжке скопились деньги, пусть слетают в тыл и отдохнут. По характеру оба не слишком буйные, так сказать, в пределах нормы, на них можно положиться.

До места летели без всяких происшествий. Хотя случиться могло разное. Без малейшей необходимости шли на бреющем — интересно, летишь, и никто не наваливается: ни «мессеры», ни «фоккеры», ни зенитки. Хорошо лететь, легко. Прилетели. Техники остались сдавать машины, а летный состав последовал дальше. Группой перегонщиков командовал Виктор Покровский. Свой парень. Понимает, что Леше и Сергею надо заглянуть на сутки в Москву. У Сергея в Москве невеста. У Леши — семья и знакомые девушки. Невесты Леше не надо. Желаться он не желает.

В вагоне тесно. Почти все военные — солдаты и офицеры. У Леши и Сергея вещей мало: по чемодану, парашют, шинель. Сами в летных комбинезонах, на голове — пилотка. Шлемофон у пояса. На боку трофейный парабеллум. Под комбинезонами на гимнастерке у каждого по два ордена. Едут в Москву. Чего лучше?

Шустрый старичок — колесный мастер — заходит в купе и говорит: ребята, подъезжаем к Тамбову. Там на площади в магазине водка бывает.

Двое моряков схватили бутылки, Сергей — чайник, Леша — большую флягу. Бегут через площадь к магазину, впереди колесный мастер. И впрямь: «дают» зубровку. Очередь. Но военных пропускают, кстати, и табличка есть: «орденоносцам без очереди». Леша спрашивает колесного мастера:

— Папаша, а поезд без нас не уйдет?

— Что ты, сынок! Не может он без меня уйти. Пока я ему колеса не обстучу — не уйдет.

Когда Леша с товарищами прибежали на станцию, поезда и след простыл. Вместе с колесным мастером они пытались догнать свой состав всякими хитрыми способами: ехали на товарных платформах, на попутных машинах, по каким-то неведомым боковым веткам. Приехали в Москву через восемь часов после своего поезда. Вещи исчезли. Как быть с парашютами? А где же колесный мастер? Нету, тоже исчез.

Кругом — Москва. Эх, плевать на все! Сережа с чайником отправляется к невесте, Леша с трофейной фляжкой — домой. Чайник и фляжка — пустые: колесный мастер и случайные попутчики были не дураки выпить.

И вот Леша идет вечерней Москвой. Он не хочет садиться в метро, не хочет ехать в троллейбусе, он идет пешком по вечерней затемненной Москве. Темная, а полна жизни. Луне на затемнение наплевать: она светит всюю, скроется на секунду за легким быстрым облаком и снова вынырнет. И Леша вглядывается в лица встречных девушек, и все кажутся ему красивыми. И многие, наверно, оглядываются ему вслед. Он идет по Садовому кольцу. Вот здесь, у Самотеки, есть кино «Экспресс». Здесь Леша смотрел перед войной фильм «Большой вальс». Он сидел с Тамарой и все не решался взять ее за руку. На экране кто-то кого-то любил, ревновал, кто-то страдал, плакал. А Леша ничего не мог разобрать, он думал только об одном: взять или не взять Тamarу за руку? И вдруг, решившись, словно прыгнув в воду, взял ее маленькую теплую руку в свою. Она обернулась и спросила: ты что?

Он ответил беспечно: так веселее! Но сердце у него упало..

Она не отняла руки. И они сидели замороженные друг другом, экраном и музыкой. Леша вдруг увидел на экра-

не карету, а в карете очень красивую женщину; она говорила своему очень красивому спутнику: Польди была с нами всю дорогу, и так будет всю жизнь.

Леша хотел спросить, про какую это Польди она говорит. Но не спросил. Нельзя же было сознаться, что он ничего, ровно ничего не видел! А потом красавица уплыла куда-то на корабле, а ее красивый спутник, грустно улыбаясь, глядел ей вслед и махал рукой.

Зачем они расстанутся? — снова хотел спросить Леша, но вскоре сам все понял: спутник красавицы — это был композитор Штраус — вернулся к своей жене, она-то и была Польди. И вот он уже старый и выходит к толпе, которая приветствует его, и на глаза его наворачиваются слезы... Леше жаль его. Но если он так любил, зачем расстался? Или он Польди тоже любил? А разве можно любить двоих?

Вот об этом они и разговаривают с Тamarой по пути домой. Тамара считает, что Штраус поступил правильно, так как жену он любил, а той артисткой просто увлекался.

— Вот не знаю только, простит ли ему Польди, — говорит Тамара задумчиво, — я бы, пожалуй, не простила.

А Леша не знает, что правильно, а что не правильно: он ведет Тамару под руку, и ни до чего ему нет больше дела.

...Леша сворачивает на улицу Горького, он ускоряет шаг, и вот он у Пушкинской площади.

— Здравствуй, Александр Сергеевич, — говорит он шепотом, и ему кажется, что только сейчас, увидев величавый, с детства знакомый памятник, он понимает: перед ним Москва, он в родном городе. Ах, хорошо! Сейчас он будет дома! Он почти бежит по бульварам. Вот здесь, у Никитских ворот, он шел однажды с Андреем, и Андрей сказал ему, что едет в Испанию. Леша и сейчас помнит,

как у него захолонуло сердце. Они шли рядом, как товарищи, как братья. И Андрей сказал: береги Сашу...

Мимо, кино повторного фильма, мимо, Арбатская площадь, мимо, улица Воровского, вот он — Арбат! Мимо, магазин игрушек, мимо, мимо, писчебумажный магазин, вот он — Серебряный переулок!

Леша повернул за угол и остановился на мгновение. Шагах в трех от него шла невысокая девушка под руку с человеком в кожаном пальто. Они шли, тесно прижавшись друг к другу, и она так доверчиво подняла к нему голову и тихо сказала что-то. И вдруг, сам не зная почему, Леша крикнул:

— Саша!

И она обернулась, и кинулась к нему, и повисла у него на шее. И Поливанов жал ему руку и тоже что-то говорил — доброе и хорошее.

Потом, перепрыгивая через две ступеньки, они взбежали по лестнице, и распахнулась дверь родного дома, и заплакала мама, и отец, кажется, плакал.

Все тот же крутой высокий лоб, те же темные глаза. Но как неожиданно глядела старость из этой седины, Леша никак не мог к ней привыкнуть. У мамы кожа собралась вокруг глаз морщинами, поблек лоб, и когда соседский мальчишка, пробегая по коридору, крикнул Нине Викторовне: бабушка! — это было Леше как удар в сердце.

Да, жильцы все новые. Какая-то сухая длинная тетка с выщипанными бровями стоит на кухне и колдует над кофейником. И еще другая — молоденькая и хорошенькая. Леша улыбается и расправляет плечи, но тут выходит белобрысый детина, кидает Леше на ходу: с приездом! — и орет во всю глотку: Леля! Так кричат только женам. Ах, так ты замужем? Ну и ладно. Замужние Леше не нужны. Ему вообще никто не нужен... «С женщинами

свяжешься, весь изолжешься», — думает Леша. Эту прекрасную фразу он слышал от штурмана Карташевича и запомнил ее твердо: с женщинами свяжешься, весь изолжешься.

Он лучше поговорит с Митей. У него мало времени — только завтрашний день, а там — назад, в бой! И ему некогда заглядываться на женщин, тем более на чужих жен.

И когда все улеглись, он сказал Поливанову:

— Слушай, брат, у меня к тебе важное дело. У нас вот что стряслось. У нас был штурман — Кононов Антон Николаевич. Какой он человек — это просто так не расскажешь. С ним, понимаешь, надо было пуд соли съесть. Это мало сказать, что бесстрашный. Он вообще не понимал, как это — бояться. И он был такой... за товарища душу положит, не задумается. Ну, что говорить, человек замечательный. У него в Подгорске осталась жена и четверо ребятишек. И старший попал в беду, осужден там за что-то. Хоть условно, а осужден. Ему лет четырнадцать, что он такого мог сделать? Безотцовщина. Там женщина — и на руках четверо. Посуди, что она может?

— А я? Что я тут могу?

— Езжай туда от своей газеты и проверь все на месте.

И надавай сволочам по морде, раз они не понимают.

— Чего они, собственно, не понимают?

— Да того, что они в ответе за ребенка погибшего фронтовика. Ты бы знал, Митя, какой это был человек!.. А про мальчишку он говорил, что...

— Видишь ли, я уже давно не кинооператор. Но я еще не воспитатель. И не няня в детском саду. И не специалист по детской преступности. Совершенно не понимаю, чем я тут могу быть полезен.

И вдруг Леша увидел, что перед ним сидит совсем другой, новый Поливанов. Минуту назад он улыбался, лихо

пил и все время подливал Леше. Сейчас лицо его окаменело, как бы застыло, и брови сошлись к переносице. Губы еще были растянуты в улыбке, но глаза не улыбались, они смотрели холодно и отчужденно. Удивившись этому застывшему, напряженному лицу, не поверив в него, Леша спросил:

— Да ты в уме?

— Стоп! — ответил Поливанов, и губы его перестали улыбаться, а глаза стали колючими. — Стоп!

— Но послушай, я же тебе дело говорю. И не только от себя, мне товарищи велели: посоветуйся, мол, там, в Москве, а ты...

— Ты, видимо, плохо понимаешь, что я теперь такое. Вот сфотографировать и подписать — слева, мол, стоит такой-то, справа такой-то — это пожалуйста, хоть сейчас. Это все, что я могу на сегодняшний день. Но тебе не это нужно. Для твоего дела нужен опытный, квалифицированный журналист.

— Мне нужен человек, у которого голова на месте. И сердце, по возможности. Вот все, что требуется. Будь у меня хоть еще один день в запасе, я бы сам поехал. А, да что говорить.

Леша встал, подошел к Аниной кровати. Она спала, свернувшись калачиком, подложив ладонь под щеку. Выросла, опять выросла. Завтра проснется и то-то обрадуется ему! Он перевел глаза на маленькую. Катя спала так, словно заснула на лету, — раскинув руки, растопырив короткие смуглые пальцы.

Вздохнув, Леша повернулся к дивану, на котором спала Саша. Она спала безмятежно, не зная, что тут опять ее брат разругался с ее мужем.

Ресницы ее чуть вздрагивали, лицо разругалось. Леша нагнулся, поцеловал ее в щеку. «Куплю тебе часы. И новые туфли. И платье», — подумал он. И произнес угрюмо:

— Бывай здоров.

— Покойной ночи, — отозвался Поливанов. И прибавил: — Я обещаю тебе поговорить об этом в редакции.

— Не надо. Я сам.

— Я сделаю это лучше. Оставь адрес.

Леша сунул руку в карман и вынул оттуда конверт:

— Там есть обратный... Внизу... Какая-то странная улица — Любимая.

— Такое название улицы?

— Да. Такое. Любимая.

Леша прошел в соседнюю комнату. Нина Викторовна тотчас приподняла голову с подушки:

— Лешенька, молочка? Простоквашки?

— Спасибо, мамочка, — сказал он и сам удивился своему ответу. — Спи!

Он лег не зажигая света и долго не мог уснуть... Я плохо рассказал ему, — думал он. Я не сумел рассказать, он ничего не понял. Если б я рассказал по-настоящему, он завтра же сорвался бы с места и полетел в Подгорск. На эту самую Любимую улицу. Почему так трудно найти слова, которые в точности выразили бы все, что чувствуешь, чтоб они пронзили другого человека, перевернули ему душу?

Ну хорошо, а что бы ты рассказал, если б Поливанов захотел слушать? Что бы ты вспомнил?

И Леша вдруг увидел пыльную уличку и приземистый домик. В этом домике жила Лида Лысенко. Леша познакомился с нею на танцах и стал ходить к ней в гости. В тот вечер они сидели на крыльце, смотрели на темное небо и разговаривали. Это было в мае, совсем незадолго до войны. Леша посмотрел в окошко на ходики — еще рано. Ему так хотелось побыть с Лидой еще немножко. Потом вдруг стемнело, Лида сбегала к соседке, узнала, который час, — оказалось, через пятнадцать ми-

нут вечерняя поверка. Даже если Леша помчится во весь дух — он все равно опоздает на полчаса, а это вроде самовольной отлучки, так недолго и из училища вылететь. Леша бежал, сердце готово было выскочить из груди. Он до сих пор помнит вкус пыли на губах и свои белые от пыли сапоги.

И вдруг рядом прошуршали велосипедные шины. Кто-то окликнул Лешу — это был Кононов. Он соскочил наземь и сказал только: «Давай жми». Леша не поблагодарил. Сел на велосипед и помчался во весь дух. И поспел вовремя. Что ж тут расскажешь? Вот, мол, понял все с одного взгляда, пожалел, помог. Без лишних слов. Только крикнул вдогонку: «Велосипед оставишь у дневального». Нет, не то. Поливанов бы сказал: «сантименты». Он бы ничего не понял. Где ему понять, какой человек был майор Кононов!

И еще вспоминает Леша, глядя на полоску света под дверь Митиной комнаты. Летая на тяжелых кораблях, курсанты подолгу вели машину самостоятельно. Леша с нетерпением ждал своей очереди. Он предвкушал, как здорово поведет машину. Как его похвалит майор. Как товарищи скажут: а что? Лешка — он всегда лучше всех ориентируется.

И вот он повел. И почти тотчас запутался. Сначала он запутался чуть-чуть. Ему стало страшновато. И стыдно перед товарищами: ведь чем больше напутает он, тем труднее будет Володе Дроздову, который поведет машину вслед за ним. Он стал путать все сильнее и пуще всего боялся, что инструктор возьмет управление в свои руки, — вот тогда позор на все училище! И, думая об этом, он напрочь перестал узнавать местность. И тогда майор встал позади Лешы, взгляделся в бортовой журнал, положил руку ему на плечо и сказал: «Успокойся, Леша, промерь еще раз путевую скорость. Справишься».

Не «товарищ курсант», а вот именно «Леша». И он успокоился. Промерил еще раз путевую скорость, определился, понял, что к чему. Стало весело, уверенно. После полета Кононов не шумел на общем разборе, не поднимал на смех, как другие инструкторы. Нет, Леша этого никогда не забудет.

А потом? Потом война. Эвакуация в Восточную Сибирь. Ускоренный выпуск. Отправка в маршевый полк. Кононов пошел вместе с группой выпускников на фронт. Он был штурманом авиаполка. И он погиб на глазах у Леша. Нет, не надо сейчас об этом. Сейчас надо думать о деле. Когда майор погиб, в его чемодане нашли записку — он поручал Леше разобрать вещи и отослать их семье. Сверху лежало неотправленное письмо. Леша прочел его:

Почему ты молчишь? Почему ты не пишешь? Ты ведь знаешь, у меня на свете нет ничего дороже тебя и детей. Что случилось? Я по всему вижу — что-то стряслось у вас там, а что?

Потом Леша узнал — судили старшего сына, тринадцатилетнего мальчишку. Судили за какую-то кражу и дали год условно. Надо бы узнать, помочь. Леша писал в Подгорск — и в горсовет, и в суд, и в городской комитет комсомола. Ответа он не получил. Вот тогда-то он и решил рассказать обо всем Поливанову. А Поливанов... Эх, каменная душа... Разве до тебя достучишься!

На другое утро ошалевшая от счастья и гордости Аня повела Лешу в свою школу. Она крепко держала его за руку, и на лице ее было написано: поглядите, кого я веду!

Это — мой дядя! Он — штурман! У него — орден! Он фронтовик! Завтра он снова полетит воевать! И — это мой дядя! Мой!

Леша все понимал. Он помнил себя рядом с Андреем. Леша был во всем блеске: ордена, парабеллум, сверкающие сапоги. Он вошел во двор своей школы. Вон там висела волейбольная сетка — где же она теперь? Девчонки в волейбол не играют, что ли? А вон по тому карнизу на втором этаже он когда-то прошелся. Шуму было, шуму! Вызывали отца, грозились исключить из школы. А вот здесь, у калитки... здесь он признался Тамаре в любви. Ах, как давно это было!..

Каждый угол двора что-нибудь ему напоминал. Все хранила благодарная память, все живо в ней!

И вдруг он почувствовал, что маленькая рука в его руке дрогнула. Он взглянул на Аню и перехватил ее боязливый, вопросительный взгляд. Перед ними стояла высокая худощавая женщина в строгом синем костюме. Ее худую шею облегал белый воротник, а волосы были собраны на затылке в маленький пучок.

— Это Леша, мой дядя! — сказала Аня.

— Ты забыла поздороваться, Москвина!

— Здравствуйте, Зинаида Петровна. Вот кто меня привел. Это Леша, он мой дядя!

— Здравствуйте! — произнес Леша, глядя на серое лицо учительницы. — Не сердитесь на Аню, это она от радости все нынче забыла. Я, видите ли, тоже учился в этой школе. И вот вчера прилетел с фронта...

— А! — сказала учительница и взглянула на Лешу более благосклонно. — Зайдемте в наш класс, дети будут рады вас видеть. Встреча с фронтовиком — это прекрасное воспитательное мероприятие. У нас были директор крупного завода, заслуженный артист республики и знатный сталевар. А фронтовика еще не было.

Леша посмотрел на Аню, глаза ее были широко открыты. Пойдем, пойдем! — молили они.

И он пошел. Пока они поднимались по лестнице, звонил звонок. Зинаида Петровна отворила дверь класса, и девочки встали, приветствуя ее. Аня, осторожно шагая, направилась к своему месту.

— Вот, девочки, познакомьтесь, — сказала Зинаида Петровна, — к нам в гости пришел герой, летчик. Он прилетел к нам прямо с фронта.

— Это мой дядя! — тихо сказала Аня.

Зинаида Петровна взглянула на нее строго, как бы говоря: ну что ж, послушаем, что еще скажет нам эта Москвина, и после секундной паузы продолжала:

— Да, это дядя Ани Москвиной. Он учился в нашей школе и всегда был примерным учеником. Он всегда строго соблюдал правила школьного распорядка, никогда не опаздывал и аккуратно выполнял домашние задания. Он был очень вежливым учеником, он не грубил учителям, он...

Леша стоял красный как рак. Ему казалось, его обдают варом. Он в ужасе смотрел на этих девочек с белыми воротничками и с бантами в косах. Теперь они будут думать, что он и впрямь был таким, как рисует его Зинаида Петровна. Вернутся домой и скажут: к нам приходил один такой, выполнял правила внутреннего распорядка... Но нет, они смотрели на него доброжелательно. И с любопытством. И с уважением. Да, они уважали его за то, что он был такой дисциплинированный, вежливый и никогда не грубил учителям.

— Все эти качества помогли ему стать настоящим воином. Сейчас он расскажет вам о своих фронтовых подвигах и фронтовых буднях, — промолвила Зинаида Петровна и повернула к Леше лицо, которое старалось быть приветливым.

Леша снова взглянул на детей.

Если бы среди них сидел хоть один мальчишка. Какой-нибудь веснушчатый, курносый Петька. Какой-нибудь Ленька с серыми любопытными глазами. Ну, пусть бы он уж не так хорошо соблюдал режим дня и был бы не такой чистенький и аккуратный, как все эти девочки в синих платьицах и черных фартуках. Леша вдруг понял, что попросту боится их. Тогда он снова посмотрел на Аню — ее глаза сияли ему навстречу: как она гордилась им! Как любила его! Нет, он не подкачает. Он сейчас расскажет что-нибудь такое... Но что же им будет интересно? Как у него разбило над Херсонесом правый мотор? Как он погубил казенный парашют, побежав вслед за колесным мастером на площадь, где давали водку?

И вдруг он рассказал им, как ночевал однажды в селе, которое только-только отбили у немцев. Колхозники возвращались домой из леса, из землянок, где жили около полугодя, спасаясь от немцев. И вот, проснувшись, Леша увидел, что у его кровати стоит девочка лет двух. Она была одета в какое-то тряпье, ноги босые, хотя была уже глубокая осень. Волосы у девочки космами свисали на глаза — ее давно не стригли, в доме не было ножниц. В доме не было ничего — ни еды, ни белья, ни одежды, ни мыла...

— А мать у девочки лежала больная, — рассказывал Леша, — она в землянке схватила лихорадку, и ее принесли домой почти без памяти и положили на печку. А девчонка — холодная, голодная, грязная. И мы с товарищем с моим, Сережей, вскипятили воды, посадили девчонку в корыто и вымыли. Потом закутали в шинель и стали думать, как бы ее приодеть. А Сережа на гражданке был сапожником. Он взял мою меховую рукавицу и скроил девочке башмачки. Руки у меня видите какие большие? — Леша растопырил руки. — Как лопаты! А у

девочки ножки вот такие, ну прямо как у куклы. Потом из Серезиной фуфайки мы смастерили ей платье и даже кушачком подвязали. И потом решили ее постричь. У нее глазки голубые, как незабудки, хорошие такие глазки, их за волосами и не видно. Но как постричь ее ровно, красиво? Мы ведь никогда этому делу не учились. И вот, послушайте, как мы сообразили: я взял горшок, небольшой, глиняный, ну, обыкновенный горшок, в котором варят картошку, кашу, молоко кипятят, и надел девочке на голову — и постриг по краешку ровно-ровно! В кружок постриг!

Леша смотрел на девчонок, и эти аккуратные перво-классницы больше не пугали его — они слушали и смеялись, и он готов был рассказывать им еще и еще. Он взглянул на учительницу, ожидая поощрения и похвалы, и словно кто-то остановил его на бегу. Поджав губы, Зинаида Петровна смотрела на него недоуменно и строго. Леша пробормотал:

— Ну вот, такое было дело, — и умолк.

— Мы поблагодарим товарища летчика, — сказала Зинаида Петровна.

— Он штурман, — сказала Аня.

— Мы поблагодарим товарища фронтовика, — повысив голос, очень внушительно произнесла Зинаида Петровна, — и займемся устным счетом!

Леша уходил из школы пристыженный. «Ах, болван, осел, — говорил он себе. — Нет чтобы рассказать какой-нибудь боевой эпизод — какую-то чепуху нес». Но разве он знал, что им будет интересно про боевые эпизоды? Сидят такие маленькие, лупоглазые, он думал... Он вспомнил девочку с горшком на голове, как он стриг ее, и как она смирно сидела, и как он кормил ее шоколадом и галетами, размоченными в сладкой воде. Вспомнил и повеселел. Повеселел, завернул в Серебряный переулок

и вдруг понял, что не хочет идти домой. Как так, почему? А, Митя... Я не воспитатель, не няня в детском саду, не специалист по детской преступности. Слева — такой-то, справа такой-то... Вот и все, что я могу на сегодняшний день...

Черт! Не хочу домой. Да он, наверно, в редакции. Все равно не хочу. Леша пошел к автомату и стал звонить во все концы. Надо было выяснить, кто из школьных друзей в Москве.

— Можно Олю? Спит после ночной смены? Простите!

— Можно Веру? Еще не вернулась из эвакуации? Простите!

Ах, если б Лида была дома... Отличный товарищ, такая веселая, остроумная, перед войной очень увлекалась артисткой Любовью Орловой, собиралась в театральное училище. Никаких таких чувств между ними не было. Скорее всего, Леша предпочитал Лидину подругу Муру, но все это — древняя история. Он сейчас позвонит Лиде, узнает, свободна ли она вечером, и они пойдут в ресторан.

— Можно Лиду? На фронте? Простите!

Вот тебе и Любовь Орлова! Нет, война все спутала, все судьбы переменяла.

Леша слонялся по Москве, заходил во все магазины, купил в коммерческом колбасы и пирожных (пятьдесят рублей штука!). Долго выбирал часы себе и Саше и, нагруженный покупками, отправился домой.

— Можно Дмитрия Александровича? Митя, это ты? Митя, Леша приглашает нас с тобой в ресторан, пойдём,

а? Занят... А может, придешь попозже? Жалко как... Но я пойду, ладно?

Леша, прислушивавшийся из столовой к этому разговору, вздохнул с облегчением. Выдумал, будто занят, или правду сказал — это Леше не важно. Важно, что они с Сашей пойдут одни.

В ресторане «Москва» народу полно. Но хорошенькая официантка в белоснежной наkolке взглянула на Лешу, на секунду задумалась, прикусив губу, и повела их в глубь зала к свободному столику. Вокруг — военные, военные. Видимо, как и Леша, приезжие. Как и он, хотят урвать кусочек мирной жизни и забыть, ненадолго забыть о том, что осталось позади. Леше все очень нравится: вино, музыка, еда. Но ничто не может заставить его забыть.

Откуда взялись эти красивые женщины, что сидят за столиками, пьют вино и танцуют? Как их миновала война? Почему у них такие холеные руки и такие розовые ногти? А вон у той кольцо с большим красивым камнем. И золотая браслетка, и ожерелье на шее. Так ведь это хорошо, хорошо, что есть красивые, нарядные, веселые, бездумные! Но за это время он столько всего перевидал! Женщин в шинелях, женщин с детьми в нескончаемых поездах-теплушках. Они были совсем другие. Он вспомнил внезапно ту, что лежала на печке, с лицом, пылавшим от лихорадки... И медсестру, которой ампутировали ногу. Какие отчаянные и беспомощные были у нее глаза. И еще ему вдруг привиделась та девушка-зенитчица: сидит на пороге своей землянки, расстелив на коленях халат в розовых цветах — подарок союзников. Она гладила рукой шелковистую мягкую ткань и смотрела на нее задумчиво и чуть растерянно. И яркий халат напоминал диковинную птицу, которая залетела сюда каким-то чудом, неведомо зачем. И девушка не знала, что делать с хала-

том, и оранжевой пижамой, и шелковыми чулками в прозрачной обертке.

Леша взглянул на сестру. Она держала в руках бокал с вином и смотрела на танцующих, тихонько подпевая джазу: «Шаланды, полные кефали...»

— Ты здесь самая красивая, — сказал Леша.

— Ты — мой дорогой.

— Нет, правда!

— Я бы поверила тебе, если бы... если бы не было на свете зеркала.

— И все думают, что ты — моя девушка.

— Вот это хорошо. Пригласи же меня танцевать.

Расплескав вино, она поставила бокал на стол, положила руку ему на плечо, и он повел ее в гущу танцующей толпы.

— Теперь ты будешь мой старший брат, хорошо? — сказала она.

— Я давно уже так считаю. Я когда рассказываю про тебя ребятам, всегда говорю: «сестренка, сестренка», и они думают, что ты совсем маленькая. А что, не разучился я танцевать?

— Ты очень, очень хорошо танцуешь.

Они чуть помолчали. Он вел ее твердо, уверенно оберегая от толчков.

— О чем ты думаешь? — спросила она вдруг.

— Угадай.

Она прикрыла глаза, крепко сжала губы.

— Постой... Вот... Я спала уже, а ты разбудил меня и сказал, что пригласил Тамару танцевать. Это было на чьем-то рождении... На даче. В Быкове! Да? Ты приехал в город с последним поездом. Верно?

Вместо ответа он крепко стиснул ей руку.

— А я, — сказала Саша, — а я о чем думаю?

— Тебе жалко, что тут нет Мити, вот о чем ты думаешь.

Она не успела спросить, почему он сердится: оркестр умолк, но едва они сделали шаг к своему столику, загремел вновь. Какой-то морячок кивнул Леше: «Разрешите?», перехватил у него Сашу и ринулся с ней на середину зала, не дав Леше опомниться.

Леша снова сел за свой столик и вытянул ноги. Ему не хотелось никого приглашать, он злился на моряка, который увел Сашу; ему было скучно, неловко, досадно.

Он наполнил рюмку, выпил — еще и еще. Он хотел, чтоб стало весело. Чтобы все поплыло, закачалось, чтобы все вокруг стали ему милы. Он пил, оркестр играл какую-то крикливую, торопливую румбу, и пары не танцевали, а просто топтались на месте, ударяя ногой о ногу, стуча каблуками об пол.

«Дурацкий какой танец, — думал Леша, — и что в нем веселого... Топчутся как остолопы. Сейчас растолкаю всех, отыщу этого нахального моряка и скажу ему...»

И вдруг Леша натолкнулся на другие глаза. За три столика от него сидел юноша лет двадцати. Смуглый, как вороненок, он смотрел перед собой растерянно и вопросительно. И с тем прозрением, какое рождается внезапно и необъяснимо, Леша понял вдруг, что он здесь совсем один, этот паренек, и что ему, как и Леше, отчего-то худо, неуютно, горько.

— Послушай, — сказал Леша, как только морячок подвел Сашу к столику, — когда начнется новый танец, ты пойдешь и пригласишь вон того младшего лейтенанта — видишь?

— Ты с ума сошел? Что он обо мне подумает?

— Ничего! О тебе никто ничего плохого не подумает.

А подумает, так я...

— Но... — сказал морячок и осекся. Леша смотрел на него в упор тяжелым пьяноватым взглядом. — Что ж...

Я ничего... — сказал морячок и, чуть пятясь, отошел от стола.

— Сашенька, — сказал Леша, — я прошу тебя. Посмотри, какой он. Мне кажется, я знаю про него все. Один. Забрел на огонек, хотел согреться вином, людьми. А он здесь чужой. Он и не москвич даже, я уверен, он здесь никого не знает.

— Давай пригласим его за наш столик.

И тут вкрадчиво, поначалу тихо, а потом все смелее, скрипки запели «В лесу прифронтовом».

Саша махнула рукой и, ни о чем больше не спрашивая, быстро направилась к столику, за которым по-прежнему одиноко сидел незнакомый младший лейтенант.

Леша видел, как Саша сказала ему что-то, как он, робко улыбаясь в ответ удивленной, благодарной улыбкой, встал и обнял ее за талию.

И Леша снова налил себе вина, и теперь оно показалось ему не таким горьким. Нет, про тебя никто ничего плохого не подумает. Вон про ту, которая все время что-то орет, подумали бы. Что она там орет? «За победу!» Ну, ну... Зачем она так накружилась, так расфуфырилась? Ведь старая же! Старая и злая! Была когда-то красивая, а теперь нет, а кричишь и смеешься, будто и сейчас красивая.

Он глядел на увядшее, обрюзгшее лицо женщины за соседним столом. Она была в ярко-розовом и очень открытом платье, волосы ее, крашенные хной, и густые румяна на щеках только подчеркивали тяжелые складки по обеим сторонам рта. Когда женщина в улыбке обнажала крупные зубы, казалось, что она вот-вот кого-нибудь укусит.

«И про эту, про эту подумали бы», — повторял про себя Леша с пьяным упорством, глядя на узколицую, узко-

глазую бледную девушку с большим ртом. У нее была длинная шея, покатые плечи, а голову охватывал золотой обруч. Перед ним мелькнуло лицо сестры: глаза и лоб чуть виднелись из-за плеча юноши, он был намного выше ее. И вдруг задумчивые Сашины глаза засияли кому-то, и Леша повернул голову по направлению ее взгляда, уже зная, кого он сейчас увидит. Он не ошибся, это был Поливанов.

Леша скрипнул зубами. О, черт побери! И откуда он узнал, что мы здесь? И как уверенно идет к нашему столу, будто отлучился на минуту, а сейчас возвращается на свое место.

— Добрый вечер, — сказал Поливанов, садясь.

— Добрый вечер, — сквозь зубы ответил Леша, подвигая к нему бутылку вина и тарелку с холодным мясом.

— Ты был прав, — услышал он Сашин голос, — ты был прав: он ленинградец. И здесь один, и на свете один, у него все погибли во время блокады, — говоря это, она пожимала Мите руку, — я рада, что пригласила его, он — чудесный.

— То есть как это — пригласила? — сказал Поливанов, приподнимая брови.

— Митя! — поспешно сказала Саша. — Взгляни, какие Леша подарил мне часы, смотри, какая прелесть!

Не глядя, Поливанов ответил:

— Не сердись, Леша, но часы Саше подарю я сам.

И тут Леша вскочил. Все, что было в эти сутки, — дурацкая история с колесным мастером, ночной разговор с Митей, бессонница, позорное, постыдное, как ему казалось сейчас, выступление в Аниной школе, все эти звонки по телефону и «нет, нет, нет» — по ту сторону провода: спит после ночной смены, уехала, на фронте — и что еще такое ему отвечали? — все это вдруг ожило и готово было обрушиться на голову Поливанова.

Он был в том состоянии глубокой усталости и обиды, когда гнев охватывает человека внезапно, и уже нельзя взять себя в руки, и не хочешь сдерживаться, и радуешься растущему, закипающему гневу как освобождению.

— Заткнись! — гаркнул он.

И вдруг Поливанов, словно не слыша, сказал, положив свою руку на сжатый Лешин кулак:

— Я еду в твой Подгорск. На ту самую Любимую улицу. Слышишь? Все увижу своими глазами, все проверю и попробую написать.

Леша сел. Не понимая, что случилось, Саша сказала, с жалостью глядя на брата:

— Лешенька, я буду носить твои часы. Я буду беречь их для... для твоей невесты. А тем временем...

— А тем временем наступает комендантский час, — сказал Поливанов, — и вас заберет патруль.

Но Леше вдруг неслыханно полегчало. Он совсем не хочет уходить, его патрули не схватят, сразу же видно, что он настоящий фронтовик. Конечно, парабеллум в кобуре, но опытный глаз сразу определит, что это не «ТТ» и не наган. Нет, Леша не спешит, ему совсем неохота уходить. Он наливает себе, Поливанову, Саше и смуглому юноше-ленинградцу, который хочет пригласить Сашу на новый танец.

Какое симпатичное лицо, — думает он про узколистую, узкоглазую девушку с длинной шеей, — сейчас приглашу се. Сразу видно, что она хорошо танцует.

Но Поливанов настойчив: ему-то все равно, у него ночной пропуск, но он не хочет, чтобы Саша провела ночь в милиции.

Ничего не поделаешь, они прощаются с погрустневшим ленинградцем и выходят на улицу.

Патруль остановил их почти у самого Арбата. Леша подробно объяснил положение: ему завтра лететь на

фронт, вот командировка, тут все написано. Патрульные внимательно выслушали все это и повели Лешу в комендатуру, а Сашу в милицию. Поливанов пошел вместе с Сашей, кивнув Леше:

— Не беспокойся, я ее выручу.

В комендатуре Леша снова произнес речь. На этот раз он обращался к дежурному коменданту. Комендант слушал внимательно и учтиво и, терпеливо дождавшись, когда Леша кончит, сказал:

— Я лично ничего против вас не имею. Однако порядок есть порядок. Ровно в пять утра мы вас выпустим без всяких последствий.

И Лешу прорвало: Леша сообщил коменданту, что он — тыловая крыса, что он протирает штаны, когда другие кровь проливают, что он всегда готов сделать гадость фронтовику...

После этого у Леша забрали трофейный парабеллум и повели в комнату задержанных. И прежде чем запереть дверь, дежурный сказал все тем же неторопливым учтивым голосом:

— Что ж, в пять утра не обещаю выпустить. Часам к девяти подойдет товарищ полковник и разберется, на каком основании фронтовик в пьяном виде устраивает дебош в московской комендатуре. Спокойной ночи, товарищ старший лейтенант!

Поняв, что положение безвыходное, старший лейтенант лег на лавку и постарался уснуть. Потом вскочил, долго ходил по комнате, постучал в дверь и попросил «тыловую крысу» позвонить родным и сообщить, чтоб рано не ждали.

Снова вытянувшись на лавке и закрыв глаза, Леша сказал себе: спать, сейчас же спать. Но сон не шел долго. И долго еще кружился перед Лешей минувший день, московские улицы и кривые арбатские переулки, ком-

мерческий магазин, и прилавок с пирожными, и маленькая Катя, глядящая на пирожное так, будто ей протянули не трубочку с кремом, а сняли с неба молодой месяц. Он видел дымный, гремящий зал гостиницы, и растерянные глаза молоденького ленинградца, и узколицую девушку, и ее крашенную хной подругу.

...В пять утра, когда выпускали задержанных, Леша проснулся. Смирив гордыню, попросил у дежурного извинения за грубость и сказал, что, если нет особой нужды ждать полковника, он хотел бы получить свой парабеллум...

Дежурный комендант был, очевидно, не так уж плох. Молча, не глядя на Лешу, он вручил ему парабеллум и отпустил на все четыре стороны.

Леша забежал домой, обнял отца и мать, поцеловал девочек, пожал руку Поливанову и отбыл.

На обратном пути радист отдал свой парашют Сергею: на глубоком сиденье летчику без парашюта нельзя. Леша и стрелок-радист летели на 3-й Белорусский фронт без парашютов. Сергей сидел на парашюте, но лямок на плечи не надевал, так что все трое были в равных условиях. Друзья поручили Леше рассказать командиру полка про утерянные парашюты. Почему-то в полку считали, что Валентик благоволит к Леше. Что ж, может, так оно и было. И взысканий не последовало: перегонка трудная, справились хорошо.

...А парашюты списали. В те времена было за счет кого списывать...

Темень, хоть глаза выколи. Не то что названий улиц, себя не видишь. Фонарей нет, изредка блеснет огонек в

окне. Еще не поздно, но городок спит. Гулко стучат башмаки по бульжной мостовой — и ничего не слышно, кроме этого стука. Изредка только залает где-то собака — и снова тихо.

Где же эта Любимая улица, будь она проклята.

В рюкзаке две буханки хлеба. Банка тушенки. Книга. Поклажа не тяжелая. Он поехал сюда налегке, но устал. От станции до Подгорска пришлось отшагать добрых пятнадцать километров: не было ни одной попутной машины. Он не плутал — от станции до Подгорска прямое шоссе, но тут, в самом городе, улицы кривые, переплетаются. Одна улица привела его к оврагу, другая к реке. В окошко не постучишь — все окна темные. Случайный прохожий долго что-то толковал ему: «А потом срежьте уголок вон там, у водокачки, и прямо перед вами будет кино. Вон там, неподалеку...»

А где же она, водокачка? Где оно, кино?

В общем и целом это была дурацкая затея — ехать в Подгорск. Надо было поручить отделу писем списаться с прокуратурой, спросить там кого следовало, что приключилось с этим малолетним Кононовым. Есть дела, которые можно решать на расстоянии. Ехать не обязательно. Особенно ему. Ему уж наверняка не стоило ехать — он не журналист, он фоторепортер, и незачем ему браться не за свое дело.

Он ступил в глубокую лужу, набрал полный башмак воды и от души выругался. Хоть бы один фонарь, черт бы их всех побрал в этом Подгорске! Сейчас он постучит в первое попавшееся окно и попросится ночевать. Вон окошко, в котором мерцает огонек: надо попытаться счастья.

— Кто там? Чего надо?

— Не скажете, где Любимая улица?

— Эта и есть. Кого вам?

— Кононовых!

— Входите!

Дверь отворилась, в темных сенях вспыхнул неяркий свет, на стене заметалась большая, неуклюжая тень.

— Я Кононова, — сказала высокая женщина, перекидывая за спину косу и кутаясь в белый платок.

Поливанов не верил своим ушам: постучал в тот самый дом, который уж было отчаялся найти. Бывает же такая удача!

— Я Кононова, — повторила женщина, пытливо и выжидающе глядя на него. — Вы откуда? Из редакции? По какому же делу? А! А я было подумала... Проходите!

Женщина отворила какую-то дверь, и Поливанов, перешагнув порог, с облегчением спустил рюкзак на пол.

В маленькой комнате стоял круглый стол, покрытый кружевной скатертью. На кровати, что стояла по левую руку, спали две девочки, две черные головы на белой подушке. По другую сторону комнаты на узком диване свернулся калачиком мальчик подросток, а рядом на сундуке сладко спал малыш лет пяти. Рука его свесилась вниз, из-под одеяла торчала розовая пятка. Комната полна была сонным дыханием.

— А я было подумала... Раздевайтесь, давайте пальто, повешу. Снимайте башмаки, вон как промочили ноги. Я вам сейчас носки сухие дам.

Она не спросила у него удостоверения. Она больше ни о чем не спрашивала: дала ему сухие носки, вскипятила чай, подогрела тушенку. Пока он ел, поставила раскладушку, разложила на полу матрац.

Они коротко поспорили, кому лечь на полу, потом она погасила свет и молча легла на кровать. Он растянулся на матраце, уверенный, что уснет, едва положив голову на подушку. Болела раненая рука. Гудело в ногах. Он не испытывал облегчения оттого, что наконец добрался до

постели. Только сейчас он почувствовал, как устал. Но голова была ясная, и она-то не давала уснуть. И вдруг он услышал тихий плач. Ему казалось, что он видит, как она укрылась с головой, как, стиснув зубы, старается подавить рыдания. Он было приподнялся на локте, хотел что-то сказать, потом снова лег и молча слушал в темноте этот горький, тихий плач.

Он проснулся оттого, что чьи-то маленькие руки шарили по его лицу. Он открыл глаза и увидел давешнего малыша.

— Здравствуй, Петя! — сказал Поливанов.

— Я Коленька! — ответил мальчик. — А ты кто?

— Я — Митя.

— Я открывал тебе глаза. А ты все спал и спал.

Он стоял упористо расставив ноги, обутые в маленькие валенки. Валенки были аккуратно подшиты кожей, лямки на штанишках тоже кожаные. У него были очень серьезные глаза и круглая ямочка на подбородке.

Пока Поливанов одевался, Коля неотступно глядел на него, чуть приоткрыв рот. И вдруг сказал:

— Когда мама болела, я ей суп в больницу носил.

— Да ты молодец!

— А хочешь, я песню спою?

— Давай пой!

— Я у детской кроватки сижу-у-у... Хорошо? Хочешь, еще затяну?

В комнате было уже убрано. В печке трещал огонь, из кухни тянуло запахом жареной картошки. Мальчик ходил за Митей следом и говорил без умолку. Поливанов узнал, что мама бережет сахарные талоны, потому что на

них обещались дать колотого сахару, а сейчас дают только подушечки. Он, Коля, любит подушечки, и «все у нас любят подушечки, там внутри варенье», но мама говорит, надо ждать колотого сахару. А еще у мамы в буфете в самом углу есть водка, ее можно обменять на масло. Мама обещалась скоро обменять. А когда Сережу засудили, мама сильно плакала, а он, Коля, не плакал. А когда соседский Петька крикнул Сережке «вор», Сережа его вздул, Петька долго будет помнить. Уж когда это было, а он до сих пор в синяках. Сережа сильный. А ты сильный? У тебя есть мускулы? Покажи мускулы! Ого!

Старшие дети были уже в школе. А Поливанов даже не слышал, как они встали, как позавтракали и ушли. Он уснул под утро и спал как убитый.

С чего ему начать? Куда пойти? В суд? В Серезину школу? Хорошо бы сначала повидать мальчишку. А может, выяснить все до разговора с ним? Расспросить Кононову? Вон какое у нее сумрачное, замкнутое лицо. Губы крепко сжаты, глаза смотрят в сторону. Не будет он ее спрашивать. Разыщет мальчишку, расспросит его. Он уже надел пальто, когда Кононова сказала:

— Отец все спрашивал, что, мол, Сергей не пишет? А как было писать, когда такое дело? Ведь это надо же, суд был и приговор — как про это напишешь? А отец все свое: пусть, мол, Сергей все честно мне расскажет. Ну, Сережа собрался с духом, написал все как есть, а тут — похоронная. Что с мальчишкой было, это я вам описать не могу. Хоть бы разок заплакал. Нет, как бешеный стал. Со всеми товарищами перессорился, сестренку побил, учительнице грубость сказал, его чуть из пионеров не выключили, а может, еще и выключат, ведь он хоть и условно, а осужденный. Письмишко его я припрятала. Может, прочитаете? Здесь все честно описано, все, как было.

Она положила на стол измятый листок, вырванный из тетради в клеточку. Почерк был крупный, отчетливый, прямой. Кое-где чернила расплылись.

— Долго сидел, потом переписал начисто, а я этот листок припрятала. Он то письмо — в ящик, а к нам почталъон. С похоронной. Вот как было.

И вдруг, крепко переплетя пальцы, она заговорила громким шепотом, будто заклиная:

— Нет, вы скажите, как жить? Как жить мне? Одной с четырьмя ребятами? Да разве я мальчишек выращу? Я работы не боюсь. Я и стирать пойду, и полы мыть, мы голодом сидеть не будем. Но углядеть за ними я не могу. Вот осталась одна и сразу не углядела, сразу такая беда. Не справится мне, не справится. Что я могу одна? Как подумаю, хоть вешайся, хоть головой в прорубь, хоть...

Ее прервал громкий плач. Коля вжался в угол и громко ревел. Митя подхватил его на руки, крепко вытер платком лицо, сказал:

— Мы сейчас пойдем с тобой гулять. Пустите его, Вера Григорьевна?

Кононова махнула рукой и вышла из комнаты, ничего не ответив.

— Мама, когда тихо говорит, потом плачет и сердится... Я боюсь, когда она шепчет... Она потом злая... Ты меня правда с собой возьмешь? — Мальчишка прижался к Мите и говорил, вздрагивая и длинно, прерывисто всхлипывая.

Папа! Здравствуй! Не сердись, что долго тебе не писал. Я сейчас расскажу все как было. Мы с моим товарищем Юрой ходили гулять во двор артели

Промкооплес. Это рядом с лесопильным заводом. Двор не огороженный, а контору и машинное отделение закрывали плохо. Дверь конторы приперта палкой, а у входа в машинное отделение большая дыра. И мы в эту дыру часто лазили. Там на полу лежал большой распределительный щит, и мы в нем копались, хотели поглядеть, как устроено, да мало чего поняли. Ну, потом катались на тачках-вагонетках. А один раз пошли в контору, а там груды бумаги. Смотрим, бумага исписана только с одной стороны, хотели было взять, пригодилась бы для письма, да не взяли. Потом пошли домой, да я вспомнил, что забыл варежки. Вернулся, а тут, смотрим, стоит дядька, высокий такой, он меня схватил и давай бить, а Юра меня не оставил, он и Юре дал, а потом обоих нас отвел в милицию и составил акт. И в этом акте сказано, что мы своровали разного на пятнадцать тысяч рублей. А мы там никогда ничего не брали, только один раз взяли доску от забора, чтобы сделать ружье. Про это никто не знал, я зачем-то сам про это сказал на суде. Доска валялась около канавы, она была ничья, вот мы и взяли. А нас засудили: год лишения свободы и полтора года испытательный срок. Громовы плюнули, да и уехали из Подгорска и Юрку с собой взяли. А я один без Юрки остался. Ты спрашиваешь, почему я не пишу? Все ребята пишут отцам на фронт, чего хорошего случилось, а я должен про все про это? Мама плачет, Валька с Олькой тоже плачут, один Коленька понимает: раз я не виноват, то и плакать нечего. Но тебе я писать стеснялся, думал, вдруг ты мне не поверишь. Но ты верь, ты мне, пожалуйста, верь, я никогда в своей жизни не воровал и никогда воровать не стану. А если им

надо было свое воровство на меня свалить, так я в этом не виноватый.

Сергей.

Папа, ты не сердись. Твой Сергей.

...Это письмо до Кононова не дошло. Оно разминулось с похоронной.

Заплеванная комнатка с низким потолком, на полу окурки, стекла в окнах мутные, давно не мытые. Грязно-голубая краска на стенах облупилась. С потолка на длинном шнуре свисает тусклая лампочка без абажура. Все это ушибает тяжкой тоской. Как холодным сквозняком тянет тоской и от пожилого бухгалтера, который сидит за столом. Лицо длинное, давно не бритое, нос тоже длинный, вислый, унылый. Сонным голосом, побряхтывая, подолгу умолкая после каждого слова, он читает:

— «Подростки Кононов Сергей и Громов Юрий в декабре и январе систематически проникали в цеха лесозавода... Эти лица производили хищения инвентаря, инструмента, материалов и готовых изделий с территории лесозавода...А также порчу производственного оборудования и станков с целью их похищения... Злоумышленники...»

— Простите, — очень вежливо прерывает Поливанов, — а как же злоумышленники проникали в цех?

— Как? — Бухгалтер удивлен. — Очень просто: путем взлома замков.

— Что же, они в течение двух месяцев безнаказанно взламывали замки? А где же были руководители завода?

— Руководители завода... — Бухгалтер тяжело вздыхает. — Вообще на кражу в нашу артель ходили и другие, это само собой...

— «Ходили на кражу»... Какой странный отхожий промысел. Но откуда же набралось пятнадцать тысяч рублей?

Словно обрадовавшись, что снова может нырнуть в бумагу, бухгалтер деловито откликнулся:

— А вот: оконных стекол двадцать восемь штук, станков ножевых по металлу — два, электрораспределительный щит — один, амперметр — один... Всего семнадцать названий, на сумму пятнадцать тысяч семьсот семьдесят три рубля семьдесят копеек.

— Семьдесят копеек, говорите?

— Да.

— Ну что ж. Позаботились о вверенном вам имуществе, ничего не скажешь. Учтено все до последней копейки. Но если к вам ходили на кражу и другие, почему вы думаете, что все это украли подростки Кононов и Громов?

Бухгалтер вытирает платком лоб.

— Ну что вы ко мне пристали? — говорит он, и теперь Поливанов слышит его настоящий человеческий голос, бухгалтер больше не бубнит скучливо, он сердится. — Суд так решил, не я.

...На дворе Поливанова ждет Коленька. Он сидит на лавке неподвижно, уставившись на крыльцо. Едва в дверях появляется Митя, как он вскакивает и бежит ему навстречу.

— Беги домой, я еще долго ходить буду.

— И я с тобой.

Ты меня полюбил, я вижу, — думает Поливанов. А за что? Непонятно. Просто так. Полюбил — и все. И связал меня по рукам и ногам. Я еще не видел этого

Сергея, а уже в ответе за вас за всех. А почему? С какой такой стати? Я вчера вас знать не знал, а сейчас вы вот у меня где сидите...

— У тебя сыны есть? — спрашивает Коля.

— Нет.

— Ну, тогда собака, кошка?

— У меня дочки.

— Дочки? Как Валька и Олька?

— Поменьше. Катя и Аня.

Поливанов оставляет Колю в коридоре и входит в кабинет к директору лесозавода. Кабинетик маленький, чистенький, стол под зеленым сукном, на полу коврик, на окне занавеска. Не бог весть что, но чисто, пристойно, и сам директор под стать своему кабинету: небольшого роста, чисто выбрит, в аккуратной гимнастерке. А глаза пьяноватые. Красные, мутные. Долго рассматривает удостоверение Поливанова, вертит его и так и сяк.

— И вы из-за этого сюда приехали? Эх, товарищ, товарищ! Мальчишка-то на свободе. Чего вы беспокоитесь? Тихонов, — обращается он к высокому молодому парню, вошедшему в кабинет, — вот товарищ из самой, понимаешь, Москвы к нам пожаловал, насчет Кононова, парнишки того.

Тихонов садится на стул, выставляет ноги и говорит, зевая:

— А чего? Мало дали подлецам. С таких лет — и воровать. Если сейчас не приструнить, дело далеко пойдет. Пускай спасибо скажут, что не засудили лет так на десять. Подумать, в такие годы на пятнадцать тысяч тяпнули! Это надо же!

— Вы Тихонов? Значит, это вы тогда исколотили ребят?

— Как понять — исколотил? Тряхнул маленько, это — да. Неужели по головке гладить за воровство?

— Вот это меня интересует — кто вор?

— То есть как — кто? Суд разбирался, выяснял, люди мозгами ворочали, думали. Воров за руку словили, на месте, как говорится, преступления, а вы интересуетесь, кто своровал? Здравствуйте!

Директор молчит. Разговаривает старший механик Тихонов. Разговаривает уверенно, напористо. У него яркие голубые глаза, плоские, без глубины — не то бельма, не то пуговицы.

Поливанов тоже вытянул ноги, тоже развалился па стуле и, дождавшись паузы, тихо сказал:

— Есть такой анекдот: пьяный ползает на земле у фонаря. Люди спрашивают: ты, мол, что? Рубль потерял, отвечает. А где потерял? Вон у того забора. Так почему ищешь здесь, а не там? А здесь светло!

— Вы на что намекаете? — Тихонов повышает голос. — Вы хоть из Москвы, и пускай вы корреспондент, а должны отвечать за свои слова. Если каждый, кто из Москвы, станет разоряться...

Когда Поливанов вышел в коридор, Коля стоял спиной к нему и глядел в окно. Он мгновенно обернулся, взял Поливанова за руку, и они вышли на улицу. Митя вынул из кармана кусок хлеба с тонким ломтиком шпига и дал мальчику. Коля поднял на него глаза:

— А ты?

— Я сыт.

— Ну откуси.

Митя откусил, и они пошли дальше. Коля шел и спотыкался. Митя подхватил его на руки, мальчишка задрывал ногами:

— Я большой! — И вдруг затих, обмяк, стал тяжелый. Переложил хлеб в левую руку, правой обнял Поливанова за шею и уронил голову ему на плечо. — Я большой, — повторил он очень тихо и опять умолк.

Он был тяжелый, потяжелее Кати, да и Анюты, пожалуй. Поливанов все останавливался, спрашивая дорогу в прокуратуру. Одна тетка объясняла долго и путано:

— Суд, стало быть? Постой, постой, где же это такое? А, в райсовете. Вот завернешь после кина вправо, там поднимешься на горку и возьмешь левой. Эх, да что там, давай провожу!

Она шла рядом, размахивая кошелкой, и говорила без передышки:

— От сумы, говорят, да от тюрьмы не уйдешь. Сума вот она. До сумы нас всех война довела. Окаянная! Ты, я смотрю, не на фронте. Отвоевался? А! Счастливая у тебя жинка. А у моих дочек мужиков поубивало. У обеих. Обое с детьми остались. Счастливый ты, паренек, тятка вернул. Вон как обнял, видать, соскучился? Эх, беда, беда наша, куда от нее денешься? В магазинах хоть шаром покати. А на рынке такое запрашивают, не подступись. Совсем Бога забыли. Дерут, черти, ни стыда ни совести. А тебе зачем в суд? Да ладно, не хочешь — не говори. Кому охота про себя неладное рассказывать? Бывай здоров! Вон он суд, видишь? Ну, ни пуха тебе, ни пера!

Поливанов постоял с минуту, глядя на двухэтажное обшарпанное здание.

— Знаешь что, брат? — сказал он. — Пошли-ка в Серезину школу. А сюда я пойду завтра.

— А ты слышал, тетенька говорила про рынок? — спросил Коля.

— Слышал.

— Пойдем посмотрим? Я ногами пойду.

Поливанов спустил Колю наземь. Мальчик взял его за руку и уверенно повел. Они миновали безлюдную площадь, сразу за церковью с голубыми луковками свернули в переулок. Там под легким деревянным навесом шла нешумная торговля.

В Ташкенте осенний рынок пылал помидорами, яблоками, виноградом. У каждой снеди был свой яркий цвет — розовая картошка, оранжевые дыни, лиловая свекла, а в воздухе стоял немолчный гам. Здесь все было притушено. Бутылы бледного с синевой молока, мешки серого мелкого картофеля, подмигнула горка разноцветной фасоли, и опять — связки серых сушеных грибов, тусклая, словно пеплом присыпанная, свекла. «Куда он меня ведет?» — подумал было Поливанов, как вдруг Коля остановился. Он молча смотрел на тетку в пуховом платке. У ее ног, прямо на земле, приютились два толстых мешка — в одном тыквенные семечки, в другом — черные.

— Подсолнушки, — тихо сказал Коля.

— Каких тебе? Этих или тех?

Коля молчал.

— Понял вас, — сказал Поливанов, и в Колины карманы с тихим шуршанием посыпались семечки, в один карман — черные, в другой — белые.

— Жареные. Теплые! — глубоко вздохнув, сказал Коля и, зажмурившись, погрузил руки в карманы. — Поистратился? — спросил он, открыв глаза.

— Не без того, — ответил Поливанов.

— Да, запрашивают — не подступись! Совсем Бога забыли! Дерут, черти, ни стыда ни совести!

— А теперь веди меня в Серезину школу!

Поплутав немного, они вошли в школу, низенький деревянный дом, в ту минуту, как раздался звонок. Двери разом распахнулись, в коридор вывалились ребята, и все заходило ходуном. Поливанову казалось, что он в шапке-невидимке, никто не сторонился, мальчишки бежали напрямик на него. Пахло хлоркой, чернилами (лиловыми, — подумал Поливанов). Хлопали двери, форточки, звонкий девчоночий голос кричал:

— Кому говорят? Вон из класса!

— Где тряпка? Где тряпка, я вас спрашиваю? — откликнулся кто-то в конце коридора.

Снова звонок, и так же внезапно наступила тишина, готовая вновь взорваться шумом. Поливанов стоял в затихшем коридоре и вспоминал московскую школу, которую часто снимал в кинохронике: ковры, широкие окна, классы, полные света. Он недавно снова был в этой школе. И сейчас, в войну, она по-прежнему была чистая, светлая, теплая. По коридорам не бегали, а ходили парами девочки в коричневых платьях, а величавая толстая директриса оглядывала их внимательным и строгим глазом. Здесь директором была усталая, оглохшая от шума женщина. Выслушав Поливанова, она сказала:

— Я, знаете, не в курсе дела. Тут мать Кононова приходила за характеристикой, она что-то такое рассказывала... Он, кажется, с группой ребят стянул какие-то части на машинотракторной станции. Подробности? Какие же я могу знать подробности? Тогда уж надо с делом знакомиться.

Дверь кабинета растворилась, и кто-то втолкнул в комнату подростка лет пятнадцати.

— Стань как следует, — устало произнесла женщина. — Ну что?

— Ольга Васильевна выгнала из класса.

— Вынь руки из карманов. Стань как следует, как человек. Ну? Что ты натворил?

— А чего? Я ничего! А чего она?

— Придется мать вызвать. Не жалеешь ты ее, Никитин.

— А чего...

Поливанов тихо вышел из кабинета. Никто этого не заметил.

— Ну вот, друг милый, — сказал он Коле, — пойдем домой. Ничего нового мы, наверно, не узнаем. И пора уже мне познакомиться с Сергеем Кононовым.

— Иду-у-ут! — услышал он еще на крыльце. Дверь распахнулась, на пороге стояли две одинаковые девочки: обе курносые, глазастые, у каждой, как и у Коли, по ямочке на подбородке. Они как знакомого схватили его за руки и потащили в комнату.

— Я вам солью! Вот чистое полотенце! С петухами! Вы у нас долго поживете?

Они говорили наперебой, суетились, поливали ему на руки, собирали на стол — все разом. А в углу комнаты на низкой скамеечке сидел мальчик. Белокурый, со светлок-карими ореховыми глазами. Может, эти глаза смотрели чуть настороженно — самую малость. А может, просто это были очень внимательные глаза. Здороваясь, он смотрел на Поливанова спокойно и пристально. Вера Григорьевна была в свежей, тщательно отглаженной блузке, девочки в синих фланелевых платьях, с белыми бантами в тощих косичках. Все сели за стол, который казался праздничным: на ослепительно белой скатерти стояла миска, и в ней дымилась картошка. В глубоких тарелках — кислая капуста, винегрет, горячая свиная тушенка, привезенная Поливановым, посередине стола — маленький графинчик с мутноватой водкой.

Поливанову казалось, что он никогда не видел детей, которые так доверчиво разговаривали бы с незнакомым человеком. Девочки обращались к нему так, словно век его знали, словно к ним приехал старший брат или дядя. Его расспрашивали про метро, салюты, зоопарк. Ему на-

кладывали в тарелку, подливали в стакан, на него глядели глаза ласковые и счастливые. Все это было просто так, задаром. Они не знали, что он приехал на выручку, знали только, что он гость. Из Москвы! Коля сидел рядом и жался к нему. Коля очень устал, но тоже был счастлив — едой, теплом. И ему хотелось показать, что Поливанов его, Колин, гость.

— А покажи им карточки! — сказал он.

И когда Поливанов вытащил фотографии, Коля сам все объяснил — где Аня, Катя, Саша. Рассказал, что Аня пошла в первый класс, а Катя еще маленькая. Что живут они на чудной улице — называется Серебряная. Вера Григорьевна долго и пристально рассматривала карточки, про Анисью Матвеевну спросила:

— Мамаша?

Поливанову было не занимать стать рассказов. Он рассказывал всякие истории, смешил, пил за здоровье Веры Григорьевны, дочек, сыновей. И вдруг он понял, что они тут все вместе, а Сергей один. Сергей тоже разговаривал и спросил даже:

— А в Москве хорошие ремесленные? Я бы пошел в ремесленное, да тут у нас одна шпана идет.

Но дело было не в том, что он говорил, а что, сидя за этим столом вместе со всеми, он был огорожен кольцом одиночества, и казалось, от них от всех ничто за этот круг пробиться не может. Ни девочки, ни Коля, ни мать, ни он, Поливанов, не могли перешагнуть через эту преграду. Что делает человека одиноким — беда? несправедливость? потери? Поливанов вдруг вспомнил себя в Ташкенте. Ничье участие ему не помогало тогда. Ничья близость, ничье тепло. Ничья рука? Неправда. Была такая рука. Без этого бы не справиться. А как быть здесь? Этот тоже не пожалуется. Не попросит помочь.

Пока девочки убирали со стола, Сергей сел за уроки. Это значило: я занят. Меня не трогайте. А Коля ходил за Поливановым неотступно. Он стоял в своем тулупчике неподалеку, пока Митя колол на улице дрова. Потом помог сложить поленья в сенцах. Он забрался к нему на колени, когда они вернулись в дом. Девочки притулились подле на той низкой скамеечке, на которой прежде сидел Сережа, и преданно смотрели, как Поливанов мастерит из газетного листа голубей, самолеты.

— Ты бы послал девочкам в Москву какой подарочек, а, Коля? — сказала Вера Григорьевна. — Какую из своих игрушек?

— Ладно! Выберу что мне не надо! — сказал Коля.

— И не стыдно? — разом закричали обе девочки и кинулись к шкафу. Они отворили дверцу, и на нижней полке Поливанов увидел кукольную квартиру. Стол, покрытый пестрым лоскутком, четыре табуретки, шкафчик — грубо сколоченный, но шкафчик, в дверцу которого вделано карманное зеркальце. По левую сторону от стола стояла кровать, и на ней две тряпичные куклы с целлулоидными головами. Глаза у кукол были пронзительно голубые, вытаращенные, и лица походили на блин. Но платья! На одной кукле было черное бархатное с пышным кружевным воротником, на другой — шерстяное в красно-синюю клетку. Кушачок кожаный с маленькой пряжкой от чьих-то старых туфель.

Сидя на корточках, Митя разглядывал все это хозяйство.

— Сами шили? — спросил он.

— А кто же еще? А лоскуты какие богатые, правда? Мебель нам Сережа сработал. Вы берите, берите, не стесняйтесь, и кровать берите, и шкаф. Нам Сережа еще сделает, сделаешь, Сережа?

— Сделаю, — ответил Сергей, не оборачиваясь. Митя брал в руки и рассматривал стол, табуретки, шкаф.

У девочек от таких вещей сердце должно заходиться. В комод лежали кукольные платья, простыни и наволочки. Комод был из спичечных коробков, и ящики выдвигались, как настоящие.

Потом все легли спать, за столом остались только Поливанов и Сергей. Настольную лампу приглушили газетой. Поливанов открыл книгу, мальчик что-то писал и зачеркивал в тетради по арифметике. Радио здесь не выключали. Оно говорило без передышки. Поливанов уже научился не слышать: музыка, говор, песни, стихи — все проходило мимо, звучало издалека. И вдруг он поднял голову и прислушался, как если бы его позвали. В черной тарелке проплакала скрипка, виолончель глухо повторила за ней ту же мелодию. Поливанов взглянул на мальчика. Сережа сидел, низко склонившись над тетрадкой. На бумагу со стуком упала капля, и Поливанов поспешно опустил глаза.

— А если правда в ремесленное? В Москву? — услышал он.

— А мать? А девочки? Коля?

— Вам рассказать, что здесь было, или вы уж слышались?

— А что мне до этого? Я и сам понимаю, что к чему. И бухгалтеря повидал, и Тихонова. Не маленький.

— Мы с Юркой только...

— Не надо. Знаю.

— Выручите?

— Выручу.

Сергей лег на полу, Поливанов на его диване. Радио пело «В лесу прифронтовом», а он хотел снова услышать, как глухо вторит плачу скрипки виолончель. Знать бы хоть, что это такое. Вот Саша, наверно, знает. Но он

даже не сумеет объяснить ей как следует, что это было. Скрипка плакала, а виолончель повторяла жалобу своим человеческим голосом. Странная она, эта журналистская работа. Если так всех впускать к себе («в свое сердце» — кажется, так говорят в художественной литературе) — надолго ли человека хватит? Он любил свою прежнюю работу. Никто на свете не знал, как он ее любил. Он много видел. Разное встречалось на его пути. Хорошее, плохое, прекрасное, уродливое. Все вперемешку. Он видел, запоминал, шел дальше. Он не останавливался. А тут остановился. Первый раз в своей жизни он остановился, увидев Сашу. С той поры что-то с ним произошло. Но сейчас... Как быть сейчас? Разве он успокоится, если не выручит этого мальчишку? Разве он когда-нибудь забудет эту семью, печальную женщину, курносых девченок, малыша, который сегодня уснул у него на коленях?

Он понял, что полночь: радио умолкло. И в тишине стало слышно, как Коля сползает с сундука. Поливанов окликнул его, и Коля тотчас зашлепал к нему босыми ногами.

— А я думал, ты на полу, — сказал он, заползая под одеяло, — слушай, чего я тебе скажу... Оставайся с нами. Не уезжай в Москву...

— А Катя с Анютой как же?

— Они сюда приедут. Будем вместе жить.

— А их мама?

Коля не ответил. Поливанову даже показалось, что он уснул. Но нет, он не спал. Поливанов снова услышал его шепот:

— Наша мама очень хорошая. Она редко ругается. Только если плачет. Вспомнит папу, заплачет и тогда начнет шептать: на что вы мне сдались все? И что я буду с вами делать? Когда папу убили, мама сильно плакала. Мы все тоже плакали, и мы ей говорили: не плачь, мы

тебя будем слушаться, всегда будем слушаться, а она все равно плакала. Даже заболела. Я ей в больницу суп носил.

— Ты молодец, хороший парень.

— Не уезжай, а то я буду плакать. Заболею, меня в больницу положат.

— Спи, поздно уже.

— У нас мама хорошая. Кружева умеет вязать. Видел на столе скатерть? Это она сама вязала. Она из всех на-домниц самая лучшая. Она такая. Слышишь, что я гово-рю?

— Слышу. Спи.

В первую минуту ему показалось, что молоденькая де-вушка-адвокат похожа на Сашу: синие глаза и каштано-вые волосы над светлым лбом. Но стоило ей заговорить, и сходство пропало. Саша всегда оставалась сама собой. Это и по сей день не переставало удивлять Поливанова. Она разговаривала простодушно и открыто; сердилась ли она или смеялась, говорила с чужими или с кем-либо из своих — она оставалась все той же Сашей.

Увидев синие глаза под темными бровями, он улыб-нулся, готовый услышать Сашин голос. И ошибся.

— Я настаивала на том, чтобы дело за маловажнос-тью состава преступления прекратить, — строго сказа-ла девушка, и Поливанов понял, что этой строгостью и металлическим голосом она утверждает себя. Никто не посмеет сказать ей: э, да ты слишком молода, рано те-бе винить или оправдывать. Когда человек говорит так сухо, так серьезно, всем становится ясно, что моло-дость не помеха, — несмотря на молодость, девушка

кончила юридический институт, и за плечами у нее немалый опыт и знание жизни, и глаза у нее зоркие, и от них ничего не укроется.

— В иске Промкооплесу мы сразу отказали, а эта несчастная доска, про которую вспомнил Кононов... так ведь в разделе третьем уголовного кодекса есть примечание — простое и ясное, я на него и опиралась в своей речи.

Поливанов глядел на нее — очень молодую и строгую — и постарался представить себе, как она произносит речь. Наверно, вот так же, стараясь держаться прямо, сжав руки в кулак и выбирая слова поостроже: «Раздел третий уголовного кодекса... состав преступления...» Она говорила дельно. Но она была такая замороженная, что Поливанов перестал расспрашивать и, подчиняясь ей, прочел примечание к разделу третьему. Там было сказано: «Не является преступлением действие, которое хотя формально подпадает под признаки какой-либо статьи особенной части настоящего кодекса, но в силу малозначительности и отсутствия вредных последствий лишено характера общественно опасного».

— Вот видите: общественно опасного. Но ведь кража двухметровой доски, которая к тому же валялась в неподложенном месте, не представляет собой ничего общественно опасного, так? А суд...

— Да, суд тоже предпочел искать там, где светло.

— Как вы сказали?

— Нет, нет. Просто к слову пришлось. Спасибо, я все понял.

Он больше никуда не пошел. Он вернулся к Кононовым. Смастерил Коле из дощечки лодку, совсем такую, как когда-то в Ташкенте для Ани. Он сделал красивый парус, и лодка стояла на столе, а Коля оперся подбородком на край стола и смотрел на нее не мигая.

Весь день Коля был очень тихий. Не пел, не разговаривал, не расспрашивал Поливанова про Москву. Он только ходил по пятам, сидел рядом, а иногда молча касался его руки. Глаза Веры Григорьевны глядели холодно. Она истопила печь и долго сидела молча, глядя в огонь. И только девочки были по-прежнему веселы. Они безмерно восторгались его расческой, кожаным футляром от нее и носовым платком в голубую и белую клетку. Он подарил им расческу, футляр и платок. Вера Григорьевна прикрикнула:

— Будет вам кланяться!

И девочки тоже примолкли.

Потом в окна заглянули сумерки, семья в тишине поужинала. Поезд на Москву ушел в час ночи, но Поливанов решил выйти загодя. Мальчики шли рядом с ним, взявшись за руки. На окраине города Поливанов услышал за спиной рев грузовика, остановился и поднял руку.

— До станции? — спросил шофер, приоткрыв дверцу. — Садись!

Поливанов пожал руку Сергею, поцеловал Колю и сел в кабину. Прежде чем захлопнуть дверцу, он высунулся и еще разок поглядел на мальчиков. Они стояли на краю шоссе — большой и маленький, стояли сиротливо, а за ними выцветало сумрачное небо с первыми бледными звездами.

И Поливанов понял, что навсегда запомнит этот молчаливый день и безмолвно глядящую в огонь женщину, высокое печальное небо и мальчиков, которые стояли, взявшись за руки, на краю шоссе.

И вот он сидит за столом, и перед ним лист чистой бумаги. Саша на работе, Анюта в школе, Катя во дворе. Тишина. Никто не мешает. Пиши.

В поезде, по дороге домой, он мечтал об этой минуте. Ему так хотелось поскорее остаться наедине с белым листом. Казалось, слова сразу польются на бумагу и читатель вместе с ним увидит и поймет то, что увидел и понял он. Но рука будто окаменела. Все слова куда-то запропастились. Из-под пера выходило что-то несусветное. Он писал и зачеркивал, писал и зачеркивал. Он зазря просидел у стола до часу дня, пока из школы не вернулась Аня. Следом за ней пришли Катя с Анисьей Матвеевной, и Поливанов вздохнул с облегчением: ну, какая же работа при детях!

— Как твои дела, Анюта? — спросил он, пряча перечеркнутую страницу в портфель.

Аня поглядела на него, крепко сжав губы, и вдруг залилась плачем:

— Опять... опять единица!.. По арифметике. — Аня размазывает по лицу слезы и, рыдая, пытается объяснить:

— Я не решила... не решила, сколько будет три плюс четыре.

— Никогда не поверю! Ты ведь складываешь в уме большие числа! Постой, ты вчера сосчитала, сколько будет тринадцать и восемь!

— Да-а, а я сколько думала? Зинаида Петровна не велит думать, она велит сразу говорить, сколько будет.

— Ты что-нибудь не поняла, Анюта. Этого не может быть, чтобы учительница не велела думать.

— Митя, вот честное слово! Если ты не веришь, так вот самое честное слово! Митя, а ты знаешь, какие у Зинаиды Петровны самые любимые слова?

— Какие же?

— «У меня свой метод», «не возражайте мне». А еще так: «я требую».

Слезы высохли, оставив на щеках грязные полосы, Аня саditся с ногами на диван и, забыв о единице, рассказывает:

— Митя, сегодня Люба, ну, которая со мной на парте сидит, спрашивает: «Почему ты носишь на завтрак все черный хлеб да черный хлеб? Вот у меня на завтрак плюшки с изюмом!»

— А ты что ответила?

— Я ответила: я люблю черный хлеб, особенно если с повидлом, а плюшки с изюмом не люблю.

— А ты и вправду не любишь?

— Ну что ты, Митя! Конечно, люблю. Только ей об этом знать незачем. Митя, а ты уже написал про этого мальчика, про Сережу?

— Хватит болтать! — слышится из соседней комнаты голос Анисьи Матвеевны. — Анна, иди обедать!

Поливанов выходит вместе с Аней в комнату Константина Артемьевича и видит Катю, которая стоит у зеркала и, протянув своему отражению кусок хлеба, дружелюбно говорит: на!

Остаться с ними? Пошататься по улице, подумать, может, что и придет в голову? Или пойти в редакцию, проверить, не переврали ли фамилии в фотоочерке о Мытищинском заводе. И вернуться, уже когда Саша будет дома. Да, пожалуй, он пойдет в редакцию. Его там не ждут нынче, всем известно, что он «отписывается» после командировки. Да, отписывается... Пишет и зачеркивает, пишет и зачеркивает.

Все-таки, — думал он, шагая по Серебряному переулку, — надо что-то сделать с Аней. Может, перевести в другую школу? Здесь ее заморозят. Как она спросила: а ты уже написал про этого мальчика, про Сережу? Все, что он написал сегодня, было плоско. Ни мыслей, ни простого умения рассказать суть дела.

Может, посоветоваться с кем-нибудь. Например, с Сергеем Голубинским, что ни говори, он один из лучших очеркистов в газете. Но Голубинский очень занят собой. Поливанов не раз замечал: у Голубинского оживленное лицо, блестят глаза — это значит: говорят о нем, о его работе. Вот его лицо потускнело, глаза погасли — это значит: заговорили о ком-нибудь другом. Поливанов представил себе, как он рассказывает Голубинскому о Кононовых, мысленно увидел его скучающее лицо и то, как он старается подавить зевок... Нет, черт с ним, с Голубинским. Может, поговорить с Лаврентьевой? Она талантливая журналистка. Она называет себя многостаночницей и действительно умеет все и разом: написать передовую, очерк, деловую корреспонденцию, фельетон. Иногда пишет, чаще — для скорости — диктует прямо на машинку, и машинистки не могут удивиться этой способности диктовать быстро, отчетливо, на ходу выстраивая умную, яркую статью.

О ней говорили много и плохо. Говорили, что у нее всегда не меньше трех романов одновременно. Говорили, что сам шеф в нее влюблен. Говорили... Да мало ли что о ней говорили! Поливанову все это было нелюбопытно. Он учился новому делу и с жадностью наблюдал за чужой работой. А у нее было чему поучиться. На летучках она всегда выступала толково, кратко, умно. Она, по общему признанию, была хорошим советчиком. Да, для всех, кто умел не обижаться.

— Вы никогда не будете писателем, — сказала она Голубинскому.

— Да он уже писатель, у него книг сколько! — воскликнула Оля, секретарша отдела.

— Вы талантливый человек, — продолжала Марина Алексеевна, — но вы никогда не станете писателем. Вы умеете обижаться, но не умеете слушать.

— То есть? — спросил Голубинский.

— Когда вам говорят, что вы написали плохо, вы обижаетесь и киснете. Вы не умеете ни выслушать, ни вдуматься в то, что вам сказали. Вот и сейчас, — ну, что с вами? Оля, скорей повторите ему, что он писатель, раз у него есть книги!

Поливанов вспомнил обо всем этом, пока поднимался по редакционной лестнице. Не заходя к себе в отдел, он открыл двери секретариата и тотчас наткнулся на Лаврентьеву и Голубинского. Она сидела в кресле за столом, он нервно ходил по комнате.

— Ильф очень точно заметил: есть литераторы, которые бесславно погибают в борьбе со словом «который»...

— Это, конечно, очень остроумно, но это не оправдывает ваших вечных нападков, которые...

— Вот, вот! Которые! — Она засмеялась. — Попробуйте выпутаться из этой фразы!

Ей лет тридцать, может быть тридцать пять. Темные волосы свернуты узлом на затылке. Лицо продолговатое, с большим красивым ртом — выразительным и умным. Она почти всегда курит, Поливанов, пожалуй, не помнит ее без папиросы. А папироса всегда в мундштуке, и от этого кажется очень длинной и тонкой.

— А! — сказала она. — Вот кого я рада видеть. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Говорят, вы интересно съездили?

«Интересно?» — подумал Поливанов. Кажется, это последнее слово, которым можно определить его поездку в Подгорск.

— Да, — ответил он, — очень интересно.

— Не могу ли я быть вам полезной?

— Пока нет, благодарю вас.

— Но, написав, надеюсь, покажете?

— Конечно, если прежде не погибну в единоборстве со словом «который».

— Ну-ну! — сказала она. — Желаю успеха!

И вот он снова сидит за столом, и перед ним лист чистой бумаги. Дети спят. Тишина. Никто не мешает. Пиши. И он пишет: «В разделе третьем уголовного кодекса есть примечание, простое и ясное. Оно гласит...» Нет, не так. Сейчас, сейчас, что-то такое промелькнуло очень важное. Ах, да. Зачеркнув написанное, он складывает новую фразу: «Велика ответственность каждого человека перед теми, кто на фронте...»

Нет, опять не то. Откуда берутся эти казенные слова? Ведь он никогда так не говорит. Почему же сейчас они опутали его, и он никак из этой паутины не вырвется: «дети фронтовиков», «великая ответственность», «примечание гласит»... Нет, дело не в словах, а в том, что он — бездарность. Ведь он знал, что ему не следует браться не за свое дело. Он был прав, когда сказал Леше, что не поедет в Подгорск. Надо было, чтоб туда поехала Лаврентьева. Или Голубинский. Или кто-нибудь еще. Он представил себе Голубинского в комнате у Кононовых, и эта картина ему не понравилась. А если Лаврентьева? Вот она вошла, поздоровалась с Верой Григорьевной. Нет, не то. Это он, Поливанов, был в доме на Любимой улице. Он, а не Голубинский, не Лаврентьева. И так, была не была, начнем: «В суд поступило дело. Суть этого дела заключалась в том, что двое подростков...» Проклятье! Поливанов скрипнул зубами и отложил перо. И вдруг сзади его обняли за шею. Он прижался щекой к Сашиной руке.

- Я не слышал, как ты вошла.
 - Я давно уж тут и смотрю, как ты маешься.
 - Только зря ездил. Мне не написать.
 - Неправда, напишешь. Вот послушай. Представь себе: ты приехал из Подгорска, а меня нет.
 - Где же ты? Я не люблю, когда тебя нет.
 - Я уехала на Северный полюс. Или в Ленинград. Или гуляю по Царской тропе в Крыму. Ты приезжаешь, а меня нет. Что ты делаешь?
 - Я сержусь.
 - Верно. Ну, а потом?
 - Потом я ору на всех подряд, расшвыриваю все, что попадает под руку. Дети плачут, а я проклиная вселенную и все ее окрестности.
 - Все верно. Ну, а потом?
 - Потом я пытаюсь дозвониться тебе.
 - На Северный полюс? Нет, ты пишешь мне письмо. И в письме рассказываешь обо всем, что было в Подгорске. Понимаешь? Ты должен написать не статью, не очерк, а письмо ко мне. Дорогая Саша, я приехал в Подгорск поздним вечером. Темень. Где же здесь Любимая улица? Где дом Кононовых? Ну, зачем мне сейчас повторять все, что ты нам рассказывал? Потом мы вычеркиваем «Дорогую Сашу» и «Целую тебя», и остается статья.
 - Ты предлагаешь игру, а мне надо написать серьезный очерк.
 - Митя, честное слово, я тебе дело советую. Вот попробуй. Ведь ты не станешь мне писать... — Она перегнулась через его плечо и прочитала:
 - «В суд поступило дело. Суть этого дела заключалась в том...»
- Поливанов прикрыл ладонью начатую страницу.

— Ложись. Уже поздно, — сказал он хмуро. — А я еще поколдую.

Он работал всю ночь. Он мысленно повторил весь путь от вокзала до города, снова едва не упал в овраг, снова услышал, как течет в темноте река и стук своих башмаков по булыжной мостовой. Он вспомнил, как женщина сказала: «А я было подумала...» А что она подумала? А вдруг... вдруг добрая весть. Вдруг то извещение было ошибкой. Вдруг...

Он рассказал о заплеванной комнатке с низким потолком и о бухгалтере с его унылым носом, он написал про чистенький кабинет директора Промкооплеса и про Тихонова: «Вы на что намекаете? Вы хоть из Москвы, и пускай вы корреспондент, а должны отвечать за свои слова».

Про бухгалтера, директора, Тихонова написалось легко. Про Сергея, про Колю писать было куда труднее. Опять все слова взбунтовались. Поливанову почудилось, что он пишет не чернилами, а патокой, сладким сиропом. Откуда-то выскочила «тонкая шейка» и даже «ясные ребячьи глаза». Брр!.. Он в бешенстве перечеркнул страницу и начал все сызнава. Хорошо ли, плохо ли, но он написал свой очерк. И даже примечание из третьего раздела уголовного кодекса нашло в очерке свое место: как оно и было, его помянула молоденькая защитница. И о том, как они с Колей ходили по городу, было сказано. Поливанов не говорил за бухгалтера, директора, Тихонова, они сами говорили — директор вкрадчиво («Ах, товарищ, товарищ!»), Тихонов напористо, а бухгалтер будто читал протокол. И непреложно ясно было, кто вор.

Под утро он разбудил Сашу и прочитал ей свою статью.

— Спасибо, — сказала она. — Чудесное письмо.

Это было, наверно, единственное в стране учреждение, где машинописным бюро заведовал мужчина. Ростом он не вышел и весь был очень маленький: маленькое личико, маленькие ручки и огромные круглые очки. Но маленькие ручки с бешеной быстротой стучали по клавишам, с ним не могла состязаться ни одна машинистка. Он печатал, не глядя на клавиши, и при этом еще делал замечания машинисткам, брал телефонную трубку, отругивался, объяснял, что у него все материалы срочные и он ни для кого не намерен делать исключения. Если ему диктовали, он то и дело вопил:

— Быстрее! Еще быстрее! Быстрее, вам говорят!

В редакции он назывался машинист. Все машинистки ненавидели его, боялись и уважали: он печатал не только с чудовищной, неправдоподобной быстротой, но безупречно грамотно. Отдавая перепечатанную статью, он обычно говорил автору несколько слов. Чаще всего это были неодобрительные слова:

— Сложные периоды у Гоголя получались лучше, чем у вас, не скрою. Обратите внимание на последний абзац — пока его читаешь, может пройти товарный состав в сорок вагонов.

Или:

— Что это у вас «распоряжение», «удивление», «разъяснение» — «ение»! Акафист какой-то, а не статья.

Он терпеть не мог Голубинского («Написано красиво, но смысла ни на грош») и любил Лаврентьеву («В том, что она пишет, всегда есть зерно»).

Как ни странно, он хорошо относился к Поливанову. Он сам ему печатал. Не хвалил его фотоочерки, но и не ругал.

Сейчас он взял очерк Поливанова, перелистал его, поднял брови:

— Подвал? Гм... Ладно, приходите через час.

Дверь приотворилась, и кто-то на ходу крикнул:

— Поливанова в секретариат к Савицкому!

Савицкий был ответственным секретарем редакции. Когда-то хороший журналист, он давно уже ничего не писал.

— Давно не писал и уж наверно никогда ничего не напишу, — с грустью сказал он однажды Поливанову. — Секретариат съел меня со всеми потрохами. Но, — прибавил он, — если он мог меня съесть, то туда мне и дорога. Вот Марину не заставишь сидеть в редакции, ей нужны жизненные просторы — ездить, писать. А я... Так, видно, до конца буду протирать свой ширпотреб на этом окаянном месте.

Но он любил это окаянное место. Любил редакцию, ревновал к каждой интересной статье в другой газете. Никто лучше него не учил практикантов, никто пристальней не приглядывался к новым людям, пришедшим в редакцию. И это он сказал Поливанову, когда тот принес в редакцию письмо, найденное в чемодане майора Кононова:

— Вот вы и поедете. Давно пора. Не спорьте. Поедете.

«Зачем я ему понадобился?» — думал Поливанов, отворяя дверь в кабинет Савицкого. Савицкий сидел над макетом полосы и что-то вымерял строчкомером. Он поднял усталые глаза и жестом пригласил Поливанова садиться.

— Это не очерк, — сказал он Глебову, сотруднику отдела науки, — не очерк, а восемь страниц Нагорной проповеди. Понятно? Верни в отдел.

Глебов проворно схватил какие-то гранки и умчался. Савицкий подпер щеку ладонью и сказал:

— Поздравляю, дорогой друг, с боевым крещением.

Что он мелет? Он ведь еще не читал статьи?

— Я не о статье, — сказал Савицкий, словно угадав его мысли. — Я о другом. Поздравляю с первой анонимкой. В редакцию пришло письмо, в котором сообщается, что вы родственник Кононовых.

— Очень интересно.

— Да, конечно. Это правда, что вы остановились у них?

— Правда.

— Послушайте, но ведь это журналистская азбука — нельзя останавливаться у людей, которых собираешься защищать.

— А если собираюсь ругать?

— Тоже нельзя. Гостиница — вот резиденция журналиста. Нейтральная зона. Независимость. Запомните это раз и навсегда.

— Есть запомнить.

— Идите и больше не грешите.

— Есть не грешить.

— В письме говорится, что вы младшего Коконова таскали по городу на руках. Было дело?

— Было.

— А зачем, собственно?

— Мальчишка устал. Почему не взять его на руки?

— Да зачем он за вами поплелся?

— Знаете что, Леонид Евгеньевич, вот скоро очерк придет с машинки, прочитаете и поймете. Или не поймете, это уж как выйдет. А объяснить я вам ничего не могу.

...Поливанов послонялся по коридорам, забрел в читальню, посмотрел свежие журналы. Ровно через час он заглянул с порога в машинописное бюро.

— Десять страниц, — сказал главный машинист, — и доложу вам, очень толково написано. Зацепили.

Поливанов взял очерк, отыскал пустую комнату и стал читать. То ему казалось: хорошо. То вдруг он непременно понимал: из рук вон плохо. Одно только он знал твердо: может, нельзя журналисту останавливаться у людей, которых он хочет защищать, но если бы он зашел к Кононовым, чтоб, как говорят, «проверить факты», он ничего не мог бы написать. Надо было там пожить. И посидеть с ребятами у печки. И походить с Колей по городу. И поговорить с Сергеем в затихшей комнате. «Выручите?» — услышал он снова. Выручу. Не будь всего этого, он не написал бы очерка, нет, не написал бы. А хороший вышел очерк или плохой, этого он не знал.

Очерк напечатали. Держа в руках газету, Поливанов испытывал чувство, похожее на то, с каким впервые взял на руки новорожденную Катю: это мое? Неужели это незнакомое, непонятное — мое?

На летучке его очень хвалили. Критиком был Голубинский, и он не пожалел слов: талантливо, глубоко, живописно, видишь людей, слышишь страстный, заинтересованный голос публициста.

— В редакции появился новый талантливый очеркист, надо помочь его росту.

Все это было не очень приятно. Если тебе тридцать шесть, то неловко слушать, как говорят, что ты молодой, растущий и что тебе надо помочь. Но все это было забыто, когда в газете была опубликована маленькая заметка «По следам наших выступлений» и читатель узнал, что очерк сделал свое дело: ребята оправданы, судимость с них снята. Поливанов набрал домашний телефон:

— Саша, ты видела?

- Еще бы!
- Ты рада?
- Еще бы! Приходи пораньше.
- Постараюсь.

Поливанов стоял у окна. Далеко внизу сновали автомобили, трамваи, троллейбусы. Шли маленькие пешеходы — кружились, сталкивались, расходились: муравьи, да и только.

Поливанов смотрел на все это и думал: оказывается, у счастья есть вкус, совсем незнакомый, прежде не испытанный.

Разве он раньше не помогал людям? Помогал. Тебе нужны деньги? Бери, не жалко. Ночлег? Приходи, ночуй. Нянька, накорми! Совет? Нет, советов не даю. Советчику первая оплеуха. Приходилось ему вступаться за людей? Приходилось. Мог разнять драку, а заодно дать по морде кому следовало. Мог сцепиться с начальством, если начальство упражняло свою властность на ком-нибудь безответном. Ну что ж, вступался за людей. Так почему же... Он услышал, что в комнату кто-то вошел. Обернулся и увидел Лаврентьеву.

— Хочу поздравить вас, — сказала она. — Не буду, как Голубинский, разливаться соловьем, но вы — молодец. И я очень хорошо понимаю, что вы сейчас чувствуете. «По следам» — это нашему брату журналисту самая лучшая награда. Не правда ли?

— На вашу долю она, наверно, часто выпадала?

— Случалось, не буду врать. А знаете, что самое главное в вашем очерке? Свое «я». Не безликое газетное «мы», а вот именно «я». Начинающие этого боятся, а вы сразу же, с первых слов загремели: я думаю, я видел, в полной уверенности, что это важно, — то, что вы думаете и видите. И верно: это важно. Очень важно. Теперь вот что: редакция «Вечного пера» попросила меня напи-

сать о вас. Хотят отметить ваш дебют. Как вы на это смотрите?

«Вечное перо» — так называлась редакционная стенгазета. Гм... Ей поручено написать о нем. Превосходно!

— Как я смотрю? Положительно. Как же еще можно на это смотреть? Это почетно, и я польщен.

Она сидела на диване, он сел рядом и задумчиво сказал:

— Мне хотелось бы, чтоб в вашей статье нашли отражение примерно следующие пункты. Первый: Дмитрий Поливанов — выразитель надежд и чаяний своего народа. Не смейтесь, это очень серьезно. Пункт второй — биография. Детство, родители. Первые литературные опыты — на заборе. И первые огорчения: порка. Шатания и сомнения. Выход из кризиса и новый творческий подъем в пятом классе. Пункт третий — тема нравственного обновления и богоискательство. Отвлечение к точным наукам, равно как и к гуманитарным. Пункт четвертый: Дмитрий Поливанов — на стыке двух эпох.

— Это все? — спросила она, закуривая.

— Что вы? Конечно нет. Нужен еще пункт пятый — Дмитрий Поливанов и журналистика сороковых годов. Фотоочерк, очерк-портрет, очерк на моральную тему — излюбленные жанры Дмитрия Поливанова. Вот тот минимум, без которого не получится статья обо мне.

— Иными словами, вы не хотите, чтобы о вас писали.

— Не хочу.

— Ну что ж, пожалуй, вы правы.

— Митя! Какой ты веселый! — сказала Анюта, открывая ему дверь. — А я сделала все уроки, и очень чисто. Может, ты мне считаешь?

— Ладно, почитаю. Умоюсь, поем и почитаю. Мамы нет?

— Митя, что ты! Она же сегодня работает во вторую смену. Митя, мама была в школе, у Зинаиды Петровны. Что было!

— Что же? — спросил Митя, идя в ванную.

Аня шла за ним с полотенцем и мыльницей. Катя толкалась тут же, держа в руках Митины домашние туфли.

— Мама пришла в школу. Зинаида Петровна выходит и говорит: что вам, мамаша? А мама отвечает, что дома я примеры решаю хорошо, только мне надо немножко подумать. А Зинаида Петровна говорит: все операции на сложение и вычитание в пределах десяти должны быть выучены. Зачем думать, когда можно выучить? А мама говорит: но ведь это не беда, если она подумает немножко. А Зинаида Петровна говорит: вы не спорьте со мной, мамаша, у меня тридцатипятилетний стаж, и я знаю, что говорю.

— Давай полотенце. Катя, поставь туфли на пол. Аня, мама не звонила?

— Нет, не звонила. Митя, она первая прочла про Сережу Кононова и что ты правильно все написал.

— А что она сказала, когда прочла?

— Она сказала: вот здорово!

— А еще что-нибудь говорила?

— А еще сказала: вот это счастье! Потом взяла Катю за руки и кружилась по комнате. Митя, а ты веселый потому, что Сережу Кононова не будут больше судить? Мне дедушка прочитал, и я сама прочитала и Катке прочитала, только она ничего не поняла.

— Я все поняла! — с достоинством говорит Катя.

Митя идет к столу, девочки за ним. Аня бледная, худенькая, передних зубов нет, ноги тонкие, как макароны.

Катя — смуглая, черноглазая, и на лице у нее написано: я себе на уме.

— Чем же кончилось у мамы с Зинаидой Петровой? — спрашивает Митя, подвигая к себе тарелку с грибным супом.

— Поел бы, уж потом стал бы разговоры разговаривать! — замечает Анисья Матвеевна. — Анюта, помолчи.

— Тетя Анися, ведь Мите интересно. Я ему не мешаю, видишь, он уж почти съел первое. Митя, еще много чего было! Зинаида Петровна говорит маме: ваша Аня пишет цифру пять с завитушкой. Я требую, чтоб крышка у пятерки была прямая, поняли, мамаша? А мама говорит, что в прописях она видела пятерку с завитушкой. Тихо так говорит. Несмело. А Зинаида Петровна отвечает: у меня свой метод. Я требую, чтоб завитушек не было. Всегда так: начинается с завитушек, а кончается неизвестно чем.

— Покажи завитушку! — говорит Катя.

— И как ты все упомянула, — говорит Митя, — всю речь наизусть!

— Митя, так ведь она каждый день говорит одно и то же. Вы не верите, и ты не веришь, и дедушка, и бабушка, и мама не верила, а вот сегодня небось поверила, раз сама услышала. Ты считаешь мне, Митя? Ты обещал!

— Раз обещал, значит, почитаю.

Митя смотрит на часы. Саша будет еще не скоро.

Митя очень хорошо представляет себе, как Зинаида Петровна наставляет Сашу: громко, размеренно, будто диктует: не спорьте, мамаша. Начинается с завитушек, а кончается неизвестно чем.

А Саша стоит молча, и на лице у нее написано: и кто это тебя такую выдумал? Скорей бы она приходила. Он не любит, когда ее нет дома. Он долго роется в книгах, девчонки неотступно рядом. Молча смотрят они, как он

перебирает книги, перелистывает, ставит обратно на полку. Наконец он выбрал: это «Майская ночь». Аня садится на правое колено, Катя на левое. Так уж повелось: левое — Катина, правое — Анино. Катя ничего не смыслит в том, что читают, но сидит она чинно, только изредка вставит слово.

— Я не буду плевать, — говорит она. — Я буду всех слушаться... Я хорошая, я пью лекарство! Я не бью Вадика!

— Помалкивай! — говорит Митя и читает: — «О, ты мне не надоел, — молвила она, усмехнувшись. — Я тебя люблю, чернобровый казак! За то люблю, что у тебя карие очи, и как поглядишь ты ими — у меня как будто на душе усмежается: и весело и хорошо ей». — «О, моя милая девушка!» — воскликнул парубок, целуя и прижимая ее сильнее к груди своей»...

Аня прерывает чтение.

— Он был ей отец? — спрашивает она.

— Все-таки это очень странно, что Аня не любит ходить в школу, — говорит Нина Викторовна. — Помнишь, Саша, как ты любила школу? И Леша тоже. Аня, ну почему ты не любишь школу?

— Я люблю, — отвечает Аня неуверенно. Она знает: школу надо любить, школу полагается любить. И поэтому говорит, растягивая слова:

— Почему это не люблю? Я люблю-у...

Аня ходит в школу и возвращается домой одна. Но изредка Саше удастся забежать за ней, и всякий раз, когда она видит в школьном коридоре притихшую, неприкаянную Аню, ей становится не по себе.

Стоит Анюте выйти из школы и взять Сашу за руку, она опять становится прежней Анютой — веселой и словоохотливой. Дома — у мамы, у Мити, у всех она может спросить обо всем, что ей придет в голову, и никто не пожмет плечами, не скажет: какая ты странная, Москвина! Вечно ты что-нибудь выдумашь.

Почему, если ты о чем-нибудь спрашиваешь, а в ответ пожимают плечами, становится так стыдно и неловко? Может, потому, что девочки смеются?

— Москвина! Зачем ты смотришь в окно? Что ты там увидела?

— Провода!

— Ну и что?

— На провода села птица.

— Ну и что из этого?

— А может, птица слышит, какие слова бегут по проводам?

И вот тут-то Зинаида Петровна пожимает плечами. А девочки начинают смеяться. Если учительница пожимает плечами, это значит, ты сказала очень глупые слова. И девочки смеются: они хотят показать учительнице, что понимают, какая глупая и неразвитая эта Москвина. Вот потому-то Аня и не любит ходить в школу и любит возвращаться домой: дома она умная, и все понимает, и считает в уме, и стихи легко учит, и на любой вопрос ответит. А в школе — она глупая, нерасторопная, неповоротливая и почти ничего не понимает. И почему так получается — выучишь стих, и он тебе нравится:

*Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.*

Его хочется читать громко, звонко, весело. Анюта его читала много раз, следом за ней даже Катя все запомнила, а в школе Зинаида Петровна стала спрашивать:

- Кто скажет, какой гром грохочет в небе голубом?
- Весенний! Первый! — говорят девочки.
- Как он грохочет?
- Как бы резвяся и играя, — отвечают девочки.
- Девочки, кто объяснит, что такое «резвяся»?

Москвина! Объясни.

Только что Анюта понимала каждое слово в этом стихе, а вот теперь она стоит столбом, испуганно смотрит на учительницу и не может объяснить слово «резвяся».

— Садись, Москвина! — со вздохом говорит Зинаида Петровна.

Анюта садится и уже несколько не любит стихотворение про грозу в начале мая. И не раз Анюта замечала: вопросы Зинаиды Петровны делали непонятным самое понятное. А стихи, после того как их объясняли, становились неинтересными.

Под Новый год Дед Мороз положил Ане в чулок орехи, конфеты и маленькую голую куколку. Она принесла все это в школу.

— Вот какие подарки мне подарил Дед Мороз!

Зинаида Петровна очень рассердилась, ругала Аню и призывала девочек не быть такими глупыми, как эта Москвина: никакого Деда Мороза на свете нет и никогда не было!!

Когда Аня дома рассказывает про школу, ей почти никто не верит, разве только мама.

— Бабушка, — говорит Аня, — нельзя, нельзя белую ленточку в косу. Не разрешает Зинаида Петровна, надо черную или коричневую.

— Аня, — отвечает бабушка. — Ты чего-нибудь не поняла. Ну почему непременно черную? Траур у вас, что ли?

Вот всегда так: ты чего-нибудь не поняла!

— Бабушка, ну почему я знаю? Зинаида Петровна говорит: такой порядок.

И никто не верит — ни дедушка, ни бабушка. Только мама верит, а иногда Митя. Мама вздыхает и говорит:

— Ну, раз порядок, ничего не поделаешь. Отыщем коричневую ленточку, не горюй, Аня.

А она и не горюет. Чего ей горевать. Вот ей бы заболеть и не ходить в школу. Вот это бы — да! В Ташкенте, когда в этом не было никакой надобности, она болела часто. А здесь, в Москве, — редко. До чего жаль, если б кто знал! Когда всем прививали оспу, многие девочки от этого заболели. А она ничуть не заболела и как дура ходила в школу... Эх! Другие девочки ухитряются болеть чуть не каждую неделю, а она только раз: когда в больнице вырезали аппендицит. О, это была целая история! Она в больнице вела себя очень хорошо, и Митя ей все время говорил: молодец!

А Зинаида Петровна ни о чем не скажет, что она молодец. Какой же толк стараться, если все равно ничего не получается? Сегодня, например, Зинаида Петровна на глазах у всего класса разорвала Анину тетрадь: за грязь. Ане очень хотелось плакать, но она не заплакала. Стояла и молчала. И все. А бывает, Зинаида Петровна говорит такое, что Аня дома не рассказывает: совестно.

Когда Зинаида Петровна посадила Аню на заднюю парту, Митя написал ей записку, очень хорошую: «Уважаемая Зинаида Петровна, я уезжаю в командировку и не могу зайти в школу, чтобы поговорить с вами лично.

Если можно, посадите Аню поближе к доске, у нее после кори было осложнение на ухо, и она не очень хорошо слышит». Подписался он тоже очень красиво и вежливо: «Уважающий вас Д. Поливанов». Прочитав записку, Зинаида Петровна сказала Ане:

— Пусть мать принесет справку от врача.

Она не верит Мите! Надо же!

Этого Аня дома рассказывать не стала. Ей бы непременно сказали: ты чего-нибудь не поняла, Анюта!

А она все прекрасно поняла: Зинаида Петровна подумала, что Митя врет. Рассказывать об этом просто-напросто невозможно. И Митя бы обиделся. Нет, незачем было рассказывать. Она и не рассказала. И осталась сидеть на задней парте. А что такого? Все равно сколько ни старайся, а из троек не вылезешь...

И еще Зинаида Петровна донимала Аню из-за Мити.

— Кто это Митя?

— Он мне вместо папы.

— Тогда зови его папой.

— Нет, моего папу убили на войне.

— Тогда зови его дядей.

— Он мне не дядя.

— Кто же он?

— Митя.

Зинаида Петровна сказала: ну и ну! — и пожала плечами. Она чуть что пожимает плечами. Но теперь всегда говорит: твой папа... Передай папе. Что ж, в общем, правильно. И вообще, на свете все-таки много хорошего. Первое хорошее: каникулы. Аня была на двух елках: у Мити в газете и в Доме пионеров. В Доме пионеров один мальчик очень чудно читал стихи: завывал и еще глаза закатывал. Мама даже отвернулась. От стеснения. Она не любит, когда так читают. Она говорит: стихи надо читать просто. Вот Аня читает просто.

А у Мити на елке Аня была вместе с Катей. Катя себя хорошо вела, не задираала никого и все держала за руку чужого мальчика Мишу. А когда играли в каравай, этот мальчик выбрал Катю: «Я люблю, признаться, всех, а вот эту больше всех». И Анюта видела — Мите приятно, что этот мальчик выбрал Катю. Он смотрел и очень смеялся. Потом он подвел Аню и Катю к какой-то тетеньке и сказал: «Вот, знакомьтесь, Марина Алексеевна, это мои дочки».

И она сказала: «Какая прелесть!» Она курила папиросу длинную-предлинную. Интересно, про кого она сказала «прелесть» — про них обеих или только про Катю? Нет, наверно, про обеих. Потому что, если бы только про Катю, она сказала бы: «Какая прелесть эта черноглазая девочка!»

И еще был хороший день — Победы! Все были веселые, добрые, все целовались: война кончилась! Митя написал про этот день в газету — про Красную площадь. И про салют. А мама сказала:

— Какой день! Какой счастливый и какой трудный!

Анюта не стала спрашивать, почему трудный, она сама поняла: трудный потому, что на войне многих убило. А Леша живой остался! Вот счастье!

И еще один день был — ни плохой, ни хороший, так, середка на половину: Аню перевели во второй класс. Она очень обрадовалась, она не думала, что с тройками переводят. Она пришла домой веселая, но дедушка посмотрел отметки и сказал:

— Да, невеселый табелек...

А бабушка сказала:

— Мамоchка твоя училась только на отлично.

Ане сразу стало скучно. Потом пришли мама с Митей. Мама поцеловала Аню, поздравила, Митя тоже сказал:

— Молодец, Анюта, перевалила через первый класс.

Но веселье не возвращалось.

— Что ж поздравлять, — сказала Аня, — когда одни тройки. — Подумала и прибавила:

— Я все свое старание приберегла для второго класса.

...И снова настала осень. Осень сорок пятого года.

— Послушай, Анюта, ты превратила мой диван в письменный стол. Что это? Клей, спички, да смотри, клей-то пролит! Вот лягу и приклеюсь. Почему ты за собой не убираешь?

Митя говорил сердито. Он очень устал. Сегодня был трудный день — он ездил в Фили, снимал клубную самодеятельность. Снимки получились плохие, а подписи к ним еще хуже. Митя и сам хорошо это понимал. Но когда услышал из уст редактора: не пойдет! — рассвирепел.

Возвращаясь домой, он думал, что ляжет и постарается уснуть. «Проспись, — говорила Анисья Матвеевна, когда он злился, — сном все уходит — и болезнь и злость». Злой и усталый, он сейчас собирался последовать ее совету, но, войдя в комнату, увидел на своем диване рассыпанный коробок спичек, лужицу клея, Анин альбом для рисования и Катю, которая тут же строила из кубиков дом.

— Я сейчас уберу, Митя, — торопливо сказала Аня.

— Ты страшная неряха, — сердито повторил Митя. — Я ведь тысячу раз тебе говорил...

И в эту минуту раздался из-за двери голос Константина Артемьевича:

— Как вы разговариваете с ребенком? Почему вы на нее кричите? Я долго терпел, но больше терпеть не намерен!

В первую минуту Митя растерялся. Потом, плотно прикрыв двери своей комнаты, он вышел к тестю.

— Что вы говорите? Да вы понимаете, что вы говорите? Да еще при Ане и Кате!

— А при ком же? — спросил Константин Артемьевич.

— Нет, все же... — сказала Нина Викторовна, — ведь ребенок сирота... Я тоже была мачехой, но... И если вы — отчим...

— Что? — взревел Митя. — Что? Кто это — отчим? Что вы болтаете?

— Да, — повторила Нина Викторовна, — я мачеха, но я Саше никогда и слова не посмела сказать.

— Оно и видно, — уже сам не слыша, что говорит, ответил Митя.

— Что? Я плохо ее воспитала? — Нина Викторовна всплеснула руками. — Это я-то плохо воспитала? Да я ее в жизни пальцем не тронула! И как у вас только язык поворачивается?

— Дедушка, ну зачем ты сердишься? — появляясь в дверях, сказала Аня. — Я сама хочу, чтоб Митя на меня кричал! Пускай кричит!

— Поди отсюда! Не вмешивайся! — крикнул Митя, почти вытолкнул Аню из комнаты и, повернувшись к тестю, сказал сквозь зубы:

— Ну вот что. Если я ей отчим — поступайте как знаете, мне дела нет. Пускай растет... — Он запнулся и искал слова, в памяти мелькнула прекрасная строчка из какой-то статьи: «как сорная трава», но он сказал иначе: — Пускай растет, как беспризорница. А если я отец, то буду кричать. Буду требовать. А если надо — и выпорю!

Немного спустя вернулась с работы Саша и увидела: Митя, сидя на диване, облитом клеем, зашнуровывает башмаки. У него было то выражение лица, которое Са-

ша уже очень хорошо знала: сжатые губы, сведенные к переносице брови.

— Что случилось? — спросила она.

— Ничего, — ответил Митя, — пойду проветрюсь.

Он вышел и, конечно, хлопнул дверью.

— Папа сказал, что будет нас бить, — объяснила Катя.

— Что такое? — спросила Саша.

— Дай белого хлебушка! — на всякий случай сказала Катя. — А папа кричал: буду пороть!

— Аня, да что случилось?

Дверь распахнулась, и вошел Константин Артемьевич.

— Ты плохая мать, — сказал он. — Ты позволяешь чужому, в сущности, человеку...

Что долго рассказывать — Константин Артемьевич глотал валерьянку, Нина Викторовна плакала, Катя редела в голос, Аня, всхлипывая, повторяла:

— А все из-за меня.

Мити не было. Дожидаясь его, Саша слышала за дверями сдержанный шепот тети Маргариты:

— Да... А казался таким деликатным...

— Все они поначалу деликатные...

— Да, что ни говори, а брак — это лотерея...

Не умея стерпеть все это, Саша оделась и вышла на улицу. Постояла у решетчатой ограды, а потом пошла вдоль переулка к Арбату, и почти тотчас из-за угла показался Митя. Было часов одиннадцать. Он шел быстро, решительной, твердой походкой.

— А, ты здесь, — не удивившись, сказал он. — Очень хорошо. Давай походим.

— Мне сказали... — начала Саша.

— Это не имеет никакого значения — то, что тебе сказали, — перебил Митя. — Я знаю одно: мы здесь не жильцы. Я готов хоть на Камчатку... на Северный полюс...

— Но ведь это наша семья... Я их люблю.

— Ну вот что, в Писании сказано: оставь отца и мать своих, понятно? И пора жить своим умом, а не чужой глупостью.

— Это кто же глупый? Папа, что ли? И что ты такое говоришь?

Он взял ее под руку, и они пошли по Арбату к Смоленской площади.

— Давай будем говорить серьезно, — сказал Поливанов, — это вопрос всего нашего будущего... Покоя... Свободы. Ну и — не боюсь высоких слов — нашей любви. Мне трудно это постоянное вторжение в нашу жизнь. Я не хочу его. Константин Артемьевич прекрасный человек, не спорю. Он построил свою жизнь, как хотел. А мы будем строить по-своему, как умеем и хотим.

Саша шла опустив голову и молчала.

— Я не говорил тебе раньше, но мне здесь душно. Душно, понимаешь? Они разрушат мои отношения с Аней. И наши с тобой...

— Чего же стоят наши отношения, если их кто-нибудь может разрушить?

— Ты не знаешь, что может сделать пошлость.

— Да слышишь ли ты себя? Ты говоришь о моей семье — пошлость!

— Прости меня. Но сегодня я не хочу подбирать слова. И если мне говорят «отчим» — это пошлость. Неужели ты не понимаешь? И в конце концов я не ангел... Это я должен сказать со всей прямоотой.

Да, надо сказать по правде: кем-кем, но ангелом он не был.

Ну что ему стоило сказать Константину Артемьевичу хоть одно ласковое слово? Ради нее, Саши. И может, все опять пошло бы по-старому, пусть не всегда гладко, но привычно.

Но Митя этого слова не говорил. Он только сухо кивал: здравствуйте, мол.

Константин Артемьевич был добрее. Он пытался завести разговор. Он спрашивал:

— Митя, а вы читали во вчерашней «Литературке» любопытный фельетон?..

— Простите, не удосужился, — отвечал Митя, не дослушав и едва приметно сдвигая брови. — Прочту, непременно прочту.

Отец отвечал грустным взглядом. Когда Мити не было дома, он заходил в Сашину комнату или забирал детей к себе. Он читал им, гулял с ними по Серебряному переулку, подолгу сидел на скамье под обуглившимся каштаном.

Иногда, словно отвечая каким-то своим мыслям, он безнадежно махал рукой. Отец был вспыльчив, но отходчив. А вот Митя был злопамятен и не умел забывать. Ничего. Он стал приходить очень поздно — не раньше двенадцати. Приходил усталый, голодный. Торопливо ел и ложился спать... «Он так мало видит нас — и не скучает? — думала Саша. — Как же так?»

Прежде их общим днем было воскресенье. Сейчас и в выходной день его не было дома. Шли дни, он возвращался все позднее.

Что же мне делать? И впрямь ехать на Камчатку? Если я не могу их помирить, если он не понимает, что все это мне хуже смерти. Ведь отец старый. Неужели нельзя ему простить? Не заметить. Ну хорошо. А если бы тебе сказали: ты мачеха... О, я бы! Вот то-то. Но как же быть? В Ташкенте я думала: приедем в Москву, вернемся до-

мой, и станет ему здесь тепло и счастливо. И было. А вот сейчас опять нет. Что же будет?

Как-то вечером, когда Саша разогревала на кухне ужин, соседка-стенографистка, колдуя над кофейником, сказала задумчиво, будто продолжая какой-то внутренний монолог:

— Брак — это отживший институт. Счастливых браков нет. Конечно, куда корректнее молчать, чем драться и вопить на людях, — тут она посмотрела на Лелю, которая жарила яичницу, — но по сути... по сути... Помните, как там у Вертинского: «даже самой нежной любви наступает конец»... Да, по сути...

Не договорив и сняв с огня кофейник, она ушла к себе.

— Погуливать стал? — соболезнующе сказала Леля. — Ну что ж, все они такие. А ты не теряйся, бери пример с меня. Я не теряюсь! Мужу потакать — хуже нет.

Саша покрепче сжала зубы и ничего не ответила.

Проще всего было бы поговорить с Митей. Но что-то ей мешало. А он по-прежнему приходил поздно, утром же исчезал чуть свет, коротко бросив: рано не жди.

И Саша, считавшая, что ничего не надо прятать за пазухой, все молчала и молчала.

Но вот однажды (это было примерно через месяц после ссоры Мити и Константина Артемьевича) он пришел чуть раньше. Дети уже спали. Он сел на диван, вытянул ноги и сказал:

— Поди сюда. — Он притянул ее к себе, посадил рядом и, взглянув прямо и ласково, сказал:

— Ты мне веришь?

— Верю.

— Умница. Очень веришь?

— Очень.

— Так вот, ни о чем меня не спрашивай. Немного потерпи. У меня есть для тебя подарок.

— Часы?

— Лучше. Прекрасный, огромный, ослепительный подарок. Но подожди немного. Однажды я приду и назначу тебе свидание. На углу Серебряного переулка и Арбата. И тогда я тебе все расскажу. Согласна?

— А не можешь ты хоть намекнуть... ну, хоть словечко...

— Не могу, — ответил он твердо. — Я и так уже сказал слишком много.

Они растут, и каждый день приносит что-нибудь новое. Еще совсем недавно мы радовались каждому новому Катиному слову. А сегодня мы с ней гуляли, и она излагала мне свои политические убеждения:

— Когда я пойду в школу, то буду учить французский, английский и русский, а немецкий не буду, потому что по-немецки говорят фашисты, а все фашисты очень плохие. Гитлер — очень плохой, хуже Бармалея. Я его боюсь. Если он будет к нам стучаться, ты ему не открывай. Если будет говорить тоненьким голоском, тоже не открывай. Фашисты плохие, страшные и не любят хороших девочек.

Фашистов она сильно не жалует. Летом сказала:

— Мне фашисты всю спину покусали.

Речь шла о комарах. Все плохое всегда делают фашисты.

Когда мы проходили мимо витрины игрушечного магазина, Катя сказала:

— Этот медвежонок хочет мне подариться.

Мы постояли с ней у витрины, как я стояла в детстве. Потом я взглянула на большое окно по

другую сторону улицы. Оно закрыто темными шторами.

...Когда же Митя скажет мне: «Приходи на угол Серебряного переулка и Арбата?» И что такое ждет меня на этом углу?

Анюта почти никогда не спрашивает об Андрее. Если я рассказываю, она слушает жадно, но сама не спрашивает. Только раз спросила:

— Мой папа хорошо учился, когда был маленький? А он любил играть со мной?

И еще:

— А мой папа любил меня так же, как Митя Катю?

В школе ей по-прежнему плохо. Она спрашивает:

— Мама, это правда, что ты, когда была маленькая, любила ходить в школу?

— Правда, Аня. Я очень любила нашу учительницу.

— Расскажи мне про нее.

Ну, как расскажешь про Анну Дмитриевну? Она была для нас самый лучший, самый справедливый человек на свете, и мы во всем хотели походить на нее, не только в справедливости и доброте. Она говорила не «восемнадцать», а по-старинному «осьмнадцать», и мы, к удивлению своих родителей, ни с того ни с сего произносили «осьмнадцать». Она, задумавшись, проводила рукой по лбу и мы то и дело хватались за лоб. Все, все в ней было нам по душе.

— А я совсем не хочу быть, как Зинаида Петровна, и никто у нас не хочет.

И так всякий раз: мои рассказы об Анне Дмитриевне оборачиваются против Зинаиды Петровны.

— Все плохо, все плохо, — говорит Аня. — Это только в книжках хорошие школы. А на самом деле школы совсем не такие. И зачем зря пишут! — Помолчав:

— Когда я буду учить детей, я никогда не буду на них кричать! Ни-ко-гда.

На днях, придя из школы, сказала Мите:

Вот слушай, сегодня у одной девочки пропало десять рублей. И Зинаида Петровна посмотрела у всех в портфелях и в карманах. Митя, разве это правильно? Почему она не верит, если я говорю, что не брала? Разве она правильно делает?

— Неправильно! — отвечает Митя.

— Ну вот, я же говорила!

Седьмое ноября было дождливое, а у Анюты нет калош, она сидела дома. После праздников Зинаида Петровна сказала:

— Сейчас вы будете писать сочинение об октябрьских праздниках и о демонстрации.

— А если я не была? — спросила Аня.

— Ты говоришь неправду, — ответила Зинаида Петровна. — Ты живешь в культурной семье, и не может быть, чтобы тебя не взяли на демонстрацию. Садись и вместе со всеми пиши сочинение: «Как я ходила на демонстрацию».

И Аня написала так: «Утро было солнечное. Трудящиеся стройными рядами шли на демонстрацию. В голубом небе был слышен рокот самолетов. Люди несли плакаты, лозунги и портреты. Всем было весело и радостно. Я шла с мамой и держала красный флажок».

— Аня, ведь ты же не была на демонстрации? Зачем же ты наврала?

— Мама, где же я наврала? Я просто написала сочинение. Ведь это не правда, а сочинение.

Что же делать? Не знаю. Зинаиду Петровну очень уважают в школе: у нее тридцатипятилетний стаж.

Аня:

— Мама, мама! В школе как было весело! Зинаида Петровна заболела, с нами занималась учительница из класса «Б». Мы решали веселую задачку, читали веселый рассказ, а потом пели веселую песню!

Посмотрела я Анину тетрадь по арифметике: задача как задача, никакой особой веселости не видеть. Видно, дело не в задаче, а в учительнице из класса «Б».

Аня с презрением рассказывает Мите о каких-то «очень плохих девочках» и кончает так: «Ну, они татары...»

Митя сердито сказал, что нельзя дурные поступки объяснять тем — татарин, не татарин, — нет плохих народов.

— А немцы?

Митя стал ей рассказывать про Тельмана, а она:

— Почему же немцы людей так мучили?

— Не немцы, Аня, а фашисты.

— А разве воевали одни фашисты?

Со стола учительницы Аня стащила свою классную тетрадь и вырвала оттуда страницы с отметкой «два». Когда Зинаида Петровна спросила, кто это сделал, она заплакала: не знаю.

Мне создалась тотчас же:

— Там было грязно... двойки... кляксы... Мама, я больше не буду, честное слово.

И плачет.

Уже ночью, лежа в кровати, она вдруг тихо сказала:

— *И как она догадалась? Я тетрадку на самый низ положила. Она говорит: я про вас все знаю. Мама, может, она и правда все знает?*

Катя с упоением:

— *Одеваюсь — не плачу! Раздеваюсь — не плачу! Головку моют — не плачу! Лекарство дают — не плачу! Банки ставят — не плачу! Вот какая Катя!*

Катя говорит Мише:

— *Миша, давай играть. Ты будешь фашист, а я русская.*

Миша не согласен. Катя жалуется:

— *Мама, ну скажи ему!*

— *Что же я скажу ему? Не хочет он быть фашистом.*

— *А я хочу драться, я хочу кидать в него кубики, пускай он будет фашистом, скажи ему!*

Бабушка рассказывает Кате сказку: И говорит солнце тучам: «Уходите, тучи!»

В Катиной передаче это звучит так: и говорит солнце тучам: «Уходите, тучи, а то как дам!»

Аня:

— *Мама, как странно. Нам сегодня Зинаида Петровна читала сказку.*

— *Что ж тут удивительного?*

— *Не знаю. Сказка — это на нее как-то не похоже.*

Я спросила у Мити:

— *Что же все-таки делать с Аней? Может, переведем в другую школу?*

Он ответил:

— *Непременно переведем. Я уж и школу присмотрел. Дай срок.*

Может, об этом он и хочет сказать мне на углу Серебряного переулка и Арбата? Терпенье! Терпенье!

Аня:

— *Я не люблю, когда Митя сердитый.*

Кто ж это любит?

Та ссора с Константином Артемьевичем была у Мити не первой. Просто не все доходило до Саши. Да и разве дело в ссорах? Нет, тут было другое, тут было много всего.

Он не мог забыть, как, придя однажды поздно из редакции, услышал, что соседка Ольга Сергеевна говорит Нине Викторовне:

— Да... Все меняется. Андрей Николаевич никогда не позволял себе приходиться так поздно.

Он не сразу понял, кто это Андрей Николаевич. Но Ольга Сергеевна добавила со вздохом:

— Душа в душу жили...

И он понял, что речь идет об Андрее Москвине.

Светлый прямоугольник на стенке, след от фотографии Андрея, до сих пор лежал отпечатком на старых обоях. В Ташкенте портрет хранился на дне Сашиного чемодана, теперь — в левом ящичке письменного стола. В Сашином ящичке...

...А Константин Артемьевич? А Нина Викторовна? А тетя Вера и тетя Маргарита? Они входили в их с Сашей

комнату без стука. Они говорили: почему вы так много тратите? Надо жить скромнее.

Константин Артемьевич считал, что Митя плохо продвигается по службе и что с его способностями он должен бы работать не фоторепортером, а заведовать отделом. Как юрист, он напоминал Мите о его правах («Вы же фронтовик, не забывайте») и обижался, когда Митя в ответ молчал.

И все вместе они оберегали от него Аню, точно Красную шапочку от Серого волка.

Митина любовь к Ане досталась ему нелегко. То поверхностное чувство, которое он испытывал к Ане до войны, ничего общего не имело с теперешним. Тогда она была только частью Саши. Когда же это случилось, что он ее полюбил? В темные ташкентские вечера у ее постели, когда она лежала тихая и безучастная и, казалось, куда-то уходила, уходила от них?

Или ночью, по пути из Ташкента в Москву? На одной полке спали Саша с Катей, на другой, верхней, Митя с Аней. Вдруг Аня всхлипнула во сне и забормотала: «Боюсь! Боюсь! Уходи!» Он разбудил ее, а она крепко схватила его за руку, прижалась мокрой щекой к его ладони и сказала:

— С тобой не страшно.

А может, вот когда: он пришел за ней в школу, а учительница, не стесняясь Ани, которая стояла тут же, сказала своим мерным, отчетливым голосом:

— У вас странная девочка, папаша. Сегодня мы рисовали на тему «Лес зимой», а она сказала: «Вот бы мне лист черной бумаги!» Подумайте, папаша, какая странная фантазия!..

— Зачем тебе понадобилась черная бумага? — спросил Митя на пути домой.

— У меня есть белый карандаш, — робко сказала Аня, глядя на него своими шоколадными глазами.

— Аня, да ты умница! Это же прекрасно! Была бы зимняя ночь, да?

— Да! — откликнулась она радостно и доверчиво. — Лес ночью, снег белый, а бумага черная, сразу видно, что ночь и темно.

И он расшибся в лепешку, раздобыл грифельную доску, потом он вымочил кусок мела в желтой краске, кусок в голубой. И на черной доске они нарисовали белым мелом снег, желтым — луну, голубым — ели. Это была красивая картина! Аня не могла налюбоваться ею и всем рассказывала: поглядите, как мы с Митей придумали.

Нет, это случилось раньше. Это случилось, когда Саша ударила Аню и девчонка убежала из дому. И он помнит, как оборвалось у него сердце при словах Анисьи Матвеевны:

— Беги, ищи, Анюта куда-то подевалась.

И он бегал по городу как оглашенный, пока не догадался наконец заглянуть к близнецам Юре и Сереже. Аня была у них. Она сидела, забившись в угол, и, увидев его, заплакала:

— Я не пойду с тобой! Я всех вас не люблю! — Она билась у него в руках и повторяла, обливаясь слезами:

— Не пойду! Вы никто меня не любите! И мама не любит, и ты не любишь! Вы все одну только Катьку любите!

Потом, притомившись, она покорно пошла к нему и по дороге домой только всхлипывала. Он нес ее на руках и мысленно говорил себе: подлец ты, вот ты кто! Подлец и мерзавец.

А недавно врач сказал, что у Ани аппендицит. У нее был приступ, и Константин Артемьевич, не найдя Сашу (она теперь была патронажной сестрой в детской консультации, ходила из дома в дом, и найти ее было нелегко), позвонил Мите в редакцию. Митя тотчас примчался, и, увидев его, Аня воскликнула:

— Ну, вот и Митя! Теперь я не боюсь!

— С нашими детьми не соскучишься! — пробормотал Митя и отвез Аню в больницу. — Ты будешь молодцом, правда? — спросил он на прощанье.

— Буду! — ответила она. — Даю честное слово!

На другой день после операции Митю с Сашей пустили к Ане в палату. Она лежала тихая, с большими прозрачными глазами, полными слез.

— Не обращайтесь внимания, — сказала она. — Это просто так.

Говорить ей было больно, она безмолвно лежала, держа Сашу и Митю за руки. А мальчик из соседней палаты сказал Поливанову:

— Она у вас молодец: даже не стонала, когда ее из операционной привезли. А когда шла на операцию, то говорила: «Нет, не буду плакать, нет, не буду плакать!»

И ему казалось, что это он научил ее не бояться.

«Она у вас молодец!» Она у меня молодец! А ему говорят: отчим! Был ли он отчимом или отцом, об этом знал только он, он один!

Если говорить честно, возвращения в Москву он боялся. Боялся минуты, когда впервые пройдет мимо Лихова переулка, услышит вопрос: «Ну, как с работой? Переквалифицировался?»

От всей Москвы не отгородишься. А сколько любопытных, жестоких и бездумных вокруг. В редакции были хорошие ребята и много фронтовиков, эти отлично все понимали и не лезли. Но таких, что лезли, тоже было немало.

— Значит, кинохронику побоку? Чего не бывает! А неплохой, неплохой был кинооператор, что правда, то правда! Те, камчатские, киноочерки хороши были, хороши, лаконичные, выразительные! Да и фронтовые были прекрасные, очень яркие были фронтовые киноочерки!

Поливанов улыбался, кивал: да, неплохи!

Но откуда взять силы, чтоб сопротивляться и этим, чужим, и там, дома, — тестю и теще? Оказывается, душевные силы ограничены, а он когда-то думал и говорил: безграничны!

Когда он, не скрывая тревоги, пришел в поликлинику, врач сказал ему: придется подождать, надо набраться терпения. Пока о кинохронике забудьте.

Поливанов молча одевался. Потом, уже собравшись уходить, повернул к доктору лицо, которым уже не всегда умел владеть:

— Ждать, ждать... А сколько? Скажите прямо: с прежней профессией покончено.

— Нет, я этого утверждать не могу, — ответил врач, — но контузия очень тяжелая. Последствия ранений куда легче преодолеть.

Что бы он делал, если бы не дом, не Саша и дети? Что бы он делал, если б его не поддержало это, прежде ему незнакомое тепло?

С неделю назад он работал далеко за полночь — дети и Саша уже спали. И вдруг услышал тихий Катин голос:

— Папа, а кот Маркиз умер.

Он подошел к ней и присел на низкую скамеечку у кровати:

— Да, Катенька, знаю.

— Папа, а я тоже умру? Как это — умер?

— Ты просто уснешь.

— И глаза перестанут моргать? И ноги не будут бегать? И пальчиками не смогу вот так делать?

Она припомнила все — глаза, которые смотрели и моргали, уши, которые слушали, и губы, которые улыбались. Она не хотела верить, плакала, и он не знал, как ее успокоить. И вдруг она спросила:

— А ты умрешь раньше меня?

— Конечно, раньше.

Она примолкла. И почти тотчас уснула, крепко сжав рукой его палец.

— Ты раньше, — повторила она сквозь сон.

В первую минуту он испытал нечто похожее на досаду, увидев, как успокоило ее это известие. Но потом понял: он для нее — бессмертен. С ним ничего не может случиться.

Он — защита, за ним ничего не страшно, он никогда не умрет, не может умереть. Значит, и она, Катя, всегда будет бегать, смеяться, моргать.

Он знал, что о нем говорили: Поливанов-то? А? Всех удивил! Жена, дети! А эта маленькая? Ну и глазищи!

Раньше он всегда презрительно думал о деньгах и всегда зарабатывал много. Сейчас, когда с деньгами стало куда труднее, он должен был думать о том, чтобы одеть и обуть четверых. Саша и дети были его обузой. И опорой. И это они помогли ему отыскать новую, пока еще узкую тропку к новой работе. Они и Леша. Да, после той поездки в Подгорск он все видел по-новому. Нет, не так: полюбив их, он иначе видел и понимал все в Подгорске. Это он знал твердо, в этом убеждался постоянно, на каждом шагу. На днях, например, он, тоскуя, фотографировал в одной женской школе сбор на тему «Безударные гласные» и «О режиме дня».

Не веря ушам, он слышал, как дети говорили: «Я строго соблюдаю режим дня», «Я работаю упорно и терпеливо». Прежний Поливанов сказал бы: ну-ка, ты, сероглазая, поверни голову немножко влево — вот так. А ты, с косичками, обопришь рукой на ее плечо. Улыбайся! Остальные смотрят сюда! Хорошо! Отлично! Он очень мало думал над тем, что снимал. А сейчас он думал. И не верил, чтобы дети могли по доброй воле заниматься на досуге безударными гласными и толковать о режиме дня

и трудолюбии. Ему захотелось написать об этом, он даже знал, как это сделает: пойдет в мужскую школу, снимет мальчишек на таком вот мертвом сборе, а потом этих же самых ребят сфотографирует во дворе, когда они заняты тем, что их увлекает: игрой, разговором, дракой, наконец. Это будет наглядно: постные, скучающие физиономии — и те же самые лица, освещенные спором, азартом, смехом.

Да, да, он начнет с этого, а потом приведет почти стенографическую запись: «Работаю всегда упорно и терпеливо...» А потом... Да что «потом», когда его то и дело посылают в какие-нибудь Фили снимать клубную работу, скучную, как осенний дождь.

Вскоре после командировки в Подгорск он ездил на село с заданием: написать очерк о передовом колхозе и о передовом председателе этого колхоза Василии Ятченко. Приехав, Поливанов узнал, что Ятченко лежит мертвецки пьяный: фельдшер, чуть не плача, рассказывал, как Ятченко требовал у него спирту. Когда фельдшер отказал, Ятченко выбил стекло в медпункте и сам взял весь наличный запас спирта. Вместо положительного очерка о знатном председателе Поливанов написал фельетон. Редактор прочел и сказал:

— М-м... Между прочим, Поливанов, нашу газету читают не только в Советском Союзе.

— И что же?

— Если по этой статье будут... м-м-м... судить о жизни в колхозах...

— Значит, теперь вообще надо писать только о хорошем, а о плохом нельзя?

— Не передергивайте, Поливанов. Позвольте вам сказать, м-м-м... что вы за деревьями не видите леса. Да, мм... Вы берете один случай и обобщаете его. Подумать, какой острый глаз у Поливанова. Увидел, что председа-

тель напился. А увидеть, что этот колхоз тем не менее лучший в районе...

С тех пор редактор всячески дает ему понять, что он — фотограф, и только, и незачем ему лезть в калашный ряд со своим суконным рылом. А он будет. Он хочет еще и еще попробовать себя на этой новой работе, черт бы ее побрал. Он не может забыть, как колотилось у него сердце, когда была напечатана маленькая заметка «По следам наших выступлений»... Он вдруг понял, что сделал дело. Выручил. Помог.

Он понимал и то, что любой темой можно заняться с мыслью, с раздумьем, но никто этого от него не ждал. От него ждали фотографий и подписей: на снимке слева направо... Фото Д. Поливанова.

Он жил с досадой в душе, не зная, что делать, и не желая мириться. Как бы ни были велики заботы каждого дня, в человеческой жизни должны быть свет и ясность. А на его улице было темно и тускло.

Теперь, возвращаясь домой, Поливанов думал о Константине Артемьевиче, о голосах за стеной. Отгородиться от этого нельзя, а изменить что бы то ни было — невозможно.

Угнетенный этими размышлениями, он, как и прежде, ходил на работу, ездил в разные концы города, а иной раз и в другие города, но тень заботы и досады легла отпечатком на лицо, глядела из глаз.

— Что вы такой угрюмый стали? Или старость — не радость? — спросил его однажды Петр Петрович, редакционный шофер.

Петру Петровичу было лет пятьдесят. Они с Поливановым часто ездили вместе в недалекие командировки — Владимир, Суздаль. Однажды были в Иванове — ездили в дом, где живут разные ребяташки: испанцы, итальянцы, турки и еще много всяких: Дмитрий Александрович

готовил фотоочерк ко Дню защиты детей. Петр Петрович уважал Поливанова. Во-первых, Поливанов здорово водил машину. Не хуже его, Петровича. Во-вторых, Поливанов никогда не задирал нос: я, мол, культурный, а ты, мол, нет. Петрович это дело понимал тонко и знал: Поливанов не старался, не следил за собой, а и на самом деле был с Петровичем на одной ноге. Вот Голубинский, к примеру:

— Здорово, Петрович! Как жизнь молодая? Как жена, как детишки?

— Спасибо, спасибо, хорошо, — отвечает Петрович, а сам думает: ну что бы тебе запомнить, что нет у меня детишек. Нет и нет. Ну, что ты кривляешься, артист чертов.

А Поливанов свой брат. Когда на них наскочил грузовик и они чуть не отдали Богу душу там, под Суздалем, Поливанов не сплеховал, не струсил, на своем горбу оттащил Петровича в больницу и сам отремонтировал машину, своими руками. Да. Сам и привез его в Москву. И в редакции хоть бы словом кому похвастался. Ни! Могила! Фронтовик, ничего не скажешь, не чета Голубинскому. И вот сейчас, когда Петр Петрович спросил: «Что вы нынче такой угрюмый?» — Поливанов выложил ему все.

Начав, он стал было в тупик. Даже из его рассказов выходило, что тесть — человек хороший, заботливый и хочет добра дочери и внучкам. Теща — хорошая. Жена и дети — очень хорошие. В чем же дело? Чего ему не хватает?

Но Петр Петрович все понимал. Он вел машину в Люберцы, вел спокойно, задумчиво и внимательно слушал Поливанова и вдруг сказал:

— Вот что, брат, отделяться надо. Отделяться!

И на следующий день Поливанов вместе с Петром Петровичем, который, неведомо как, за одни сутки стал

ему ближайшим другом и товарищем, пришли на старую Митину квартиру. Они пришли поглядеть, прикинуть. Внизу их ждала машина.

От поворота ключа скрипнул ржавый замок, и двери давно необитаемого жилья распахнулись.

Стекла были выбиты, по комнате гулял ветер. И дверь, ведущую во вторую комнату, спалили, и первую оконную раму. Даже плинтусы и подоконники — и те спалили временные жильцы в трудные военные годы. Ни стола, ни стульев, ни кровати. На полу — кирпич, вывалившийся из боков корявой печки-временки, пол в зазубринах от топора: дрова, видно, кололи тут же. Затхлой сыростью тянуло от стен, клочьями повисли обои, штукатурка отвалилась, по углам сочилась вода. О том, чтобы жить здесь, да еще с детьми, и думать было нечего.

— М-да... — потирая небритую щеку, промычал Петр Петрович, постарались... — Ничего не скажешь — постарались...

Он деловито обошел обе комнаты, пощупал рукой стены, понюхал зачем-то ладонь, подошел к окнам, потряс оконные рамы и долго ходил взад-вперед, что-то прикидывая, насвистывая, обдумывая.

— Как это у тебя не отняли квартиру-то? — спросил он вдруг.

— Я за нее платил. Мы с нянькой тут прописаны.

— Платишь здесь, а живешь там... Чудно! Ишь что тут развели! Погибель!

«Почему я давно не занялся всем этим? — думал Митя. — Ведь руки мои — не крюки, я и стекло вставить могу, и стены покрасить. Но где их взять, эти стекла? Да, где взять стекло, дерево, краску, все, что надо для ремонта? А разве ты пытался раздобыть? Раньше «посредством улыбки» ты все мог раздобыть, что же сейчас? Правда, что же сейчас?»

Петр Петрович был человек действия — и притом немедленного. На другой день рано утром, когда Поливанов, придя на работу, подписывал очередную фотографию, он заглянул в дверь:

— Ты один, Дмитрий Александрович?

— Один, один, заходи.

Петр Петрович вошел, сел подле, вытянул вперед ноги в тяжелых военных сапогах.

— Вот что я полагаю, брат, — начал он, будто продолжая их давнишний разговор. — Первое — это стекла. Берика у редактора ходатайство, а мы эти стекла из глоток вытащим, уж будь уверен. Второе — вот что: тесу хорошего, чтоб посуше. Это я расстараюсь. Есть у меня дружок, на грузовике работает. Не спрашивай, сделаем. Третье дело — просушить стены. Помещение не сырое, только что отсырело. Это надо топить и топить. Временочку опять в строй введем, тут без печника не обойдешься, печь — это наипервейшее дело. Ну и дров надо запастись. Получишь ордер. Но ордер ордером, а дело делом. Обмозгуем. Осина тут не пойдет. Это я тоже, пожалуй, на себя беру. — И, помолчав, прибавил нараспев, мечтательно:

— Есть монета разменная, правильная и всегда ход имеет. Не монета — валюта. Водка — вот она валюта. Понятно? Достань пару талонов, да какое пару — побольше. Пойди к Громову, объясни насчет ремонта, про детей, про жену, про контузию не забудь. Одним словом — жми. Сам не подожмешь — тебя зажмут.

Поливанов достал много водочных талонов, ему их отдали и Савицкий и Голубинский. Ремонт, предстоящий Поливанову, был делом нешуточным, и это понимал каждый.

Талоны Митя вручил Петру Петровичу. Петрович отправился получать водку и пропал, сгинул, испарился.

— Запил! — сказал Поливанову завхоз. — Эх вы, яичница всмятку, интеллигент, черт бы вас подрал!

Все дружно проклинали Поливанова и беспокоились за Петра Петровича: редактор шутить не любил и за прогул мог уволить в два счета. Домой к шоферу никто не хотел идти. Во-первых, было ясно, что он запил не дома. Во-вторых, все боялись его жены, которая тоже шутить не любила и, когда Петр Петрович запивал, считала виновными всех, кроме него.

У Поливанова в типографии был дружок — восемнадцатилетний парнишка-наборщик Володя. Он любил Митю не только за то, что Митя помогал ему решать задачи по алгебре, которые задавали в вечерней школе. Он его просто любил. Его восхищало в Поливанове все — манера говорить, острить, а главное, поливановские рассказы. Иногда после рабочего дня Володя поднимался в редакцию и присаживался к Митиному столу. Он по-детски ловил на лету каждое его слово, каждую шутку.

И когда с Поливановым случилось несчастье и неизвестно куда ухнули его водочные талоны, Володя, недолго думая, отправился к Петру Петровичу и тут же попал в лапы его жены. Она даже не дала ему переступить порог, она вытолкала его с криком:

— Спойли, черти! Будто не знаете, что ему и запах-то водочный хуже смерти! Товарищи называются!

Оставалось одно: забыть о Петре Петровиче и приниматься за дело самим. Без водочных талонов — как без рук, но стекло на два окна схлопотали (в долг!) в самой редакции. Оно серое, мутное, но Поливанов с Володей вставляли его так, будто оно по меньшей мере венецианское. Володя достал хорошую замазку, они с Митей стояли на стремянках — подоконников-то не было — и вмазывали окна.

И вдруг в дверях раздался голос Петра Петровича. Он кричал как ни в чем не бывало, будто не он пропил драгоценные талоны, будто не он исчезал на четыре дня, будто не он подвел товарища. Он кричал:

— Недотепы, будьте вы прокляты! Сначала надо протопить, а потом уж стекла вставлять!

— Протопить?! Улицу, что ли, топить?

— Ты не спорь, ты знай меня слушай! Жар — он станет сушить. А не то все потрескается потом. Завтра к вечеру придет печник, понятно? — И прибавил тихо:

— Ну ладно, виноват. Я люблю ее — беленькую, чистенькую — раз, да горазд, а не каждый день по наперстку! Но больше такого не будет, ты мне поверь!

И больше такого не было. После трудового дня в редакции они работали за шестерых. Прорабом был Петр Петрович.

Не назавтра, как обещал Петрович, а дней через пять появились два печника. Один из них прибыл со станции Зеленоградская. Он был тонкий мастер своего дела и разворотил печи со стороны коридора и забросал кирпичами путь к парадной двери. Потом заикнулся насчет водки, но Петр Петрович строго сказал:

— Да ты в уме ли? Откуда мы напасемся для тебя водки?

И мастер принялся за дело. Коммунальная квартира бунтовала. Женщины требовали немедленно очистить коридор. Антонина Алексеевна, знавшая Митю с юных лет, подошла к нему и сказала:

— Митя, я рада вашему возвращению. Но вы поймите, как же Семен Осипович будет здесь проходить? Долго ли до беды, он ведь как-никак слепой.

А на другой день на пороге комнаты, стуча высокими каблучками, появилась новая, еще неизвестная Мите соседка. Потянуло тонкими духами. Этот запах

заставил Поливанова поглядеть на свои руки в замазке, на спецовку, забрызганную известкой. Потом он поднял глаза. На пороге стояло волшебное видение. Стройна, светловолоса. Стройные длинные ноги, узкие в шиколотках, меховая шубка, поблескивающая серебром.

— Вот это да! — шепнул Володя.

Все трое бросили работу и ждали. Она говорила что-то, и комната переполнилась раздраженной капризной речью — и все тянуло неожиданным, непривычным запахом духов.

— Эгоизм... — говорила она. — Вы тут не один. Тут люди живут. Мы не в окопах, не в землянке.

— Оно и видно! — сказал Володя.

— Вы обязаны, — продолжала женщина, — в кратчайший срок договориться с уборщицей... Не квартира, а хлев... Я устала каждый день натирать полы...

Поливанов смотрел на нее пристально и молчал.

— Это ты верно говоришь, детка, — не повышая голоса, ответил Петр Петрович. — Оно очень даже невредно подмыть полы, да ведь это дело не мужское. Помогите, видите, люди работают, спасибо скажем! Скинь-ка шубку, разуйся, милочка, да и вымой, дело бабье. А мы Володьку сгоняем, он воды нагреет, долго ли на газу-то?

— Что? — Она задохнулась и, переводя глаза на Поливанова, сказала: — Вы — человек интеллигентный, почему вы молчите?

И тут, вместо того чтобы учтиво ответить, Поливанов засмеялся. Он смеялся, глядя ей в лицо, понимая, что это и грубо и несправедливо.

— Черт знает что! — сказала она, резко повернулась и ушла.

— Не сердитесь! Мы вымоем! — донесся до нее голос Поливанова.

Что же с ним? Сознайся, — сказал он себе, — еще совсем недавно при виде такой женщины ты немедля распустил бы хвост и уж наверняка вечером сидел с ней в ресторане, а потом провожал бы ее домой. А теперь, теперь захлопнулась какая-то створка его души — и все, что прежде кружило ему голову, не то чтобы поблекло, а просто перестало существовать. Что-то было в этой женщине вызывавшее не то улыбку, не то желание пошутить. Ее не хотелось защищать, она сама себя защитит и сама кого захочет обидит. Ее не хотелось спросить: «О чем ты думаешь?» Она не думала ни о чем, что было ему дорого. К ней не хотелось приглядываться, не хотелось понять «кто ты?» — узнав одну такую, знаешь всех. Да...

— Вот это женщина! — сказал Володя, когда затихли в коридоре ее шаги.

А Поливанов и Петр Петрович вздохнули — каждый по-своему. Петр Петрович крикнул с досадой, а Поливанов пожал плечами, и все трое продолжали работать.

Вечером дворничиха вымыла в коридоре полы, щельцы стали чертыхаться потише.

...Удивительны были эти минуты, когда после долгого трудового дня Митя, Володя и Петр Петрович подводили итоги: радовались, что исчезла желтизна в углу, или прикладывали руки к жарко нагретому кафелю — печник поработал на славу. А вот и дверь навесили, а вот уже и плинтусы готовы.

В комнате пахло свежей стружкой и, вперемешку с краской, — смолой от новых плинтусов.

Они ужинали квашеной капустой с хлебом. Чай заваривали в кастрюльке и пили его без сахара.

Работа кипела, и эти комнаты, которые, казалось, вовек не привести в порядок, постепенно преображались — и дело дошло до оклейки стен. Но обоев не было, и стены решили красить.

Каждый день в редакции задавали Поливанову один и тот же вопрос:

— Ну, как? Подвигается? Не надо ли помочь?

И однажды Митя ответил:

— Олифы нет.

Подготовка стен под масляную краску — работа кропотливая. Поливанову вызвались помогать еще двое. Один — Коля — был свой парень, из отдела иллюстраций, как и Митя, — фотограф: коренастый, круглолицый, веселый. В прошлом электротехник, он тотчас же пообещал сделать своими руками всю проводку.

Другой — его звали Борис — был из иностранного отдела, щеголеватый, подтянутый. Он свободно говорил на трех европейских языках и обладал умом злым и язвительным. Когда он выступал на летучках, все в страхе ждали, каким злым и остроумным словом он припечатает их сегодня, как отзовется о передовой, фельетоне, очерке. Он не давал спуска никому и гордился этим. Но сегодня он был косноязычен.

— Нас как бы мобилизовали, — говорил он, — ну, субботник и субботник. И вообще, методы народной стройки в наше время поощряются.

Отправить их назад было невозможно — да и к чему? Они принесли с собой олифу и масляную краску. Краска для одной комнаты была веселая, голубая, а для другой — та, что осталась от редакционных коридоров: немислимая, черно-зеленая.

— Ничего, — сказал неунывающий Петр Петрович, — подбавим белил. Жаль, нет трафарета, мы по этому фону еще цветочки пустили бы.

— Обойдемся без трафарета, — с некоторым испугом сказал Поливанов.

Стены в комнатах отделявали шесть дней. И устали порядком. Когда все было кончено, Петр Петрович сказал:

— Раз, да горазд! — и поставил бутылку на расстеленную по полу газету.

Они сели вокруг, как турки поджав под себя ноги, очень усталые, но бодрые и веселые. Они пили и пели.

— Те-о-омная ночь! — выводил Петр Петрович, а Володя, не желая слушать, тянул свое:

*На окошке на девичьем
Все горел огоне-о-ок!*

Журналисты — все трое — склонялись к песне Петра Петровича и подхватывали каждый на свой лад:

...у детской кроватки не спишь!

— Эх, — сказал Поливанов, — вот бы мою Сашу сюда — она на гитаре так славно играет.

— Да-а, под гитару оно задушевней, — сказал Петр Петрович.

— А сколько... сколько, например, лет вашей старшей дочери, Дмитрий Александрович? — осторожно спросил Володя.

— Восемь — девятый. Во второй класс проводили! — откусывая соленый огурец, сказал Поливанов.

— Ах, вот оно почему Володька старался, рук не покладал! — воскликнул Петр Петрович. — Породниться охота? Что ж, я не против. Он хоть и интеллигентный, а дело знает не хуже нашего. Не только башка, но и руки при нем. А ты, Дмитрий Александрович, не брезгуй: парень такой, будьте уверены, в люди выйдет — некурящий и непьющий.

— Я что! Я с удовольствием! — усмехнувшись, сказал Поливанов. — Согласен ждать?

— Нет, десять — больно много ждать! Пять — это бы я, может, еще и согласился. А десять — не пойдет!

— Те-о-омная ночь! — снова завел сотрудник иностранного отдела — полиглот и остроумец, но Петр Петрович сказал:

— Стоп! Прекратить! Квартира коммунальная, а Поливанову здесь жить-поживать, добра наживать. И так жильцы косятся, а теперь второй час ночи. По всему по этому песню — отставить. Давай, кто знает, анекдот! Люблю анекдоты смерть!

...В эту ночь Поливанов пришел домой поздно и крепко навеселе.

— Ах, Дмитрий Александрович, Дмитрий Александрович! — сокрушенно сказала Ольга Сергеевна. — Этого я от вас ну никак не ожидала. Андрей Николаевич никогда этого себе не позволял.

— Уж и выпить человеку нельзя! — отозвалась с сундука Анисья Матвеевна. — Нечего человеку глаза колоть! Захотел и выпил, не на ваши деньги пьет!

— Молчи, нянька! — сказал, чуть покачиваясь, Митя и прошел в свою комнату.

Ни о чем не расспрашивая, Саша помогла ему снять башмаки. Уже лежа в постели, он сказал мечтательно:

— Завтра я назначаю тебе свидание. Ровно в пять.

— Где? — спросила Саша.

— Как обещано: угол Арбата и Серебряного переулка. — Засыпая, он успел пьяно похвастаться: — Ты еще меня не знаешь... Ты еще обо мне услышишь... Я, может, тебе серебряную шубку подарю...

— Спасибо, дорогой. Спи, — отозвалась Саша.

Ее муж пришел на свидание небритый, усталый, но очень счастливый. Старое кожаное пальто покрывала

белая пыль. При свете яркого зимнего дня было видно, что вокруг глаз легли морщины, лицо — измученное.

— Куда же мы теперь? — спросила Саша. — На Камчатку?

— Угадала, умница! Пойдем!

...Он распахнул дверь, и перед Сашей предстало чудо: она стояла на пороге прежнего Митиного дома. Робко, не смея поверить, она перешагнула порог светлой комнаты с побеленным потолком. В окнах чуть поблескивали еще не мытые стекла. Плинтусы были самодельные и, может, жалкие, но это были плинтусы! А подоконник! Широкий, просторный — сколько цветочных горшков здесь уместится! Пол был устлан газетами, пахло свежей краской и клеем. Посреди комнаты стояла табуретка, на ней сидел паренек и улыбался.

— Познакомься, Саша: Володя, мой товарищ из типографии.

— И все-то он волновался! — вместо «здравствуйте» сказал паренек. — И все-то он хлопотал, чтоб вам понравилось. А мы втроем, я, ну я, конечно, не в счет, наш водитель и Дмитрий Александрович, и еще двое из редакции, мы тут шуровали, шуровали, и вот, пожалуйста, не хуже, чем у людей. А? Что вы скажете?

Петр Петрович стоял у стены спиной к окну и глядел на Сашу прищурясь и не позволял себе улыбнуться. Но по всему видно было, что он наслаждался: наслаждались прищуренные глаза, нос, которым он шумно дышал, пальцы, которыми он барабанил по высохшей стенке мутно-зеленоватого цвета. Он скромно, молча торжествовал, ожидая, что же скажет эта самая Саша, для которой они полтора месяца — не давая себе ни отдыха, ни срока — штукатурили, строгаили, красили, превращая безнадежно разрушенные, холодные комнаты в теплое человеческое жилье.

Саша не сумела ни сказать «спасибо», ни повернуться к Мите, ни взглянуть на Петра Петровича. Обняв Володю, она поцеловала его в запачканную краской щеку.

И они поселились в прежнем Митином доме, неподалеку от Тимирязевской академии.

Жильцы не знали Сашу маленькой. Они говорили ей «вы» и «Александра Константиновна», и ей все время хотелось объяснить, что она — Саша, а не Александра Константиновна, но Митя сказал:

— Так держать! В твои годы, матушка, уже надо величаться по имени-отчеству.

В ее годы? Какие же такие ее годы? Немалые: двадцать семь.

— А может, можно еще не величаться? — спрашивала Саша.

— Нельзя! — коротко отвечал Митя.

Кроме них в квартире жили еще четыре семьи: полковник с женой и девятилетним сыном, слепой юрист со своей женой Антониной Алексеевной, которая когда-то сказала Саше, что она похожа на Дину Дурбин.

В комнатке при кухне жила повариха, работавшая на фабрике-кухне, с племянницей Милой. И наконец, слева от входной двери в большой просторной комнате с фонарем жил Василий Васильевич, по профессии театральный критик.

Он очень любил говорить о воспитании детей.

— Когда моему сыну от первой жены было шесть лет, — говорил он Саше, — я практиковал регулярно следующие меры воздействия: малая ушедралка, большая ушедралка, порка обыкновенная, порка большая и

порка по высшей категории ремнем. Все это я практиковал регулярно по четным и нечетным числам. Иначе погибли бы мой сын, моя жена, я сам и все соседи. А дом наш рухнул бы. Моя первая жена разделяла мои убеждения, она была умная женщина.

Саше очень хотелось спросить, как обстояло дело со второй женой, но она не решалась. А Митя говорил:

— Чрезвычайно стройная система воспитания малолетних. И надо сказать, что вы излагаете ее с чисто профессиональной жестокостью.

Ане и Кате на новой квартире было вольготно. Здесь был большой, широкий коридор и ни одной девочки, только мальчик Алик, сын полковника и Нины Георгиевны — красивой женщины в серебряной шубке.

— У вас хорошие девочки, довольно воспитанные, — говорила она.

Довольно воспитанные девочки могли ворваться в любую комнату, и почти всюду им были рады. Больше всего они любили ходить к Антонине Алексеевне. У нее был слепой муж. Он почти всегда сидел в кресле и читал книгу, странно ощупывая ее чуткими пальцами.

Приближение Ани и Кати он слышал раньше других. Еще не успевали девочки распахнуть дверь, как навстречу им поворачивалось лицо слепого, и он протягивал к ним свои большие руки. Катя, недолго думая, взбиралась к нему на колени и тотчас брала лист чистой бумаги и остро отточенные разноцветные карандаши, в образцовом порядке стоявшие в высоком узорном стакане. Аня, усевшись на стол и сбросив туфли, ставила ноги в чулках на его свободное колено, как на скамеечку, и принималась рассказывать. Ей было о чем порассказать! С Аниной школой все решилось просто: ее перевели в новый микрорайон. Прощайте, Зинаида Петровна! Новую учительницу звали Мария Ильинична. Саше было тревож-

но — вдруг еще одна Зинаида Петровна? Но кажется, нет. Прежде все Анины рассказы про школу сводились к одному: Зинаида Петровна не велела! Зинаида Петровна сердилась! А теперь не так. Теперь рассказы другие.

— Наша учительница зовет девочек по имени, — говорит Аня Семену Осиповичу. — Я в той школе привыкла: Москвина да Москвина. И вдруг: «Аня!» Как дома! Больше всего Мария Ильинична не любит, когда врут. Если кто из девочек провинился, да сознается, она хоть и выговаривает, да смотрит по-доброму. А если врут — она сердится. Брови нахмурит — вот так, и губы сожмет. Она говорит: если человек сознался — полвины долой. А еще Мария Ильинична не любит, когда ябедничают. Сегодня одна девочка встает и говорит: Аня Москвина не решила задачу! А Мария Ильинична отвечает: Аня мне сама об этом скажет!

Семена Осиповича все интересуется в Аниных делах — и то, какая в школе учительница, и какая девочка сидит на одной парте с Аней, и что кто сказал, и кто подрался на перемене. Он любит, когда Аня делает уроки у него в комнате. Она делает уроки и болтает:

— Дядя Сеня, ну зачем ему ехать из пункта А в пункт Б? Если бы он ехал из Воронежа в Москву или из Москвы в Киев, было бы понятно, что он в командировке, как Митя. А когда пункт А и пункт Б — ничего не понятно и ничего про этого человека нельзя придумать. А сегодня нам Мария Ильинична читала книгу «Храбрый пастух и великий ученый». Это про Пастера. Пастер это такой ученый врач. Он изобрел, как лечить людей от сумасшествия, и мы все должны его за это сильно уважать.

Ну что ж, он в детстве тоже не понимал, зачем человеку ехать из пункта А в пункт Б. Насчет Пастера он с Аней согласен: это великий ученый, и все мы должны глубоко уважать его. А знает ли Аня про ученого, кото-

рый спас людей от черной оспы? Вот он сейчас ей об этом расскажет. Он много знал и умел рассказывать. Сказки он тоже умел и рассказывал по вечерам, когда Аня приходила к нему, приготовив уроки. Но иногда Катя просила:

— Дядя Сеня, расскажи нам какую-нибудь правду!

Это значило: не сказку, а быль.

— Дядя, ты забыл зажечь свет! — говорила Катя, отворив дверь.

— Верно! — соглашался он и, уверенно пройдя по комнате, поворачивал выключатель.

Катя требовала, чтоб он искал ее. И куда бы она ни залезала — в шкаф или под кровать, он сразу ее находил. Слепой, а так здорово играл в прятки!

Иногда казалось, что в тишине своей комнаты он только их и ждет.

— Дети, я ухожу, — говорила иной раз Антонина Алексеевна, — приглядите за дядей Сеней. Ему, может, что-нибудь нужно будет.

И это значило: не давайте дяде Сене скучать.

И они не давали ему скучать. Особенно Катя. В школу она еще не ходила, и времени у нее было много. Утром она просыпалась с тем, что надо оглядеть свое государство, проверить, все ли на месте и нет ли чего нового.

Она любила открывать входную дверь. Она становилась на цыпочки и терпеливо ждала. Едва раздавался звонок, она открывала, здоровалась с пришедшим и снова становилась на часы.

— Отойди от дверей, горе мое! — грозно кричала Ани-сья Матвеевна. — Вот дам сейчас по затылку!

Мальчик Алик, который был очень худ и плохо ел, безропотно подчинялся Кате — пыхтя, возил ее на спине, как заправский конь, а садясь завтракать, говорил:

— Мама, если Катя не придет, я какао пить не буду.

— Катенька, ты свободна? — медовым голосом спрашивала мама, и Катя, у которой и впрямь было много досуга, шла в комнату к полковнику, пила какао, а потом забиралась с ногами на красный плюшевый диван и рассказывала, тараша большие черные глаза, разные разности.

— А про вас во дворе говорят, — сказала она Аликовой маме, — замужем живет и горя не знает.

— Вот как? Что же еще там говорят?

— А еще говорят: упырь. А один дядя сказал: красивая у Алика мама! Это про вас, тетя Нина!

— Прелестная девочка! — говорила Нина Георгиевна про Катю. — Очаровательная.

— Катерина! — кричала за дверью Анисья Матвеевна. — И что это за привычка такая по чужим хатам шастать?

...Возвращаясь домой и входя в коридор, Митя прислушивался к детским шагам. Вот они топают! Из глубины коридора навстречу ему летел крик: папа пришел! Митя пришел!

Хорошо, когда ты кого-то радуешь своим приходом!

Анисья Матвеевна быстро собирала на стол: пришел хозяин. Тут он был главою семьи — какое глупое честолюбие! И тут были две комнаты — целых две. В одной — Анисья Матвеевна и дети, в другой — они с Сашей.

По вечерам, когда дети и Анисья Матвеевна засыпали, начинались их с Сашей часы, их вечер. Они читали, молчали, разговаривали. И теперь он полюбил работать дома. Сидя у письменного стола, он чувствовал на себе ее взгляд, слышал ее присутствие. Иногда она пристраивалась неподалеку с книгой или детским дневником. Прежде он не любил эту тетрадку в твердом синем переплете. Она была чужой, оставленной в наследство кем-то, кого Саша любила прежде. Поливанов заглянул однажды в эту тетрадь там, в

Ташкенте, и наткнулся на слова «нет, людей не сравнивают...». Значит, она сравнивала... Сравнивала постоянно. Эта мысль была ему нестерпима. Но сейчас она все реже приходила ему в голову. Он любил после командировки полистать дневник и прочитывать о том, что было в его отсутствие, что говорили Катя, Аня и о чем без него думала Саша. О себе она писала редко, да и о детях строчку-другую — словцо, восклицание, а он почему-то сквозь это видел их — всех вместе и каждую в отдельности.

Он рассказывал ей обо всем, что случилось за день, каждую мелочь пережитого дня. И словно бы то, что было пережито прежде, было лишь преддверием этих долгих, счастливых часов.

И было, оказывается, на свете воскресенье, день, когда не работала Саша, когда не ходила в школу Аня и не спешил в редакцию Поливанов.

Можно было поспать подольше, можно было всем вместе завтракать, а потом всем вместе ходить на лыжах — даже Кате. Ее попробовали было оставлять дома, но не такой она была человек, чтобы стерпеть это, — и ей купили маленькие короткие лыжи.

В Серебряный бор они ездили на автобусе, каких-нибудь полчаса, и вот он, Серебряный бор — серебряный, белый, серебряные в снегу деревья. И пустое поле, иссеченное лыжами. Кругом — никого, только слышатся откуда-то далекие голоса. Тем лыжникам ходить легче: с ними нет Кати.

Вот Саша забежала вперед, оглянулась:

— Ми-итя! С горки! А-у-у!

И Аня мчалась с горы рядом с ней и вопила что есть мочи:

— С дороги, куриные ноги!

А ему оставалось держать за хвост Катю, которая рвалась скатиться вслед за ними.

...Пришел новый, сорок шестой год. Первый послевоенный год.

В редакции устраивали новогодний вечер. Но у них был дом. Этот вечер люди, у которых есть дом, проводят дома.

Ему было не лень, расколов орехи и вынув ядра, терпеливо исписывать бумажные квадратики. В каждом орехе — новогоднее предсказание: «У тебя выпадет зуб» — для Ани, «Новых туфель не миновать» — для Саши, «Кто много болтает, у того типун бывает» — для Кати.

Наверно, это было глупо и нисколько не смешно для стороннего глаза и уха, но он знал, что на каждое слово здесь откликнется смехом.

...Еще не пришел Новый год, а большая комната, где жила Анисья Матвеевна с детьми, была переполнена музыкой, которую передавали по радио, и запахом большой нарядной елки.

Новогодний стол был красиво накрыт. Анисья Матвеевна, в белой кофте, гладко причесанная, окидывала его хозяйским взглядом. Ну что ж: Митя пристроен, женат, при детях.

В одиннадцатом часу в коридоре послышался шорох жесткого шелка. Катя открыла дверь и завопила:

— С Новым годом! С новым счастьем!

Осторожно неся белокурую голову в тугих завитках, выглядывавших из-под легкого тонкого платка, улыбалась, сияя зубами, Нина Георгиевна — воплощение женственности, красоты и нарядности. За ней выступал полковник — солидно и гордо.

— Анисья Матвеевна, милушка, загляните потом к Алику! — сказала Нина Георгиевна и ушла, а в коридоре остался след ее духов, будто след того, что он прежде считал радостью. И что-то в нем отозвалось на вопрос,

на который он не умел ответить словами. Почему, понимая эту яркую привлекательность, он больше не слышит в себе отклика на нее. Оглянувшись, он увидел Сашу. Она была в летнем платье, на ногах босоножки; как она радовалась его подарку — шелковым чулкам!

И, обняв ее, он сказал ей, как поклялся:

— Расшибусь в лепешку, а шубу тебе куплю. Серебряную! И платье... А вот мой главный подарок. Смотри!

Он вынул из кармана серую коробочку и открыл ее. Там были часы. Маленькие, на черной ленточке. Он снял с Сашиной руки Лешины часики и надел свои.

Саша молча глядела на них. Что-то больно кольнуло ее. Она вспомнила Лешины глаза и его дрогнувшие от обиды губы.

— Тебе не нравится? — спросил Митя. — Почему ты молчишь?

Она подняла глаза.

— Теперь я все буду знать про тебя — если часы заспешат, значит, ты на меня сердишься. Если отстанут, значит, ты меня разлюбил.

— Они никогда не отстанут! — сказал Митя.

Лестницы, лестницы, лестницы — по скольким лестницам она поднималась! Двери, двери — в какие только двери она не стучала! Она приходила к только что появившимся на свет людям на другой день после их приезда домой. Она была их первой гостьей. Вместе с матерью она пестовала только что родившегося человека до тех пор, пока он из грудного младенца не превращался в ребенка, которому больше не нужна патронажная сестра.

— Мама, ты их не путаешь? — спрашивала Анята. — Они же все одинаковые!

Нет, она их не путала, они никогда не казались ей одинаковыми. У каждого было свое лицо и свой характер. Она знала о своем подопечном все: нрав — веселый или сердитый, и здоров ли он: нет ли диатеза или рахита? Она знала и то, чего он пока знать не мог: какая у него семья — мама, папа, бабушка. Какова комната, в которой он живет, — сухая? светлая? сырая? темная?

Саша звонит, а если звонок не работает — стучит в дверь. Ей открывает обычно кто-нибудь из соседей — мать грудного младенца почти всегда занята: кормит, поощет пеленки. Или просто стоит над кроваткой и пристально смотрит на красное личико.

Саша быстро проходит по коридору, она знает, куда постучаться, куда войти, знает и то, как ее встретят.

Мать, к которой она пришла сейчас, — здоровая, благополучная. Ей двадцать два года, у нее розовые щеки, вся она какая-то гладкая и очень послушная: делает все, что ей велит Саша.

Саша давно заметила: когда появляется первый ребенок, такое чувство, будто в доме тяжелобольной, ни у кого ни минуты покоя. Вот и сейчас в глазах матери светится ужас: ее беспокоит, что у малыша из-под чепчика торчит ухо, а вдруг вырастет лопухий? Потом во сне у него всегда такое недовольное лицо, — может, он родился глухим?

Она встречает Сашу молчаливым кивком, и Саша тотчас понимает: он, видно, долго орал и только что притих на руках у матери.

Саша входит на цыпочках и молчаливо кивает в ответ, и обе улыбаются друг другу, как заговорщицы. Только что уснул? Жалко будить. А все-таки придется.

И они тихо переговариваются над уснувшим ребенком.

Саша осторожно разворачивает его и оглядывает спинку, головку, смотрит за ушами... Коля медленно просыпается и глядит на Сашу молочными подслеповатыми глазками. Ничего, потом глаза расцветут, станут большие и чистые.

— Ну вот, — говорит Саша, — уже можно купать в кипяченой воде... А знаете, почему у него заворачивается ухо? Потому что он, как подсолнух, поворачивает голову к свету, к окошку. Вы его кладите то на одну сторону кровати, то на другую. Поняли?

И снова лестницы, лестницы, лестницы...

В комнаты она входит, отогрев в коридоре руки, улыбаясь. Улыбка — ее представительство. Если ребенок болен — ее улыбка несет надежду. Если здоров — как же не улыбнуться.

И она ходит, как почтальон, по лестницам, она хоть и помнит о доме, об Ане и Кате, но глубоко внутрь загоняет эту постоянную память — сейчас не до них, не до них! Вечером она все расскажет им и Мите, а сейчас — мимо, мимо!

Один этаж и другой этаж — и снова она стучит в дверь.

...В этом доме — нерадостно. Тут живут трое: мать, пятнадцатилетняя дочь и трехнедельный сын.

Мужчины в доме нет. Ни одного знака, который сказал бы: здесь есть отец. Или был когда-то. Ни старой кепки, ни сапог, ни пепельницы, ни пиджака на спинке стула, ни завалившегося перочинного ножа, ни фотографии на стене. Дверь шкафа приоткрыта, но на перекладине девичья лента, поясок. Ни ремня, ни галстука.

И вот в этой комнате раздался властный крик новорожденного. Это мужчина. Через каких-нибудь семь лет в этом шкафу будет висеть ремень от школьной

куртки. А потом, очень скоро, мужская рука заколотит гвоздь в эту стену — по-мужски, как следует, а не так криво, как сейчас. Скоро на этом полу будут валяться гвоздики, гайки, железки, может, побежит заводной автомобиль — бывает, что дарят на день рождения!

Все это будет. Но покамест опора этих двух женщин лежит в коляске, наморщив лоб и крошечный нос. Выражение его лица серьезно и неприступно. Пока он только яблоко раздора, обуза и срам: родился без отца.

...Взрослая девочка не смотрит в сторону матери, она не может примириться с тем, что случилось. Подруги перешептываются, смеются. На кухне осуждают. По ночам он орет — как тут готовить уроки? У всех девочек дом как дом, а ей что делать?

Лицо матери бледно, немолодо. Саше оно кажется робким и печальным. Во всем мире ей опора только вот этот — трехнедельный. Он, может, один ее не судит. А если б и судил... Пока не скажет... А если б и сказал — его не разлюбишь.

На Сашу женщина смотрит злобно и неуверенно, она знает: и эта осудит. На всякий случай она говорит:

— Ну что ж, сестрица... Бывает...

Саша будто не слышит. Распеленав ребенка, она говорит:

— Прекрасный парень! Богатырь!

Глаза у матери светлеют, а в углу молчит дочка, сестра малыша.

— Девочка, тебя как зовут? — не глядя, спрашивает Саша.

— Ну, Маруся.

— Так вот, Маруся, вскипяти, пожалуйста, воды.

Девочка в ответ пожимает плечами.

— Ты что, не слышишь? — Сашин голос звучит повелительно.

— Я сама, — говорит мать.

— Как это — сама, когда вы еще больны. Ну-ка, Маруся, проводи меня на кухню.

Маруся молча идет впереди, а на кухне говорит:

— Чего вам? Вот наш примус. Ну?

Не успев ничего обдумать, Саша хватается девочку за плечо:

— Ты что, ослепла? Оглохла? Нет, не вывертывайся!

Мать больная, а ты...

— Не ваше дело! — вырываясь, говорит Маруся.

— Мое! — отвечает Саша. — Я за вашу семью отвечаю, и за тебя, глупую, тоже в ответе. Если молоко у матери пропадет, что тогда?

— Так ее, ваяйте, сестрица! — говорит пожилая женщина, выходя из комнаты при кухне. — Совсем от рук отбилась! Удержу нет, что ни день — то скандал, матери глаза выела — срамит!

— А что же ей в ножки, что ли, матери, кланяться, спасибо говорить? — тут же подхватывает другая женщина очень высокая, могучего сложения, в цветастой косынке. — Ей свою жизнь скоро устраивать надо, матери об ней бы позаботиться, а она, смотри, хвост распустила! Ей бабушкой быть, а она пожалуйста! Совесть иметь надо!

— У тебя совести много, — ответила пожилая, — дочь на мать натравляешь. Это какой же может быть позор от ребенка? Ты в уме ли? Что ж, теперь бабам не рожать, что ли, если мужиков мало? Ты за себя, Степановна, не бойсь, на тебя никто не польстится, не бойсь, никого не опозоришь.

Степановна молча хлопает дверью, и на кухне остаются трое — Саша, Маруся и та, пожилая.

— Откуда у тебя такое понятие, что ребенок — это позор? — обращается Саша к угрюмой девочке.

— Незаконный, — говорит Маруся, — у него в метрике вместо отца черточка.

— Черточка? А вместо сестры — что? Клякса? Да ты не только глупая, ты жестокая.

И, разжигая примус, наливая в кастрюлю воду, Саша выкладывает все, что накипело на душе. Что едва открыв глаза и начав дышать, человек не может быть вне закона, что только пошлость могла выдумать это слово — незаконный, незаконнорожденный, что с вора, когда отсидит, и с того клеймо снимают, а эта девчонка ставит клеймо на брате, который и глаз-то еще толком не открыл, — надо же придумать! Незаконный!

Она еще не раз сюда придет. Но нынче, уходя, у самых дверей, она оборачивается и говорит:

— Изволь принести братишку в консультацию. Послезавтра, в три. Чтоб мать не ходила, ей еще нельзя. Ясно? Если молоко у матери перегорит, я с тебя взыщу, так и знай.

Сказав все это, Саша спускается с лестницы и долго еще идет хмурая, злая. Ей кажется, что и снег под ногами потемнел, и небо темное. И правда: уже сумерки. А ей еще надо зайти в одну семью, так, для спокойствия: там веселая сероглазая девочка Зинка. Ей десять месяцев, а она уже ходит и говорит. У нее славная, веселая мама, добрая, веселая бабушка. И отец, который стесняется быть нежным. Но когда смотрит на девочку, не может сдержать улыбку.

Нет, это напоследок, а сейчас она побывает у Тони Григорьевой. С Тоней она познакомилась давно и знает всю ее короткую историю. Тоня любила человека, но замуж за него идти не хотела.

— Я ему говорю, — рассказывала она Саше, — и учили тебя, и специальность есть, как ни говори, токарь шестого разряда, а живешь неприкаянный. Будни, празд-

ник — тебе все равно. Даже костюма себе справиться не можешь, ходишь как нищий. А все водка. На что ж мне такой? Прошло время, и вот он мне звонит: спасибо, наладила ты мою жизнь, говорит, теперь не пью, справил себе костюм и буду тебя ждать, и буду стремиться. И правда, стремился. И поженились мы. И сразу война. Приехал на побывку, как взяли Варшаву, и опять на фронт. И не вернулся больше. Не вернулся, убили...

А малышу уже три года. Сейчас он болен. Тоня растила его одна, больше замуж не вышла. Мальчик рос у Саши на глазах, на ее памяти и пошел, и сказал первое слово. Он любит Сашу, не боится ее белого халата. И сейчас, когда у него воспаление легких, Саша поставит ему банки.

Тоня на работе. С малышом соседская бабушка. Саша приоткрывает дверь. Юра лежит в кровати, на одеяле игрушки, которые положила мать. Старая потрепанная книжка, матерчатый заяц, песочный совок и ведерко. Когда Саша приходит, Юра не говорит «здравствуйте», он только улыбается, застенчиво и радостно. На нем белая рубашонка, шейка открыта.

— Сорока воровка кашку варила, — лукаво говорит Саша, вынимая банки из чемодана, — этому дала. Так! Есть! (Одна банка поставлена!) Порядок! Этому дала! (Вторая банка поставлена!) А этому не дала! (Третья банка поставлена.)

Она быстро прикрывает Юрину спину одеялом.

— Тетя Саша, больно, сними!

— Ты воду не носил? Ты кашу не варил?

— Сними!

— Нет, ты скажи: ты воду не носил? Ты кашу не варил? Полетели, полетели, на головушку сели!

«Каждый взрослый полон лукавства, это нехорошо! Но что же поделаешь?» — думает Саша, убирая банки в чемодан.

— А когда ты опять придешь? — спрашивает Юра.

— Скоро, — отвечает Саша и щекочет его за ухом.

В коридоре темно, никто ее не провожает. Вон там, в углу, велосипед. Не наткнуться бы, обойти.

И вдруг дверь одной из комнат распаивается, широкий, светлый луч освещает Саше дорогу. Из света выходит человек — высокий, широкоплечий.

— Сестра, — говорит он ласково и решительно, и Саша замечает, что глаза у него светло-карие, почти янтарные, — я давно искал случая с вами поговорить. Я врач-хирург. Королев Дмитрий Иванович. Я ищу сестру. Нет, нет, не отказывайтесь, Александра Константиновна. Я был уже у вас в консультации. Мне нужна медсестра, такая, как вы... Вот так... Давайте поговорим!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Длинный коридор, по обе стороны — палаты, палаты. Сашин пост — третий, в конце коридора. На столе — стекло, лампа под зеленым абажуром. Сегодня день не операционный, можно чуть вздохнуть, оглядеться. И тем, кого вчера оперировали, сегодня немножко легче. Пришла в себя двухлетняя Оля. Она задумчиво смотрит на снежинки за окном и говорит:

— Мухи...

Галя Павлова (операция на сердце) полусидит, опершись спиной на высоко взбитые подушки. От носа идут, как тонкие усы, коричневые резиновые трубочки с кислородом.

— Не пускайте Ваню, — говорит она, прерывисто дыша, — не пускайте... не хочу, чтоб видел меня такой... Вот маму — да... маму пустите.

Рядом с Сашиним столиком сидит четырнадцатилетний паренек Толя. Посмотришь на него и видишь: ресницы и веснушки! Ресниц и веснушек такое количество, что хватило бы на пятерых. Саше сидеть некогда, она все время около больных, но он ждет терпеливо. На коленях у него книга, и он читает. Но стоит Саше хоть на секунду подойти к своему столу — за лекарством или за шприцем, как он немедленно вступает в разговор:

— А если мне во врачи податься, как вы считаете?

— Очень хорошее дело, Толя. Я тоже скоро подамся: пойду в мединститут. А ты кончи семь классов — и в медтехникум.

— Там одни девки! — отвечает он Саше вдогонку, а когда она возвращается, говорит:

— Я очень доктора Королева уважаю. Я считаю: если ты врач, так будь, как Дмитрий Иванович. А вы как считаете?

— Я с тобой согласна.

— А вот таких, как сестра Прохорова, я бы в больницу вообще не пускал. В ней одна злобность и больше ничего нет. А с больными злобно нельзя. Как вы считаете?

Саша считает совершенно так же, но отвечать Толе она не хочет и, нахмурясь, идет к плитке кипятить инструменты.

Толя приехал сюда из глухого сибирского городка. До операции он пробыл в больнице полтора месяца. Полтора месяца, а он не хотел быть здесь ни одного дня! «Если не заберешь меня отсюда, я тебе не сын, а ты мне не отец!» — писал он домой. А потом привык. У него был синий порок. Синие щеки, синие губы. «Синий мальчишка», — говорили про него. Сначала он слонялся без дела, потом стал помогать Саше: давал больным напиток, менял воду в грелке, поправлял подушку, сползшее одеяло.

— Скучно тебе, — сказала Саша однажды. — Вот я принесла тебе книгу, читай. «Детство» Горького.

— Не буду.

— Ты читал?

— Не читал, а все знаю: положительные черты деда Каширина, отрицательные черты деда Каширина. Это мы проходили в шестом классе.

— Вот что, — сказала Саша. — Давай биться об заклад: прочитай, и тебе понравится. А не понравится — проиграла. Тогда требуй чего хочешь, хоть голову руби.

Он прочитал за день и на другое утро сказал Саше:

— Ваша правда. Несите еще. Почему так, — говорил он, — когда в классе велют читать, ну нипочем не могу? Ну хоть режь! Почему так, как вы считаете?

Однажды он спросил:

— Александра Константиновна, а кем ваш муж работает?

— Он журналист.

— А, это которые врут?

— Это почему же?

— А у нас в городе написали в московскую газету про Замашкина, директора кирпичного завода, что он нечестный. Приехал корреспондент, поглядел, поглядел, уехал и написал в газету заметку, что Замашкин очень хороший, лучше всех. Вранье, а напечатали. Я теперь корреспондентам не верю.

— А я верю.

— Ваш не врет?

— Не врет!

Потом доктор Королев его оперировал. Весь день — с восьми утра до шести вечера — Саша была при Толе почти неотступно. В шесть вечера ее сменила до утра Алевтина Федоровна Прохорова — ночная сестра.

— Ох, не уходили бы вы, — говорил Толя. — Не могу я на нее смотреть. Уж лучше б никого не было, чем она.

Он тяжело ненавидел Прохорову. Почему? Он был терпеливый больной, лежал без стога, никогда не звал сестру понапрасну. Но Прохорову он не звал никогда.

Если бы я болела, умирала, пропадала, я бы тоже ее не позвала. Ни за что. Но я-то ее знаю. А Толя видит только то, что видят все: аккуратная, исполнительная. Халат, шапочка — всегда белоснежные, туго накрахмаленные. Все замечания выполняет добросовестно. И многие ее уважают. А Толя — не любит и боится.

Сашино знакомство с Прохоровой началось так: из седьмой палаты вышла молодая девушка. Она дежурила около матери и очень боялась, как бы ей не сказали: уходите домой, обойдемся без вас. Поэтому на лице ее постоянно было искательное, испуганное выражение. Она хотела казаться как можно меньше, незаметнее. Выйдя из палаты с длинноносой поилкой в руках, она спросила у Прохоровой:

— Пожалуйста... будьте так добры... где тут кипяченая вода?

— Я не из этой палаты! — не разжимая зубов, сказала Прохорова.

Девушка беспомощно посмотрела на Сашу, и Саша молча показала ей глазами на бачок: Прохорова стояла рядом с ним.

Девушка поспешно налила поилку и скрылась за дверью палаты. Саша в упор смотрела на Прохорову. Та улыбнулась и сказала:

— Какие все умные стали!

Прохорову нельзя было ничем удивить, ничем растрогать или порадовать, ей нельзя было рассказать ничего интересного: она все знала наперед. И ответ у нее был один:

— Какие все ученые стали!

Еще она говорила:

— Я никогда ни у кого не занимаю, вот и у меня не просят.

И еще она говорила:

— Жить надо по средствам.

И еще:

— Не вижу я радости от замужества. Много радости — стирать мужские портки.

И еще:

— А зачем мне дети? Вырастут хулиганами. Или пьяницами.

В хирургическом отделении была сестра Валя. Она собиралась замуж. Все радовались за Валю. Жених был очень симпатичный, он приходил за Валею после работы, и все прилипали к окнам, чтобы взглянуть, как он прохаживается по больничному саду — высокий, широкоплечий, красивый, с такой гордой, независимой повадкой.

— Орел! — говорила больная, лежавшая у самого окна.

И вдруг он уехал, оставив Вале письмо. В письме он сообщал, что ошибся: он Валю не любит. А любит другую девушку. Та девушка живет в Тбилиси. И он к ней уезжает. «Привет, Валя! Надеюсь, твоя сердечная рана вскоре заживет!»

Валя плакала. Она говорила: «Я жить не хочу». Все жалели ее, и только Прохорова сказала:

— А что же вы раньше смотрели? — Она была вежливая и даже молоденьким сестрам и санитаркам говорила «вы». Помолчала, улыбнулась и добавила: — Орел... Орел за мухой не погонится.

Заведующий хирургическим отделением Петр Геннадьевич Аверин говорит о Прохоровой:

— Алевтина Федоровна очень добросовестная сестра.

Добросовестная... Почему же Саше всегда не по себе, когда она сдает Прохоровой дежурство? Особенно если в палате есть тяжелые, а после операционного дня все — тяжелые.

— Доктор велел, чтоб Петров чаще отхаркивал, — говорит Саша Прохоровой, сдавая дежурство.

— Знаем.

— Не то придется делать трахеотомию.

— Слышали.

— Дмитрий Иванович велел позвонить ему в девять и сообщить, какая температура у Волковой.

— Это у бабушки с тромбозом, что ли?

— Да.

— Королев всегда что-нибудь придумает. Какая у Волковой может быть температура. Ей восемьдесят восемь лет.

Порывшись в сумке, Прохорова вынимает канву, разноцветные нитки. Ночью, когда все затихнет, она будет вышивать болгарским крестом салфетку. Она позвонит доктору Королеву в девять часов и сообщит, какая температура у бабушки с тромбозом. Она поможет Петрову откашляться. Она добросовестная сестра. Почему же Саше так тревожно, когда ее сменяет Прохорова?

...У людей после операции отрешенные лица. Кажется, что человек не видит, не слышит. Он ранен. Надо снова привыкать к жизни. Да, надо привыкать жить заново. Ночью ему становится хуже. Скрипят полы, за окном качается на ветру фонарь. И кажется, что ты один на свете. Кажется, что боль тебя никогда не оставит. Силы не вернуться. Ты никогда не обрадуешься дневному свету. А может, ты его больше никогда и не увидишь. Ночь в больнице длинная, нескончаемая. Тоска подступает к горлу и не дает дышать. Кажется, что из жизни выкачан воздух. Нет прибежища.

Сестра Прохорова сидит за своим столом у третьего поста. Огни притушены. В палатах темно, в коридоре горят только настольные лампы. Услышав стон, сестра Прохорова встанет, отложит вышивание и войдет в палату.

— Чего вам, больной?

— Пить.

— Вам нельзя пить.

— Пить!

— Не капризничайте, больной!

— Дмитрий Иванович, — говорит Саша, — вам кого-то напомнила Ирина Игнатьевна из седьмой палаты?

— Как вы угадали?

— Не знаю.

— Напомнила жену. А почему? Ведь не похожа. У Анюты были карие глаза. У Ирины Игнатьевны синие. Анюта была очень красивая. А Ирина Игнатьевна — не знаю, красивая ли.

— Она — хуже чем красивая.

— Гм... Это — определение, над которым стоит задуматься.

Они часто уходят с работы вместе. Не сговариваясь, идут пешком. На дворе октябрь. Ветер влажный, тянет дождем. После суматошного больничного дня это отдых — идти вот так, не очень спеша, то молча, то перекидываясь словом.

— Дмитрий Иванович...

— Да, Саша?

— Я почти год в больнице. А ведь я так до сих пор и не знаю — как вы меня нашли? Почему позвали?

— А я удивлялся, почему вы так долго не спрашивали.

На щеку упала капля — холодная, свежая. Ветер снова рванул, и в лицо бьет целая пригоршня дождя. Саша поднимает капюшон плаща, а Дмитрий Иванович как шел без шапки, так и идет.

— Спрячемся в метро? Я боюсь, вы промокнете, — говорит он.

— Я в плаще. А вот вы?

— Я не боюсь дождя. Да, как я вас нашел. Время это было для меня трудное и темное. Умерла жена. Остаться в Ленинграде — чувствую неспособность. Мы росли с Анютой в одном детском доме. А потом мы

встретились на фронте — ее, раненую, доставили в наш медсанбат. Она была, как вы, сестрой. Увидел я ее там — и понял, что всегда... почему так трудно произносить это слово, а? Понял, что всегда ее любил — сразу полюбил, еще в детстве, когда ее прислали в наш детский дом. После войны мы поженились. Родился сын. А потом она умерла. Я уехал из Ленинграда. Меня давно звал сюда Аверин, мы с ним были вместе на фронте. Сынишка остался у Наташи, Анютиной сестры. А я переехал в Москву, и дали мне комнату в Тониной квартире. Она быстро поняла, что мне плохо и тошно, очень прямо обо всем расспросила и стала меня лечить: если вам плохо — работайте. Нельзя ждать, чтоб крыша свалилась на голову. Мне уже свалилась, — отвечаю. А она опять: нельзя gloхнуть, если несчастье. Умирай, погибай, а душа пускай будет жива. Спрашиваю: откуда это у вас, Тоня? А она говорит: это мне сказала Саша, наша патронажная сестра. У меня муж погиб, я хотела умереть, но живу ведь? — Так ведь и я живу. — Нет, говорит, вы не живете, вы оглохли. Вам все стало все равно. Саша говорит: это самое худшее, если становится все равно. А главное, надо, чтоб душа была живая.

— Неужели я говорила такие умные слова?

— Говорили. И все, что вы говорили, Тоня обрушивала на меня. Между прочим, я всегда удивлялся: почему люди утешают друг друга чужой бедой? Почему думают, что, если сказать — вот и у меня несчастье и еще там и там горе, от этого ваше горе станет легче? Потом заболела наша квартирная бабушка. Зашел я вечером к ней, чтоб посмотреть, прописать лекарство. А она говорит: не надо, была Саша, все сделала. — Так она же, говорю, патронажная сестра, а не доктор. А бабка мне: да она лучше всех докторов.

— По-моему, это все не про меня, — сказала Саша. — Какой-то рождественский рассказ.

— Да, как в хрестоматии.

— И вы оценили меня за мои хрестоматийные поступки?

— Вот тут-то и закавыка, Саша. Я вас терпеть не мог. Я думал: ну, что она все время лезет не в свое дело, проповедует, поучает, пропагандирует. Я этого смерть как не люблю. Занималась бы своим делом, что ли. Ведь она патронажная сестра, а не Франциск Ассизский. И вот прихожу раз домой и вижу: во дворе ребята собрались и галдят. Что, спрашиваю, у вас такое? Они отвечают: патронажная сестра дала Гошке по морде. — Какая патронажная сестра? — Ну, та, которая из детской консультации ходит к Юрке Киселеву. — За что, спрашиваю? И выясняется, что Гошка дразнил малыша, кричал ему: полтинник, полтинник! Так, кажется, дразнят безотцовских? А вы подошли и дали тому самому Гошке по физиономии. Было дело?

— Было.

— Ну, а тут как раз ушла из нашего отделения сестра, перебралась в другую больницу, поближе к дому. И я попросил у Аверина разрешения самому подыскать ей замену. Он сказал: ну что ж, ищи, найди хорошую, добросовестную. А я решил — шут с ними, с добросовестными. С меня довольно Прохоровой. Рискну, позову эту самую Сашу, которую не знаю и даже никогда не видел. Вдруг повезет? После операции человека надо беречь, как... как хрустальную вазу, что ли... Ему надо сказать — дорогой. Или там голубчик, или еще какое-нибудь петушиное слово. Доктору — не обязательно. А сестре, которая выхаживает, — непременно.

— Значит, пока я выхаживала Юру и бабушку, вы меня терпеть не могли, а когда съездила человека по физи-

ономии, вы меня оценили и поняли, что я умею говорить петушинные слова?

— Да. Вот так оно и было. Но сегодня вы меня огорчили. Вы чересчур глазастая. Вам совершенно незачем было понимать, что больная из седьмой палаты кого-то мне напомнила. Больные никого не должны доктору напоминать. Больной — он больной и есть. И все. Давайте все-таки пойдем в метро. Ну, промочили ноги? Я же говорил!

В третьей палате шесть женщин. В самом углу у окна огромная, толстая, та самая, что говорила про Валиного несостоявшегося жениха «орел». Саша любит угадывать, чем занимается больной за стенами больницы.

Повариха? — думала она про толстую женщину. Или просто домашняя хозяйка?.. Оказалось, работает в тире — не вахтершей, не кассиршей — инструктор стрелкового спорта: не глядя попадает в яблочко! Вот и угадывают тут!

Инструктора зовут Полина Васильевна. Она озабочена Валиной историей и в разговоре все время возвращается к ней.

— Выйти замуж — это не штука, — говорит она. — Вопрос — как выйти? Это, может, счастье, что Валин ухажер уехал в Тбилиси и нашу Валечку освободил. Вот послушайте, в квартире у нас живет девушка, молодая совсем. И выходила она замуж три раза. Погодите осуждать. Девушка хорошая, и родители у нее с высоким образованием. Вышла в первый раз — муж оказался хулиган. Пьет и хулиганит. Ну, наша девушка не растерялась —

вышла второй раз. Он — с виду культурный, из себя — стройный, вроде Валиного, не хуже.

— Орел? — спрашивает Лара, больная, которая лежит напротив Полины Васильевны. Ей под тридцать, у нее зеленые глаза, легкие, светлые волосы. Она такая красивая, что на нее приходят поглядеть из соседних палат.

— Орел, — соглашается Полина Васильевна. — Утром на работу ходит, порядок — оказалось, бандит. Самый натуральный бандит, шайка в восемнадцать человек. С виду ни за что не поверишь. Если с ним вращаться, ну вот, как я сейчас с вами вращаюсь, ни за что не поверишь: отвечает культурно, смотрит вежливо. Ну, взяли его, как полагается, раз бандит. И вышла наша девушка в третий раз. Вот поглядим, как будет...

— А мои мужья все были моряки, — говорит Лара.

— Гм... Сколько ж их у тебя было? — спрашивает Полина Васильевна.

— Сколько б ни было — все мои! — смеется Лара. — Последнего от жены увела!

У самых дверей кровать Тани Ильиной. Ей завтра выписываться. Она сидит на кровати, обхватив руками колени, и пристально, не мигая, смотрит на Лару.

— Я женатых не признаю, — говорит она. — Ну, там потанцевать или побеседовать — пожалуйста. Но чтоб в женатого влюбиться, этого я не признаю. И сильно осуждаю.

— И осуждай на здоровье! — весело отвечает Лара, блеснув зеленым взглядом. — Женатые сами любят отвлекаться.

— Я читала: был такой француз — Берлиоз. Он музыку сочинял... — нараспев говорит Таня.

— Композитор, — откликается Лара. — Думаешь, если я в институте не училась, так не знаю, как называется-

ся, если музыку сочиняет... Десять классов кончила. И радио слушаю с утра до ночи. Так что он, твой композитор?

— Ему было двенадцать лет. А он влюбился в девушку восемнадцати. Потом он пятьдесят лет ее не видел. Пятьдесят! А когда увидел, все равно любил по-прежнему. Она стала старая, на лице морщины, голова — белая. А он все равно любил ее...

— Любил! Детей вместе не растили, пеленок не стирали, поругаться ни разу не успели! Свекровь или там теща их не ссорили... Вот и любил. И ничего удивительно. Так каждый сумеет. Композитор! Он что же, так и не женился, твой Берлиоз?

— Женился, — вздохнув, ответила Таня.

— И что? Жену-то любил?

— Любил... Но потом развелся.

Лара смеется, потом взбивает подушку, натягивает одеяло до подбородка и говорит:

— Посплю-ка я. Скоротаю время. — И чуть погодя уже спросонок насмешливо добавляет: — Музыку сочинял...

— Замечали вы, какие глазищи у этой, ну, у Лары, из третьей палаты? — спрашивает студент-медик Коля Великанов доктора Королева.

— Заметил, — отвечает Дмитрий Иванович.

— Никогда не видел глаз красивее! — говорит Коля.

— А я видел, — отвечает Дмитрий Иванович. — Вот у Ирины Игнатьевны из седьмой палаты, например.

— Ну какое же сравнение! — восклицает Коля. — У Лары прямо-таки зеленые озера, а не глаза.

— У Лары глаза для красоты. У Ирины Игнатьевны — глаза, чтоб видеть, — спокойно говорит Дмитрий Иванович.

— Сколько на свете болезней! — восклицает Толя.

«Сколько на свете людей!» — думает Саша. Сколько судеб! Они проходят мимо нее, сменяются, как в калейдоскопе. Но она не хочет, чтобы сменялись, проходили, она хочет сберечь в памяти всех, с кем ее сталкивает больница.

А Ирину Игнатьевну она, как и доктор Королев, заметила давно. Ее навещают дети, два сына — двенадцати и пятнадцати лет. Иногда она приходит из своей седьмой палаты в третью, окно которой глядит в больничный сад. В саду, напротив этого окна, часто стоят ее мальчики. Стоят и терпеливо ждут — не выглянет ли она?

Синий больничный халат сидит на ней ловко. На других — он неуклюжий балахон. На ней — домашнее платье, перехваченное в талии пояском. Она, как и Толя, помогает Саше ходить за больными, маленьким детям рисует, читает. С Толей говорит о книгах. Своей операции она ждет с глубоко затаенной тревогой.

— Мне нельзя умирать, — сказала она однажды, — у меня мальчишки.

— Не надо об этом, — ответила Саша.

— Я знаю. Я просто так. Да я и не хочу!

— Это и есть главное: не хотеть!

Саша знает — каждый, кому предстоит серьезная операция, думает: а если... И здесь человек один. Эту тревогу ни с кем не поделишь. Радостью можно поделиться. И горем иногда. А неизвестностью? Предчувствием? Страхом? Тут все надо одолеть одному. Трудно!

Иные бегают и всем, кто хочет и не хочет слушать, говорят: как вы думаете, выживу я? Меня обещал оперировать сам Н. Н.! Доктор, а как ваше мнение? Сестрица, вы не слышали, что там про меня говорили

после обхода? Я знаю, знаю, что умру, доктор, это правда, что я умру?

А вот Ирина Игнатьевна только раз сказала: мне нельзя умирать. У меня мальчишки.

Очень часто, почти через день, когда Саша, сдав дежурство, собирается уходить, Ирина Игнатьевна говорит:

— Опустите, пожалуйста, мое письмо.

Кому она так часто пишет? На конверте — почтовое отделение Ванино. Далекий край! Кто у нее там?

Во время работы редко выдается тихая минута. Уколы камфары, ингаляция, банки! Не забыть — у Волковой пролежни, вот он, круг, сейчас положу. А Борю Валетова уже можно поднимать. Взглянуть в тетрадку назначений: не забыла ли чего? Ирина Игнатьевна опять у окна, смотрит на своих ребят. У нее темные волосы, мальчишеская стрижка, смех прерывистый, похожий на покашливание.

Сейчас осень, дожди. Если выдается сухой, теплый день, Ирине Игнатьевне разрешают спуститься в сад, и тогда уж Саша выглядывает в окно, чтоб посмотреть, как она со своими мальчиками сидит на скамейке под толстым кленом.

Иногда к этой скамейке под кленом приходит видимо-невидимо мальчишек лет по пятнадцати. Ирина Игнатьевна преподает литературу в девятых и десятых классах. Она спускается к мальчикам в сад и подолгу с ними разговаривает, и Саше очень жалко, что она не слышит этих разговоров.

Однажды заболела сестра, которая должна была дежурить ночью. Позвонили Прохоровой и еще другой сестре — их не оказалось дома.

— Придется вам, Саша, остаться на ночь, — сказала старшая сестра.

Саше очень хотелось домой: приехал Леша. Но делать нечего, пришлось остаться. Часам к девяти вечера все понемногу уgomонились. Вышла из седьмой палаты Ирина Игнатьевна с полотенцем через плечо и присела на стул рядом с Сашиним столиком. Вышел из первой палаты Толя и тоже остановился около Саши.

— Ты почему не спишь?

— А вы забыли, Александра Константиновна... Мне завтра выписываться.

— Как же я могла забыть? Я помню. И радуюсь за тебя.

— Чего я хотел сказать, Александра Константиновна...

— Да, Толя?

— Ну, в общем... передавайте привет своим девочкам. И вообще я, может, вам письмо напишу. А если что, приезжайте в отпуск. У нас сад и яблоки — антоновка. Приедете?

— А ты что думаешь? Может статься — и приеду. Чего не бывает на свете! Прихватчу Анюту с Катей и приеду.

— Вы смеетесь, а я вправду приглашаю. И отец пишет — скажи доктору Дмитрию Ивановичу... Ну и Александре Константиновне... Сколько же я здесь пробыл... И привык, верно ведь?

Ирина Игнатьевна внимательно смотрит на Толю, потом встает и уходит. Толя садится на освободившийся стул и молчит. Совсем недавно он был такой многословный, такой красноречивый, он сидел рядом с Сашей или ходил за ней из палаты в палату и болтал, болтал обо всем на свете. А сейчас молчит. Потом встает и нехотя, медленно, словно раздумывая — не вернуться ли, уходит к себе. Саша проходит по палатам, а возвратившись, видит у своего стола Ирину Игнатьевну, которую она про себя давно уже зовет просто Ириной.

— Спать, больная, спать! — деловито говорит Саша.

— Не хочу! И вы не хотите, чтоб я ушла.

Она сидит, откинувшись на спинку стула, и задумчиво смотрит на зеленый абажур Сашиной лампы.

— Я подумала: может, я мешаю ему? И ушла. Он заговорил после моего ухода?

— Нет. Мы просто очень содержательно помолчали.

— Я иногда думаю, что людям мешает говорить? Ведь он хотел сказать: я полюбил вас, Александра Константиновна. Я никогда вас не забуду. Он знает все эти слова, но он не мог их вымолвить. Почему?

— Эти слова не так-то легко произносить. Я его понимаю.

— А я нет. То есть я понимаю, отчего возник страх перед словами. Говорят, что медузы бывают очень красивые и переливчатые, пока не возьмешь их в руки. Вот то же самое и со словами. Многие слова страшно затерты и захватаны. И поэтому приземляют самое высокое. Только меня этот страх не загипнотизировал.

— И вы говорите «эти слова» не заикаясь? Легко?

— Я обречена их писать. Не говорить, а писать. И это гораздо труднее.

Если бы Саша не боялась слов, она бы сказала, как говорят в детстве, как она сказала когда-то Юле: давайте дружить.

Ирина сидит в синем больничном халате, на ногах у нее огромные больничные тапочки. Не надо удивляться тому, что она говорит. Надо только представить себе, что этот длинный, тускло освещенный коридор — купе ночного вагона. Поезд мчится, все пассажиры спят, а они вдвоем разговаривают так, будто никогда больше не увидят друг друга.

— Его взяли в тридцать восьмом, — говорит Ирина. — Скоро десять лет, как мы в разлуке. Через год он будет

на свободе, и я поеду к нему. А пока я пишу. Писать очень трудно. Когда говоришь, важен совсем не точный смысл слова, и никто не думает, не взвешивает, можно ли этим словам верить навеки, но каждый знает, что сейчас они правда. А когда пишешь... Когда пишешь, каждое слово требует, чтоб с ним обращались с умом.

Она говорит так открыто и бесстрашно, — Саша и не думала, что можно так говорить. Ее голос звучит как эхо Сашиной мысли:

— Не удивляйтесь тому, что я говорю, престо представим себе, что мы едем в поезде и больше никогда не увидимся. Тем более что мой поезд мчится невесть куда, и если я не соскочу на ходу...

— Об этом не надо.

— Ладно. Не надо. Но вот что я хочу вам сказать. Когда его взяли, меня вызвали к следователю и показали мне пачку писем — его писем к другой женщине. Я прочла только одно — больше не надо было. Я думала, что умру. Что было делать? Что бы вы сделали на моем месте?

Саша думает: я бы умерла. Но отвечает:

— Не знаю.

— Мне казалось, я знаю его как себя. Я думала, мне в этой душе все открыто, все ясно. И вдруг... Не смотрите так, это прошло. Вы ведь видите, что прошло. Я все эти годы писала туда, а сейчас решилась на операцию, чтоб быть здоровой и приехать к нему человеком, не обузой.

— Вы... все забыли?

— Забыла? Вот видите, рассказываю, значит, помню. Но я видела по его письмам, что он любит и мучается. Конечно, что-то живое во мне тогда умерло, но я тоже люблю. Меня только мучает, что я не могу ему этого сказать, меня мучают письма — и его и мои. Мне бы увидеть его хоть на минуту, и тогда бы я все поняла про него. И про себя.

Она умолкает. Саша тоже молчит, ждет.

— В романе у одного француза рассказана вот такая история. Муж героини уехал по делам, привычный уклад нарушен — не очень, может быть, интересный, но уже милый сердцу. И ей кажется, что она в любом случае и по любому поводу знает точно, что ее муж подумает, почувствует, скажет. И тут на глаза попадает забытый ключ от всегда запертого письменного стола. Она не удержалась, открыла ящик, а там хранится целая вторая жизнь, скрытая от нее, — незаконная дочь, любовная драма, тяжба о наследстве и прочее. Сначала она в негодовании, отчаянии, а потом начинает вспоминать всю свою жизнь — и убеждается, что у нее тоже есть свой «тайный сад» и она не имеет права упрекать мужа. Пусть по-прежнему обычная, будничная жизнь течет своим чередом, все в ней будет размеренно, до мелочей знакомо и привычно, а «тайный сад» цветет дурманом и маком в душе каждого человека, — да, кажется, так: дурманом и маком, — и трогать этот сад нельзя. Что вы на это скажете?

— Если называть тайным садом внутреннюю жизнь, то он есть у каждого. Но если это то, что непременно надо скрыть от самого близкого человека...

— У вас этого нет?

Саша помедлила.

— Боюсь, мой «тайный сад» никому не интересен, кроме меня, — сказала она. — В нем не растут ни дурман, ни маки. Так, какие-то очень простые цветы, одуванчики, что ли.

— Вы скрытная?

— Пожалуй.

— А я была очень открытым человеком. Но с тех пор, как я прочитала то, не мне адресованное письмо... что-то сломалось. И отношения с людьми становятся все

более внешними, а душевная моя жизнь скрыта, и я, пожалуй, сама не всегда знаю, какие там цветут растения. Теперь я много молчу. Мне легко в классе, с детьми. Раньше я преподавала в вузе, но потом меня, конечно, уволили. И никуда решительно не брали. Я поняла, что пропаду. Подумала-подумала и махнула в Сибирь, в Заозерье, стала преподавать в пединституте. А про мужа ничего в анкете не написала. Скрыла. Если бы вы знали, как трудно было молчать. Я ничего не могла с собою поделывать, мне надо было поговорить. И о себе рассказать, и другого послушать. Чтоб вокруг были люди. Без людей трудно. Может, и рыба привыкает к кипяченой воде. Но ведь и рыба иногда мечется в поисках свежего глотка. У меня были прямо-таки приступы тоски по человеку. И вот я очень подружилась с одним студентом. Он был уже на последнем курсе. Мы много разговаривали, читали стихи. И однажды я ему все рассказала. Вот — сказалось. Сорвалось с губ. Ну, а он... сообщил директору. Выполнил свой долг. Через несколько дней — приказ: уволили за сокрытие. Дорого мне достался свежий глоток. Я вернулась в Москву. Спасибо, из Москвы не выслали. Повезло. И еще раз повезло: меня на свой страх и риск взяла к себе в школу одна замечательная женщина. Не побоялась. И отстояла меня во всех инстанциях. Вот еще с ней мне легко говорить. И с вами! Я давно вас выбрала.

Она улыбнулась Саше. И, встретив этот пристальный синий взгляд, Саша сказала:

— Спасибо.

...Когда она легла, Саша обошла все свои палаты, потом заглянула в седьмую. Подошла к Ирине и провела рукой по ее щеке, будто это была Анюта или Катя.

— Не жалейте о том, что рассказали мне, хорошо?

— Зачем же?

— Бывает. Расскажет человек, а потом пожалеет. Не жалейте.

— Не буду.

...Вот уже полтора часа, как идет операция. Она продлится, наверно, еще час. Внизу, окаменев, ждут два мальчика. Есть ли на свете мука тяжелей ожидания? Все заняты, все что-то делают, а ты жди, и мучайся, и готовься к худшему. Они пришли с книжкой, но какое уж тут чтение. Застыв, смотрят перед собой. Вчера они сидели с матерью в саду до самого вечера. Она простилась с ними, поднялась на крыльцо и вдруг позвала:

— Погодите! Я хочу еще раз на вас посмотреть.

И они вернулись. Саша не могла забыть этих лиц и глаз.

Теперь она ждет сигнала, когда можно ехать за Ириной. Девушку, которой оперировали щитовидную железу, уже давно привезли, она сидит, распластавшись на высоких подушках. Ее оперировал Аверин, все хорошо.

А та операция еще длится. Саша спускается вниз, надевает маску и заходит в операционную.

— Зажим! На бронх! — слышит она голос Дмитрия Ивановича. Не поворачиваясь, он протягивает руку и берет зажим. Не оборачиваясь, каким-то боковым зрением, Королев видит Сашу и говорит:

— Я хотел оставить хоть несколько сегментов, не вышло. Все легкое поражено.

Рука Ирины беспомощно лежит вверх ладонью, будто прося. Запрокинутое спящее лицо безмятежно.

— Готовьте каталку, — кидает Королев Саше. Кровать на колесах уже давно готова. На белой простыне грелки — синяя, красная, зеленая.

Люба, сестра, которая дежурит сегодня вместе с Сашей, открывает дверь операционной и вкатывает туда кровать.

Шов как кривой частокол. Обнаженное тело перекалывают на теплые простыни. Осторожно. Тише! Укрыть. Грелки к ногам. Лифт поднимает их наверх, и Саша подкатывает кровать к палате. В дверях столпились больные — и те, у кого операция позади, и те, кто только ждет ее.

Глаза сочувственные — ах ты бедная! Глаза жадно любопытные, глаза испуганные — и со мной так же будет?

Взглядом, движением руки Саша просит отойти. Несмотря, медленно больные расходятся. Ирина спит. Саша подносит ладонь к ее губам — не дышит! Нет, дышит, дышит: тепло дыхания как прикосновение теплого ветра. Ее первые слова:

— Мальчикам... сказать... мальчикам... Мальчики ждут... Устала, — говорит она. — Уходилась...

Она засыпает и просыпается, она тихо стонет в забытьи. Саша дежурит вместе с Любой. Они привыкли друг к другу и действуют как один человек, понимая все с полувзгляда. Сегодня, кроме Ирины, еще двое после операции. Всем нужно неусыпное внимание, всем троим плохо. Но хуже всех Ирине. Надо следить за кислородными трубочками, следить, чтоб не отказала система переливания крови: неслышно капает из стеклянного баллончика кровь. Через стеклянную трубку, которая соединяет две резиновые, видно, как по капле, без стука, неслышно капает кровь.

Потом надо будет ввести в эту исколотую, измученную руку хлористый кальций. Потом...

Саша опомнилась, только когда пришла смена: Прохорова, ночная сестра. Саша сдает ей дежурство и... остается.

— Что ж не уходите? — спрашивает Прохорова. — Или дома делать нечего? Сидите, мне же лучше.

Саша остается. Ночь полна стонов, тихого бормотанья, жалоб, тоски. Скрипят полы в коридоре, за окном качается на ветру фонарь.

Когда Ирина в сознании? Когда бредит?

— Хотите, я прочту вам мои стихи? — говорит она.

— Не надо. Вы устанете.

— Нет, послушайте. Дайте руку. Как же там было...

*И когда в одинокий полуночный час
Задрожит в испуге и погаснет свеча,
Ты в последней нахлынувшей темноте
Подведешь тихонько итоги потерь,
Улыбнешься, как равный, в лицо судьбе,
Ляжешь — и руки начнут слабеть.*

Она умолкает, обессилев. И потом в забытьи говорит:

— Есть где-то на земле город... Там все по-прежнему... как в детстве... Я еще вернусь туда. И увижу свой дом. И печку, за которой мы шептались... — Открыла глаза, взглянула: — Саша, это вы? У меня в тумбочке тетрадка. Когда-нибудь отдадите ему... Когда-нибудь... Или... когда подрастут дети...

Есть ночью в больнице такой предрассветный час, незадолго до пробудки, — становится совсем тихо. Все уснули. Не скрипят полы. Не стонет больной из второй палаты — затих. Не кашляет старик из восьмой. Почему-то становится зябко и так клонит ко сну, что кажется, сейчас уронишь голову на руки и тотчас уснешь.

И вдруг за стеклом двери темный силуэт. Дверь тихо отворяет чья-то рука: доктор Королев.

— Саша, сейчас в ординаторскую звонил Дмитрий Александрович. Он едет из редакции домой и заедет за вами. Не спорьте. Я останусь тут. Я не уйду. Спускайтесь. Пospите. День будет трудный.

Саша тихо бредет по лестнице, по саду к проходной, на улицу. Ветер холодный, пронзительный. Качаются и скрипят деревья, качаются фонари. Почему, когда не выспишься, еще холоднее? Что-то есть славное в этом осеннем ветре — непокорство, свежесть, напор. На улице уже стоит машина.

Саша садится рядом с Митей и, уткнувшись лицом в его плечо, засыпает.

И снова утро. Саша открывает дверь больницы и видит мальчиков. Лица у них отчаянные.

— Что? — спрашивает она.

— Мы не знаем, — отвечает старший. — Никто ничего не говорит. Может быть, ей хуже?

Не дожидаясь лифта, Саша летит наверх — скорее, скорее, через две ступеньки, через три, скорее!

— Дмитрий Иванович! — начинает она и, задохнувшись, умолкает: обрывается и падает сердце...

— Мальчики здесь? — спрашивает Королев. У него тяжелое лицо, тяжелые глаза, запекшиеся сухие губы.

— Да. Я их видела. Я им скажу. Сейчас спущусь и скажу.

— Нет. Я сам.

...Это случилось только что. Она опоздала на какие-нибудь двадцать минут. Ирина лежит за ширмой укрытая простыней. Саша поднимает уголок простыни и видит спокойный лоб, спокойные уснувшие губы и тихие ресницы в полщеки. «Уходилась», — вспоминает она.

Митя называет свою работу — проклятая. Нет, это ее, Сашино, дело проклятое, безутешное. И она спрашивает себя о том, о чем всегда думают у гроба живые: где ты теперь? Слышишь ли? Куда же оно ушло — все, что было живо еще вчера, еще минуту назад — твоя мысль, твое горе, твоя любовь. Разве можно понять, что всего этого больше нет...

— Очумел! Очумел! — говорит Анисья Матвеевна. — Не один ты работаешь, все нынче работают! Подумаешь, он один на свете работает! Есть люди не глупее тебя, а спят! И дело делают! Нет такого закона, чтобы не есть и не спать.

Она говорила правду: Митя работал днями, ночами, будто наверстывая упущенное. Он и раньше, бывало, поздно приходил из редакции, но теперь он там дневал и ночевал. Приходя домой, взглянув на спящих детей и поужинав, он снова садился за письменный стол и принимался за неоконченную статью.

— Саша, — будил он ее иногда, — вот послушай, прошу тебя, ну, проснись, проснись и послушай. Мне очень надо понять: получилось?

И, присев на край дивана, читал.

— Нет, тогда уж сначала, я по кускам не понимаю, — говорила Саша и принималась слушать.

Она слушала хорошо и хорошо понимала. Она вдруг говорила что-нибудь такое, что заставляло его снова сесть к столу и все перечеркнуть.

— Митя, описание картины здесь совсем лишнее.

— Это почему?

— Ну вот поверь. Ну, посуди сам: ты говоришь, как уютно было у них в комнате, как беззаботно и друже-

любно велась беседа, а потом описываешь эту картину, как это у тебя там: «Скачут всадники, у одного замкнутое, недоброе лицо и коварная улыбка на губах», — и ощущение покоя, дружелюбия исчезает, нет его...

— Что-то больно сложно, — сердито говорил Митя. — Я ровно ничего не могу понять.

Однако понимал отлично и, если не очень уставал, переписывал все заново.

— Ты, конечно, не журналистка, — говорил он, — но в тебе что-то есть. Здравый смысл, что ли. Что-то ты в нашем деле понимаешь...

Иногда ночью он звонил из редакции:

— Ты еще не спишь? Встреть меня, пройдемся.

И она шла, чтобы встретиться с ним на углу переулка, и они еще долго бродили и разговаривали.

— Саша, — спросил Поливанов однажды, — тебе нравится, как пишет Лаврентьева?

Саша минуту подумала.

— Нет.

— Почему?

— Ее статьи... Они... как бы тебе сказать... Они заранее разрешенные. Они обречены на успех.

— Это несочетаемо — «обречены» и «успех». Сразу видно, что ты не журналистка.

— Если ты журналист, ты должен понимать: чем несоединимее слова, тем интереснее их соединить. Твоя газета тем и плоха, что, прочитав одно слово, знаешь, какое следующее. Если Грузия, то солнечная, если боец, то доблестный, если...

— Я понимаю, просто я дразню тебя. Ну, а кто из очеркистов, по-твоему, настоящий?

— В твоей газете?

— Нет. Вообще.

— Овечкин. Он продирается через все с чем-то своим, самым главным. У него сердце болит. Это сразу слышишь, когда читаешь. И он заставляет думать...

— Думать... Да. Ох, не любил я прежде думать. Только война и заставила шевелить мозгами.

Митя подолгу рылся в ежедневной почте отдела писем. Он отыскивал какое-нибудь письмо, которое словно взывало: скорее! Не медли! На помощь! — и тотчас ехал — на Урал, на Украину, в Сибирь — по случаям, которые многим казались пустяковыми.

Потом он возвращался из командировки, писал статью, и почти всегда начиналась баталия. Он рассказывал в своей статье десятую долю того, что хотел бы рассказать, но и эту десятую редактор встречал в штыки. Вот Голубинский едет в колхоз-миллионер, пишет роскошный очерк о молочных реках и кисельных берегах, его печатают, хвалят, и все в порядке. На черта мне, в самом-то деле... И тотчас вспоминал избу на Тамбовщине, земляной пол и дырявую соломенную крышу. Он хочет писать про это. Он не герой, не какой-нибудь Гарибальди, он просто честный журналист, почему он должен врать? А ты не ври, ты просто пиши про другое. Нет, иногда молчать — тоже вранье. А у него и без того уже немало накопилось всякого молчания. Он ездит, видит. Все виденное хочет прорваться на газетную страницу, но есть вещи, о которых он и сам знает: надо закопать поглубже, никакой, самой далекой надежды нет на то, чтоб сказать это вслух.

Поливанов часто вспоминал полутемный вагончик, в котором он ехал из Сосьвы в Свердловск. Поезд подолгу тосковал на каких-то полустанках, а когда наконец трогался, все начинало греметь и лязгать. За окном бесилась уральская метель. Снег сыпал не сверху, а мчался

навстречу поезду, и в окошке ничего, кроме этой белой кутерьмы, не было видно.

Шел третий час ночи. Пассажиры спали сидя, лечь могли только счастливы, захватившие вторые и третьи полки. Поливанов не спал и силился рассмотреть сидевшего напротив человека в треухе. От него веяло непокоем. Он сидел молча, но видно было — ему до смерти хочется поговорить. Он вздыхал, покашливал, надолго прикивал к окну.

— Зимно... — не вытерпел он наконец и послушал: не откликнется ли Поливанов.

— Да, февраль...

— Ты откуда?

— Из Сосьвы.

— И я из Сосьвы. На поминках был. Полдня пили. Дружок мой мал-маленько справился и женщину хорошую нашел, расписался и в одночасье помер. Сердца разрыв. Теперь она одна осталась. У нее своих двое и его двое — всего четверо. А дом старый, того и гляди завалится. И как она справляться будет? А ты далеко ль?

— В Свердловск. Потом в Челябинск, Магнитку.

— Магнитку... ха! Какое я дело в Магнитке сотворил! Не поверишь! Из лагерей я. Выпустили, а кто меня такого возьмет? Кому я такой, спроси, нужен? Мотался я, мотался, цельный год мотался, вижу — не миновать обратно в лагерь, нету другой пути. И вот в Магнитке, дай ему Бог здоровье, один нашелся, научил: дали в милицию три сотни, и вот паспорт, нет, ты подумай, — новенький, гладенький и безо всяких пометок — чистый, как слезка.

— Зачем болтаешь? Помалкивай.

— Знаю, знаю. Но нет моих сил, радость какая. Я сейчас в Миас подамся, своих заберу — жену и мальчонку, и

поминай как звали! Мало ли на Урале городов, а? Или, скажем, в Сибири. У меня братан под Иркутском.

— Лучше в такой город, где никто тебя не знает.

— Вот я и говорю, лучше, чтоб ни одна душа... Да ведь куда ни приедешь — спросят: откуда, мол?

Он умолк, насторожившись. На верхней полке кто-то пошевелился, и молодой женский голос негромко и протяжно произнес:

— Прячься не прячься — все равно найдут.

Поливанов, не видя, ощутил, какой смертный испуг лег на лицо соседа. Хмель с него как рукой сняло.

— Что спьяну не наплетешь... — пробормотал он. — Чего я тебе тут брехал? Ох, зелье проклятое.

Он встал и, перешагивая через чьи-то ноги, спотыкаясь о мешки и корзины, пошел вдоль вагона. Доверил ли он себя и свой драгоценный паспорт темени другого вагона? Или спрыгнул на ходу в ночную метель? Побрел до ближайшего полустанка или заночует в лесу?

— Черт бы вас побрал, сударыня, — сказал Поливанов, — простите, не имею чести вас знать, зачем вы это сделали?

Ему не ответили. А утром женщина ловко, никого не задев, спрыгнула с полки. На ней были аккуратные бурки и новенький коричневый полушубок. Круглолицая, румяная. Густые черные брови над прозрачными серыми глазами. Ей было лет двадцать пять.

— Зачем вы это сделали? — спросил он снова.

— Захотела и сделала. Надоело дрожать мелкой дрожью.

— И вы решили отточить свое мужество на загнанном, смертельно испуганном человеке?

Они шепотом кричали друг на друга, будто спеша выложить друг другу все, что накопилось за долгие годы тя-

желого, сварливого брака. А вокруг просыпались, зевали, гремели кружками, шуршали бумагой, разворачивая съестное.

— Ну, чего дорогу загородили?

— Дай чайник поставить. Плеснуть тебе кипяточку?

— Братцы, соль забыл. У кого есть?

Она взяла с верхней полки рюкзак, вынула из бокового кармана несессер и полотенце. Рюкзак был зеленый, замшевый. Все в нем было толково прилажено: его можно было надеть на плечи, можно было, как сумку, нести в руках. Он был бы очень уместен в Москве. Но как дико он выглядел здесь. Отвернувшись от Поливанова, девушка снова кинула рюкзак вверх и пошла умываться.

Потертые шубейки, засаленные ватники, выдавшие виды полушубки. Валенки в заплатках, разбитые на многих дорогах башмаки. Кованые сундучки, плетеные корзинки, неуклюжие брезентовые заплечные мешки... И ее зеленый замшевый рюкзак. Аккуратные бурки, заграничный полушубок... Несессер на сверкающей молнии. Запах дорогого мыла... Ее московская речь. Все это было не к месту. Из другой жизни. Гм... Рюкзак большой, а пуст. Она в нем что-то везла и ношу свою где-то оставила.

Она вернулась, мельком взглянула на него злыми белыми глазами. На лавке потеснились, она села на краю и принялась глядеть в окно. И он вдруг понял, что она недаром попала сюда в своей городской одежде, в эти места, где на несколько километров тянется колючая проволока. Что и у нее, как и у ночного соседа, есть какая-то своя жестокая забота. Она, как и он, тоже боялась и говорила сейчас наперекор страху, наперекор отчаянию.

Он встал, подал ей кружку с кипятком и тихо произнес:

— Простите меня.

Она опустила плечи, как будто, попросив прощения, он лишил ее единственного оружия.

— Вы ездили на свидание? — спросил он одними губами.

— К маме, — ответила она, отвернувшись. И не сказала больше ни слова.

Они приехали в Свердловск после полудня. Он снял с полки диковинный рюкзак и приладил его ей на плечи. Рюкзак был легкий, почти пустой. Они вместе вышли, и она, все так же не глядя, поспешно простилась:

— Спасибо, не надо, не провожайте, — и тотчас затерялась в толпе.

Он спрашивал себя: как это он не догадался сразу? У него бывали такие встречи и раньше в этих краях. И они будили в нем мысли, давно уже лежавшие где-то в мозгу неподвижным клубком. Он не распутывал этого клубка. Не хотел. А клубок становился все тяжелее, с каждой поездкой.

Если есть в жизни огромные пласты, которых нельзя касаться, стоит ли вообще писать? Если нельзя писать обо всем и всю правду — стоит ли писать о чем бы то ни было? Стоит ли пробиваться на газетную страницу с той каплей правды, которую разрешит тебе твой редактор? Будем справедливы, Поливанов, дело не только в трусости твоего редактора, хотя он, конечно, трус и больше всего на свете дорожит своим местом. Так вот, стоит ли биться на своем жалком пяточке, если это ровно ничего не изменит?

Но он знал: это говорит в нем трусливая, усталая сторона души... И он уже давно сказал себе: все, что в твоих силах, — делай.

— Саша, помажь-ка его йодом!

Митя держал за плечо мальчишку лет двенадцати. Руки, шея, все лицо у мальчишки было в глубоких царапинах. По правой щеке от виска до подбородка ползли струйки крови. Он то и дело отирал щеку и подбородок рукавом синей рубашки — и не успевал. Кровь капала со лба, заливая ему глаза.

— Йодом! Его перевязать надо с ног до головы! Где тебя так изукрасили? — говоря это, Саша быстро приготовила раствор марганца и промыла мальчику лицо и руки. — Можешь кричать, — сказала она. — Больно же.

Но он молчал. Он молчал, когда на него вылили целый пузырек йоду.

Саша расстегнула ему у ворота рубашку и увидела на голой груди синие полосы, как на тельняшке. Она быстро застегнула пуговицу, сделав вид, что ничего не заметила.

— Ну, слава Богу, шея и грудь целы! — сказала она.

— Это его мальчишки так, — сказала Аня неуверенно.

— Нет, так мальчишки не дерутся. Это что-то другое, — сказал Митя. Ну, — он поставил мальчишку меж колен и приблизил глаза к его изуродованному лицу, — ну, давай начистоту: что с тобой приключилось?

— Его зовут Женья, — промолвила Аня, словно это что-нибудь объясняло.

— Ладно, оставим его в покое. Давайте попьем чайку и вообще поразвлечемся. Согласен?

Он молча кивнул.

— Тебя отведет Дмитрий Александрович. И поговорит с твоей мамой, — сказала Саша.

Он опять не ответил, но так шевельнул бровями, что Саша поняла: разговор будет не из легких.

А Митя между тем открыл Андерсена и стал вслух читать «Русалочку». Саша насторожилась, она знала, что это затея небезопасная. Дети слушали вовсю, всеми потрохами: Катя, Анюта, исцарапанный мальчишка. Катя сидела вытаращив глаза и полуоткрыв рот, Анюта, как всегда, слушала забравшись на стул с ногами и опершись щекой на руку.

— «Знай также, — продолжала ведьма, — что, если ты примешь человеческий образ, тебе уже не быть русалкой никогда... И если принц не полюбит тебя так, что ради тебя забудет отца и мать... ты не обретешь бессмертной души».

— Зачем это забывать отца и мать? — говорит Катя. — Я вас никогда не забуду.

— Не мешай, — говорит Митя и продолжает читать: «Если же принц возьмет в жены другую, то на первой же заре после их брака сердце твое разорвется на части, и ты превратишься в морскую пену...» — «Пусть», — проговорила Русалочка и побледнела как смерть.

Не успел Митя дойти до этих слов, как случилось то, чего ждала Саша. Катя заплакала и закричала:

— Зачем ты читаешь такую книжку? Такую злую книжку?

— Если ты будешь вопить, я больше не стану читать, — сердито говорит Митя.

— А я и не хочу слушать про таких ведьм!

— Тогда убирайся! — подает голос Анисья Матвеевна.

— Я не хочу убираться.

— Тогда слушай.

И Митя беспощадно продолжал, а Катя слушала, мучаясь и страдая, как Русалочка выпила огненный напиток и упала замертво. Как потом с каждым ее шагом ей чудилось, будто она наступает на иглы или острые ножи. С трудом, под Катины вопли, Митя перевалил через же-

нитьбу принца и добрался наконец до воздушных созданий, которые обещали Русалочке бессмертную душу.

— «У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они сами могут заслужить ее себе добрыми делами, — читал он. — Триста лет мы посильно делаем добро, а потом получаем в награду бессмертную душу...»

— Триста лет очень долго, — плача, говорит Катя.

— Твое пожелание учтено, слушай... «Может быть, и раньше! — прошептала одна из дочерей воздуха. — Невидимыми влетаем мы в жилища людей, где есть дети, — слушай, Катерина! — и если находим там доброе, послушное дитя, которое радуется своих родителей и достойно их любви, то улыбаемся, — и срок нашего испытания сокращается... — из нашего трехсотлетнего срока вычитается год. Если же мы встречаем злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, — и каждая слеза прибавляет лишний день к долгому сроку нашего испытания».

— Брехня! — сказал Женя.

— Ну вас всех в болото! — с сердцем сказал Митя. — Вам читать — это просто каторжный труд, какая-то казнь египетская. Вместо того чтобы слушать и наслаждаться...

— Митя, — неожиданно перебивает Аня, — «Ганс» — это немецкое имя?

— Немецкое.

— А как же тогда Ганс Христиан Андерсен? — испуганно спрашивает она.

— Слушай, Аня, опять ты развиваешь свою порочную идею. Сколько раз я тебе объяснял, что немец и фашист это не одно и то же.

— Андерсен — датчанин. Есть такая очень хорошая маленькая страна Дания, — отзывается Саша, понимая, что отдать Ганса Христиана немцам Аня не может.

— Эх, — говорит Анисья Матвеевна, собирая со стола грязную посуду, — ни один мужик того не стоит, чтоб из-за него отца и мать забыть, и голосу лишиться, и ходить как по раскаленным углям, да еще триста лет без толку по свету мотаться!

— Неожиданный какой вывод! — говорит Митя. — Не того добивался Ганс Христиан Андерсен, когда писал свою бессмертную сказку. Почему ты смеешься, Саша? Вы все реалисты, и я больше вам сказок читать не буду, у вас нет воображенья.

— У меня есть воображенье! — говорит Катя, которая не терпит, чтоб у нее не было чего-то, что есть у других.

Дзинь... Дзинь...

Два звонка, значит, к Поливановым. Саша открыла дверь. На лестничной площадке стоял Женя. Он держал шапку в руках, волосы у него были причесаны на косой пробор, а башмаки начищены до блеска.

— Что случилось? — спросила Саша. Глаза его смотрели растерянно, он переступал с ноги на ногу и молчал. И в ту же минуту Саша поняла, что вопрос ее груб, неуместен: человек просто пришел в гости. — Проходи, проходи в комнату! — бодро сказала Саша, стараясь замять неловкость. — Девочек нет, но они скоро придут.

Он разделся в коридоре, повесил пальто на поливановский крючок, видимо, заметил его еще с прошлого раза. Потом вошел в комнату и сел на то место, где сидел, слушая Митино чтение. На лбу и на руках царапины подсохли, кое-где зажили, но через всю щеку от виска к подбородку вилась причудливая царапина, уже покрыв-

шаяся корочкой. От виска она шла к носу, но там, сделав крутой поворот, стремительно бежала к уху, а от уха через шею — к губам.

И Саша, не удержавшись, опять спросила:

— Слушай, кто тебя так изукрасил?

Женя огляделся, встал, приоткрыл дверь в коридор, потом в соседнюю комнату.

— Это секрет, — сказал он.

— Я никому не скажу.

— Поклянись.

— Клянусь.

— Нет, надо как следует.

— Черт меня раздери на тонкие полоски, — сказала Саша.

Он посмотрел на нее с уважением и, еще раз оглянувшись, таинственно сказал:

— Кошку душил.

— Зачем?

— Выпало такое испытание. И все. Если вы кому скажете...

— А тельняшку на груди зачем нарисовал?

— Моя кличка «Моряк». Если вы...

Отворилась дверь, и вошла Анисья Матвеевна.

— Ну, чего пожаловал? — сказала она с порога.

— Он в гости пришел, — откликнулась Саша.

— В гости!! Скажет тоже! Повадился на наш двор, со всеми дерется, беспорядок устраивает, а теперь в гости.

Женя даже бровью не повел, он неотрывно смотрел на Сашу.

— Я его пригласила! — сказала Саша, и Женя вздохнул с облегчением.

Он стал приходить почти каждый день. И Поливанов даже спросил Сашу:

— Он решил у нас навеки поселиться?

Они вместе с Анютой делали уроки, вместе лепили на дворе снежную бабу, и Женя довольно мужественно сносил крик мальчишек про жениха и невесту. Он кому-то пообещал съездить по уху, кому-то съездил. Ребята не сразу сдались, они еще долго дразнили Женю, особенно когда выяснилось, что они с Анютой поджидают друг друга по пути в школу. Но потом умолкли: во дворе появился парень, которого мама обряжала в гольфы, и все страсти перекинулись на него.

— Гога! — кричали ему. — Гогочка!

Саша пыталась как-то вернуться к разговору о кошке, которую зачем-то надо было душить.

— И не страшно тебе было? Не жалко?

Но Женя хмуρο ответил:

— И так уж я вам проболтался. Но теперь — все!

Саша оставила его в покое и больше расспрашивать не стала, твердо зная, что рано или поздно все выяснится — или нечаянно, или сам скажет. Нет ничего тайного, что не стало бы явным!

Женя был человеком во многих отношениях примечательным. У него было две макушки. Он умел шевелить ушами. Он был бесстрашен, не то что соседский Алик, который боялся собак, боялся входить в темную комнату и ревел по всякому поводу, как девочка.

Алик не умел придумывать игры. Женя каждый день придумывал что-нибудь новое. Они с Анютой сочинили тайную азбуку. Они вылепили из пластилина целую страну — людей, слона, верблюда, а из картона и Катькиных кубиков построили дома. Как назвать страну — долго не думали, просто взяли название из книжки: Синегория. Анисья Матвеевна ругалась, однажды она разорила Синегорию. Аня редела, а Женя стоял молча, крепко стиснув зубы.

Пришел Митя, навел порядок, велел собирать спичечные коробки, обещал построить из них городскую стену, и дома, и еще много всякого.

Однажды Женя сообщил, что они в школе писали сочинение и он получил двойку.

— Ох, мать мне и задаст! — сказал он.

Вид у него был независимый. Но Саша все-таки подумала, что он, пожалуй, был бы рад защите.

Саша раскрыла тетрадку с сочинением и прочла: «Что бы ты сделал, если бы тебе было все позволено?» Если б мне было все позволено, я бы на переменах учился, а на уроках стоял на голове. Я бы днем спал, а ночью веселился. Я бы «здравствуй» никому не говорил и «пожалуйста» тоже. Я бы в трамвае места старшим не уступал, и плевал бы не в урну, а на мостовую. Если б мне было все дозволено, я бы взрослым говорил «ты», а ребятам «вы». Я в кино ходил бы бесплатно. В лагере я не спал бы в тихий час, купался бы с утра до вечера и с вечера до утра, я бы не ходил в кружки, а когда бы в класс входил учитель, я бы не вставал. Но если бы да кабы — во рту выросли грибы. На этом кончаю рассказ «Что бы я стал делать, если бы мне все было разрешено, что я хочу».

— Ну и ну! — сказал Поливанов. — Завоспитали тебя до смерти!

— Очень учительница рассердилась? — спросила Саша.

— У-у! Ты, говорит, хулиган. Пускай мать придет в школу, это, говорит, не сочинение, а насмешка.

— А разве нет? Конечно, насмешка, — сказала Саша. — Но вот что мы сделаем: мы сейчас снова напишем сочинение — ты и Анюта. Только чур, писать про то, чего и вправду очень хочешь. Давайте садитесь!

Анюта не мигая глядела на лампу под круглым зеленым абажуром. Руки ее праздно лежали на коленях. О чем она думала, что видела?

Женя начал писать, едва открыв тетрадь на чистой странице. Светлые волосы торчком стояли на обеих макушках. Уши горели, всегда бледные щеки зарумянились. Катя сидит тут же. Она сидит на полу, строит дом из кубиков и пробует слова на вкус.

— Снегирь... — шепчет она, — снегирь... а дети его снегирьки, снегурки... Дочь снегиря — снегурка... снегурочка... Папа, ты читаешь, но я хочу тебя спросить...

— Спрашивай.

— Что такое циркуль?

— Это такой инструмент, помогает рисовать круги.

— Так это блюдо! Почему ты смеешься? Папа, мама, давайте играть в домино. Если я проиграю, то не буду жадиной и ябедой. А если вы проиграете, то купите нам с Аней полпуда конфет и тысячу порций мороженого.

— Катька, помолчи, — говорит Аня, — мама, а можно, я другое сочинение напишу? Я хочу написать сочинение «Что бы я делала, если бы я была невидимка». Можно?

Саша кивает, и Аня склоняется над тетрадью.

— Что ты читаешь? — спрашивает Саша, заглядывая в Митину книгу.

— Это новая повесть Голубинского «Широкие дали».

— И как?

— Скучновато. Мне в этой повести не хватает освежающего дыхания отрицательного героя.

— Гм... Тут есть какая-то загадка. Ведь, в сущности, зачем человеку недостатки? Ведь они его не красят. Но в «Трех мушкетерах» я Атоса люблю, он такой шалый и выпивает, а в остальных частях только и делает, что проносит благородные речи, и до того становится невыносимый, просто беда.

— Слушай, за какого литературного героя ты вышла бы замуж?

— За Лаврецкого.

— Перестань! Он нисколько не похож на меня.

— Но он очень симпатичный и добрый. Мы гуляли бы с ним по лесам и долам, любовались бы природой, а вечером я играла бы ему на клавесине. Прекрасная была бы жизнь!

— Готово! — кричит Женя. — Слушайте!

Он встает и, как дирижер, взмахивает рукой.

— «И вот мне исполнилось двадцать восемь лет, — читает он дрогнувшим голосом. — А я уже окончил Академию Жуковского и стал испытывать реактивные самолеты. И вот я лечу на самолете. — Женин голос крепнет. — Мой путь проложен через пролив. И как раз на этом проливе у меня отказали рулевые управления, а без управления самолет как птица без крыльев. И вот мой самолет полетел в море. Я — человек не трус (в Женином голосе металл!), и я сразу сообразил, что мне нужно быстро прыгать с самолета на парашюте, но вдруг я вспомнил, что не взял резиновой лодки. Я глянул вниз и ужаснулся. Мой парашют опускался прямо на кита. Что же делать? Смотрю, в боку у кита торчит гарпун. Я быстро вытащил финку и быстро обрезал стропы парашюта и быстро полетел вниз на спину киту, а спина у кита скользкая, и я поехал вниз к гарпуну. Счастье мое, что я зацепился за гарпун. И тут вдруг я заметил китобойное судно. Меня быстро вытащили».

— Прекрасное сочинение! — сказала Саша. — Завтра отдашь его учительнице, а про то она забудет.

— Как же, забудет! А правда, это — хорошее? Вы бы что поставили?

— Пять!

— Пять?! У меня сроду пять за сочинение не было. Честное слово, поставили бы пять?

— Честное слово!

— Вот поэтому-то Александра Константиновна и не учительница, — сказал Митя. — Ну, Анята, давай свое сочинение.

— У меня очень мало, — ответила Анята, — может, не надо читать?

— Я тоже придумала сочинение, — говорит Катя, — вхожу я в сад и вижу: на всех кустах растет эскимо — шоколадное и сливочное. Я срываю эскимо и сразу же вырастает новое — клубничное и земляничное. Хорошее сочинение?

— Превосходное!

Митя взял Анину тетрадку и тихонько потянул к себе.

— Ну ладно, — сказала она, махнув рукой, — читай! Только оно маленькое и плохое.

Сочинение и правда было очень маленькое, всего четыре строчки: «Если бы я была невидимкой, я бы пошла ночью в большой лес и увидела бы всех зверей, когда они идут на водопой».

— Так вот, дорогой мой Поливанов, статья не пойдет, — сказал Савицкий.

— Почему? — спросил Митя, глядя на него в упор и постукивая пальцами по ручке кресла.

— Шеф сказал: не пойдет.

— Могу я знать, какие у шефа соображения?

— Не будем притворяться, Поливанов, не будем задавать праздных вопросов, дорогой друг. Вы все сами понимаете, не хуже меня.

— Нет, не понимаю. Не хочу понимать. Девчонка получила тринадцать очков из двадцати. И принята. Другие получили восемнадцать — и не приняты. Все яснее ясно-

го. Материал проверен до последней буквы. Я вчера снова ездил в университет и фотографировал экзаменационные листки и приказ о приеме. Так в чем же дело?! Я хочу понять, в чем дело?

— Дорогой друг!..

Больше Поливанов не хотел слышать, что он «дорогой друг». Он слышал это с самого утра, с него хватит.

«Поливанов, перестаньте дурить», — говорили ему одни. «Да что вы, сами не понимаете?» — говорили другие. «Подите выпейте валерьянки, — советовали третьи. — Зачем вы ломитесь в открытые двери? Шеф вас любит, как родного сына. Но терять из-за вас свое место он все-таки не хочет».

Последние недели Поливанов жил мыслью об этой статье, она не давала ему покоя, даже дома только и разговором было что о ней.

— Митя, неужели же не напечатают? Ведь несправедливо! — говорила Аня.

— Папа, а ты им скажи! Что в самом-то деле! — не отставала Катя.

Саша молчала. Но он знал, что она думает. Когда он сказал: «Знаешь, в редакцию пришло письмо. В университет не приняты получившие восемнадцать из двадцати возможных и зачислены получившие тринадцать», Саша спросила:

— Ты напишешь об этом?

В ту минуту он еще не знал, будет ли писать. Но после ее вопроса поехал в университет и стал читать подряд личные дела всех, кто принят на истфак. Он видел экзаменационный листок девушки, набравшей восемнадцать баллов из двадцати. Профессор, принимавший экзамен по истории, нашел нужным отметить ее выдающийся ответ — по специальному предмету у нее пять с плюсом! Но она не принята.

А вот юноша — у него пятнадцать баллов из двадцати. Он принят. Вот девушка — у нее тринадцать баллов из двадцати. Она принята. Какие же это обстоятельства сделали тринадцать проходным баллом? Девушка — дочь заместителя министра. Отец юноши — преподаватель университета.

— Ну как, — сказал он Саше, — писать?

— Конечно, писать. Знаешь, как я назвала бы эту статью? «Доброе имя». Доброе имя, полученное от родителей — большое счастье, но оно не должно облегчать жизненный путь.

И он написал статью. Нельзя, писал он, чтоб заслуги отцов механически становились заслугами детей. Чтоб перед одним жизненная дорога лежала как есть, незамощенная, со всеми ухабами и препятствиями, а перед другими с первой минуты открывалась гладкая, услужливо покрытая асфальтом. Он написал статью о том, что всякая правда становится ложью, если считать, что для одних она хороша, а другие и без нее обойдутся. Для всех одинаково должно стать непреложным: доброе имя, высокое положение отца не дает никаких прав, оно только обязывает.

Вот так он написал и верил, что статья увидит свет. Она была сдана в набор, сверстана, она должна была идти в номер... И вот редактор сказал «не пойдет».

Поливанов шел по коридору редакции не оглядываясь, не здороваясь со встречными. Дробно, наперебой стучали машинки в машбюро. Кто-то кричал:

— Отрежьте хвост у Перепелкиной!

— Я официально заявляю, что больше ни строки не сокращу! — истерически кричал в ответ женский голос.

Все это смешалось для Поливанова с бешеным стуком его сердца. Он сейчас терпеть не мог себя, свою ста-

тью, редакцию. Ему было худо, а между тем, если поглядеть со стороны, по редакционному коридору, по узкой ковровой дорожке, спокойно шел человек высокого роста, тщательно выбритый, в чистой рубашке. Он шел походкой, которая со стороны могла показаться самоуверенной. Никто не догадался бы, что этот человек полон ненависти и жаждет гибели чуть ли не половины редакции.

— Дмитрий Александрович! — окликнули его. Навстречу шла Лаврентьева. Она, видимо, только что поднялась по лестнице и чуть задыхалась.

— Что с вами стряслось? — сказала она. Ее голос звучал участливо, пристальные серые глаза глядели спокойно и дружелюбно.

— А, это вы, Марина Алексеевна, здравствуйте! Со мной ничего, — сказал он, и стоило ему это сказать, как рухнуло все, чем он держался, и он заговорил обо всем, что мучило его с утра, что не давало ему покоя уже несколько дней. Он старался говорить сдержанно, а губы не хотели слушаться, они дергались, и он сам это чувствовал.

— ...Дело не в том, что забраковали материал... Это бывает... Но каков аргумент?.. «Почему это вы, Поливанов, тащите в газету один негативный материал за другим?»

Нет, лучше камни таскать... Лучше... Да стану я шофером, в конце-то концов... Не могу я сесть снова за стол, потеряв к себе всякое уважение. От одной профессии, от самого любимого дела мне пришлось отказаться. Так не для того же, чтоб делать что-нибудь и кое-как. Так вот, поймите: дошло. Трусость, подлость и мерзость! Поймите...

— Что ж, — ответила она, не повышая голоса. — Я-то понимаю. Но оттого, что вы мне все так великолепно

рассказали, дело не подвинется. Что ж шуметь в коридоре. Крик ничего не меняет. Надо стукнуть по столу.

— Стучал!

— Плохо стучали. Впрочем, стучать по столу кулаком тоже не так уж полезно. Ну, какой же смысл? Стол пострадает, кулак тоже. Я лично считаю, что...

— Только не говорите, что мне надо выпить валерьянки...

— Нет, этого я вам не скажу. Прежде всего успокойтесь и, если верите в свое, идите прямо к шефу и, глядя прямо ему в глаза, скажите, что он трус... Один раз — от неожиданности — и поможет. Я не поборница сермяжной правды, я бы так не сделала. Но каждый должен действовать так, как свойственно ему.

И если после этого шеф вас не уволит — я на это очень надеюсь, — у меня есть к вам серьезное предложение. А за баранку вы сесть успеете, с этим спешить не надо. Итак, к шефу!

И он сделал это: он пошел к редактору. Правда, он не сказал «вы трус». Он... как бы это сказать... отредактировал эту фразу. Он сказал:

— По-моему, это — трусость.

Шеф не оторвался от газеты, которую не спеша просматривал. Переворачивая страницу, он холодно произнес:

— В последних ваших материалах, Поливанов, наблюдается... м... м... м... определенная тенденциозность. Некое определившееся стремление к... м... м... м... негативной стороне действительности... Нашу задачу, задачу газеты... м... м... м... я вижу в другом...

Поливанов слышал это не однажды. Ну что ж, хуже не стало. Стало ли лучше, этого никто не знал. И вообще, что за этим последует, было неизвестно. Но это было позади. Все.

— Ваше приказание выполнено, — сообщил он, разыскав Марину Алексеевну в буфете за стаканом кофе. — Какие будут дальнейшие распоряжения?

Она не ответила. Надкусила печенье и сказала:

— Вот что. В разъездной редакции не хватает очеркиста, фотокорреспондента и очень бы не помешал шофер. Как я понимаю, вы — едины в трех лицах. Вы есть тот самый человек, которого нам не хватает. А вам — верьте моему опыту — очень полезно будет исчезнуть из редакции на неделю-другую.

И она снова принялась за свой кофе.

— Я подумаю, — ответил Поливанов.

Через неделю после Митиного отъезда пришла телеграмма из Калуги: «Несчастье. Выезжай с Аннушкой».

Саша держала в руках телеграмму, читала и перечитывала ее. «Несчастье. Выезжай с Аннушкой». Николай Петрович заболел? Нет, умер. Здесь это не сказано. Но это так.

Они выехали в тот же вечер. Аня, убаюканная равномерным стуком колес, крепко спала, а Саша не могла заснуть. Пыталась — не вышло. В купе было полутемно. Храпел на верхней полке пассажир. Внимательно поглядывал на нее сосед, сидевший по другую сторону столика. Он был молод и словоохотлив:

— Вы в Калугу домой? В командировку?

И так не хотелось отвечать, что на этот раз ее ведет в Калугу горе.

Она ездила в Калугу трижды. В первый раз с Андреем. Сначала они долго стояли у окна и глядели на проплывавшие мимо поля, деревья. Потом она легла, и Андрей

долго сидел рядом... Было много народу, и они стеснялись даже разговаривать. Он залез на свою верхнюю полку, но она знала, что он не спит. И лишь когда погасла белая яркая лампа и загорелся синий огонек, он робко свесил навстречу ее руке свою руку. Руки соединились и расстались. Он был тут. Ее щека лежала на ладони, которую только что тронул Андрей. И тогда она уснула, дождалась утра.

Второй раз она с Аней ездила в Калугу накануне войны, три года спустя после смерти Андрея.

Николай Петрович встретил ее на вокзале. Она видела его через стекло: сухое лицо, очки, седые волосы. Он был подобран, строг. Увидев его, Аня крикнула:

— Де-едушка!

И вдруг лицо Николая Петровича задрожало, он подхватил Аню с верхней ступеньки вагона, прижал к себе, поставил рядом с собой на перрон. Аня крепко держала его за палец и прыгала.

Николай Петрович поцеловал Сашу и вдруг заплакал. Она заплакала в ответ, и оба они стояли, плача, на калужском вокзале. И кто-то, оглянувшись на них, сказал:

— К доктору невестка приехала. Покойника сына жена.

Николай Петрович утер платком слезы и повел их с вокзала домой. А там, дома, дня три спустя, сказал беззлобно и горько:

— Что-то с вами случилось хорошее, дитя мое.

Неужели он понял тогда то, чего она еще сама не понимала? Затем добавил печально:

— На то и жизнь.

А теперь его нет...

Никого не осталось в этой семье. Из троих, обитавших в этом доме. И только Аня («Аннушка» — называл ее дед) хранит в себе ускользающие черты их умершей

семьи. Рука Ани похожа на руку деда, глаза и брови — это глаза и брови отца. И должно быть, есть в ней еще нечто, чего не сможет угадать никто, даже Саша... Черты давно умершей бабки — той женщины в кружевной блузке с высоким воротником. Она была когда-то жива, эта женщина. Она жива и сейчас. Она продолжает жить в Ане, единственной своей внучке, дочери единственного сына Андрея.

«Теперь я бессмертный, потому что есть ты...» Откуда слышались Саше эти слова? Они из письма Андрея, из письма, которое он написал своей только что родившейся дочке.

«Я буду жить в тебе и в нашей Анюте», — писал он из Испании... Давно это было. Как глубоко запрятала память эти слова. А они живы и сейчас: зовут, окликают...

Николай Петрович был стар. Когда однажды после войны он приехал в Москву навестить Аню, он был согбенный, горемычный, почти слепой.

— Ты только Анин дедушка или мой тоже? — спросила Катя. И почти ослепшие глаза улыбнулись ей.

— Я всехний дедушка. Все малыши на свете зовут меня дедушка. Иду по улице, окликают: дедушка! Еду в метро, слышу: дедушка!

И еще вспоминается: Николай Петрович прилег на диван и уснул. Аня посидела около него, потом вдруг вскочила, побежала к своему столу, взяла флажок, ленту, вернулась и стала тихонько помахать флажком около его лица. Потом лентой, потом снова флажком. Саша спросила:

— Зачем ты это делаешь?

И Анюта ответила:

— Я показываю ему сны.

Ей было лет семь тогда. Он проснулся и долго гладил ее по голове.

...Он был еще жив. Он сидел на кровати, дыхание со свистом вылетало из его груди. Возле Николая Петровича хлопотали врач и сестра, в сторонке, странно безучастная, сидела Елена Кирилловна и, устало опустив руки, глядела в одну точку.

— Аннушка приехала, — вдруг сказал Николай Петрович и заметался сильнее. — Темно, темно. Не вижу, — повторял он, и голова его перекатывалась на подушке.

Саша стала у его изголовья и положила руки ему на плечи.

— Кончается... — вдруг сказала Елена Кирилловна. Но Саша ощутила под руками толчок, другой. Ты еще здесь, — подумала она, — ты еще с нами.

— Пульса нет... — шепнула сестра. «Ты еще тут, ты еще с нами», — еще раз подумала Саша. Его плечи были живыми и теплыми, на сгибе у локтя виднелся след укола.

Губы его стали синими, и он затих. Она все еще стояла над его изголовьем и думала странно и сбивчиво: об этом поздно жалеть... Поздно. Но почему я так редко писала тебе? А когда ты приезжал, я так мало бывала с тобой. А в последний раз накануне твоего отъезда — куда я ушла? В гости? В кино?

Она никогда не говорила ему «ты». А теперь он лежал тихий и безучастный и не отвечал ей. Нет. Сейчас уже не дозовешься.

— Голубчик! Голубчик! — плача, повторяла Елена Кирилловна. — Отмучился, мой голубчик, успокоился.

Где она слышала это слово? Ну конечно, так Нина Викторовна говорит отцу: голубчик, не волнуйся. Я хочу сейчас же увидеть папу. Сейчас же. Я живу с ним в одном городе и не видела его целую неделю. А ведь настанет — настанет день, и я вот так же... Нет, нет, не хочу...

— Вот она, жизнь наша. Вот оно как бывает, — повторяла Елена Кирилловна.

Саша вдруг увидела застывшее, оцепенелое лицо Анюты.

Она подошла к девочке и крепко обняла ее. Аня не ответила на объятие, она дрожала частой, мелкой дрожью, и зубы ее стучали.

Врач и сестра молча собирали осколки ампул, иглы, стетоскоп. У кровати стояла Елена Кирилловна. Осторожно, словно боясь сделать ему больно, она гладила Николая Петровича по голове, по щекам. Она закрыла ему глаза и сложила на груди руки. Чуть погодя она повернулась к Ане и сказала:

— Он все про тебя вспоминал. Говорил: нет больше Москвиных, одна Аннушка. А потом велел отбить телеграмму — хочу, говорит, увидеть перед смертью. И вот увидел. Слышали, как сказал: «Аннушка приехала».

Саша нагнулась и поцеловала старика в лоб. Он был еще чуть теплый. Зажмурившись, Аня тоже прикоснулась ко лбу деда крепко стиснутыми губами.

Саша увела ее. Они вошли в комнату, где в углу стояло глубокое кресло, а вдоль стены у окна широкий диван. На стене, как и прежде, висел портрет женщины в кружевной блузке с высоким воротником.

Саша уложила Анюту в кровать и прилегла рядом. Да, это была та же комната, и тот же куст сирени заглядывал в окно. Оно было открыто, и казалось, комната вливается в сад.

— Аня, ты спишь?

— Сплю.

И чуть погодя:

— Зачем он умер?

— Он долго жил. Он был старый. Он просто уснул.

— Зачем ты говоришь так, будто я маленькая? Нет, когда спят, такие не бывают. Когда спят — теплые. И потом просыпаются. А он не проснется.

Саша молчала.

— Мама, значит, он уже никогда не придет? И письма не напишет? Совсем? Никогда?

Никогда... Никогда... Какое страшное слово. Зачем я взяла ее с собой? Зачем не поберегла? Но как от этого убережешь? Разве убережешь человека от жизни, от смерти? Все надо увидеть в свой срок. И кто знает, когда придет этот срок.

Аня лежала, крепко прижавшись к матери, уткнувшись лицом в ее плечо. Саша гладила ее волосы, провела рукой по мокрым глазам и щеке. Аня длинно, судорожно вздохнула и вдруг притихла под материнской рукой.

И опять зашуршал на улице дождь, и сердце, тяжелое как камень, не давало дышать. И только Анино тепло не позволяло одиночеству и тоске затопить эту комнату.

— Ты спишь? — шепотом спросила Саша.

Аня не ответила. Тогда Саша, стараясь не разбудить ее, тихонько высвободила руку и, неслышно ступая, вышла в кабинет Николая Петровича. Обмытый, он уже лежал на столе в черном костюме. Лицо его было строго, скорбно и чем-то даже сердито. А руки — прекрасные в своей величавости, большие, твердые руки врача.

Они сидели по обе стороны стола — Саша и Елена Кирилловна, и обе молчали.

— Я всю жизнь свою в памяти собрала... — сказала вдруг Елена Кирилловна, — всю жизнь... И как маленькая была, и как молодая. Темно я жила, неприкаянно. У нас отец пил мертвую. Мать в могилу вогнал, братьев, сестру из дому выкинул, — весь дом, как есть, распустошил. Я тоже ушла, всех растеряла, одна, как пень. Если

б не он, — она вскинула глаза на Николая Петровича, — и нечем бы мне свою жизнь вспомнить. Он ту свою жизнь про себя хранил. Не рассказывал. Если, бывало, и спрошу что — молчит. Но меня сильно жалел, не обижал. Пальцем никогда не тронул. А к людям какой он был... Никогда никому не откажет. Ночью ли, днем ли, болен он, здоров — чуть позовут — идет. Потому доктор... Ты, говорит, не забывай: я доктор. И ничего-то он не боялся. Ни пули, ни немца. И при немцах — ходил, лечил: я доктор.

Она умолкла. Взглянула на Сашу, провела рукой по глазам.

— Спасибо тебе, что письма ему писала. Он твои письма вон сюда складывал — видишь, шкатулочка. И каждый вечер перед сном сидит, письма заново читает. А когда немцы тут были и мы про тебя не знали ничего, то-сковал. Бывало, ночью встанет и вот ходит, и вот ходит...

И снова молчание, снова ничем не нарушаемая тишина.

— А скажи, — вдруг заговорила Елена Кирилловна, — а скажи... Андрей на нас не обижался? Не судил отца?

«Да он и не понял ничего», — хотела было ответить Саша, но вместо этого сказала:

— Нет, не обижался.

— По чести говоришь?

— По чести, — не запнувшись, ответила Саша.

Сразу с вокзала Саша поехала к отцу. Ей все казалось, что она не застанет его дома, что у нее не хватит сил его дождаться — и тогда она побежит к нему на работу. И когда дверь ей отворил Константин Артемьевич, Саша в

первую минуту только глубоко вздохнула и не могла сказать ни слова. Обняла отца за шею и прижалась головой к его груди. А Константин Артемьевич большой смуглой рукой гладил дочь по растрепавшимся волосам.

— Девочка, — сказал он, — полно! Полно! — И вынул из кармана платок и вытер Сашино лицо.

Аня не плакала. Прямая, строгая, с глазами, которые стали как будто еще больше на серьезном бледном лице, она пыталась перехватить руку матери.

Обняв их обеих, Константин Артемьевич провел Сашу и Аню в комнату. А Саша все плакала. Тронутый ее горем, думая, что она оплакивает только Николая Петровича, не понимая, что в этих слезах тревога за него, страх перед будущими утратами, он крепко прижимал ее к себе и говорил то, что всегда говорят в таких случаях:

— Что ж поделаешь. Такова жизнь.

И эти слова, вместо того чтобы утешить и примирить, потрясли ее еще сильнее, и она повторила только:

— Не хочу!

— Полно, полно, сейчас согрею чайку, садись, Анечка, — приговаривала Нина Викторовна. — Ах, какой был человек! Просто кристальный был человек. А ты, Костя, не волнуйся.

— Нет, я сделал ошибку. Разве можно было отпускать вас одних? Я должен был поехать с вами.

Саша пила чай, по-детски привычно подчиняясь Нине Викторовне. Аня сидела за столом, но не притронулась к еде.

— Не хочу, спасибо. Не наливай, я не буду пить! — повторяла она упрямо.

И вдруг, оставив чашку, Саша пошла к телефону:

— Катенька, это ты?

— Тетя Анися! — услышала она в ответ. — Мама приехала! Мама! Папа приезжает! Сегодня вечером!

Вот оно, облегчение, вот она — жизнь: Митя. Сегодня вечером она его увидит. Они не будут говорить о смерти. Он расскажет обо всем, что с ним было, и она будет слушать и спрашивать и вместе с ним все увидит. А о своем она умолчит, потому что все равно об этом никому не расскажешь.

Вечером, с гвоздиками в руке, в белом платье и белых босоножках, она легко шла по перрону, легко и нетерпеливо. Вот поезд, дальше, дальше, вот седьмой вагон.

Митя уже стоял на подножке за спиной проводника и, улыбаясь, махал ей рукой. Поезд еще не остановился, а Митя прыгнул с подножки и пошел ей навстречу. И тогда она тоже побежала к нему.

— Что с тобой, Сашенька? Я так соскучился! А ты? Да что с тобой?

Нет, от него ничего не скрыть. Вот он тут, рядом, в ее руках живое тепло его рук.

— Дмитрий Александрович! До завтра! — услышала Саша незнакомый женский голос.

— Ох, простите! — ответил Поливанов, торопливо обернулся и пожал на ходу руку промелькнувшей мимо женщине. Она прошла очень быстро, Саша увидела только спину — прямую и стройную, светло-серое легкое пальто и легкий шарф вокруг темных волос.

Саша с Митей шли через привокзальную площадь. Шли под руку, он крепко прижимал к себе Сашин локоть. Уже начинало темнеть, в окнах зажигались огни.

— Пройдем немного. Ну, хоть до Красных ворот, — сказала Саша. — Не тяжело тебе?

— Да что ты, рюкзак совсем легкий. Ну, рассказывай!

— А кто это был? — спросила Саша задумчиво.

— Ты про кого? А, про Марину Алексеевну? Это — Лаврентьева. Мы с тобой о ней говорили. Умница и прекрасная журналистка.

Они шли по Домниковке, и такое счастье было идти с ним рядом и видеть, почти чувствовать, как темнеет вокруг.

— Митя! — окликнула Саша.

— Да? — отозвался он и больше ни о чем не спросил. Видно, его тоже захватил жаркий московский вечер, и огни в домах, и фонари, будто плывшие им навстречу, и высокое, черное, без звезд, небо.

1 сентября 1949 года.

Нынче Катя проснулась в пять часов утра. Прощаясь со мной на школьном дворе, сказала сдавленным голосом:

— До свиданья, мамочка, передай привет папе.

Учительница вышла к ребятам веселая, смеющаяся. Ей лет двадцать, не больше. Похожа на старшеклассницу. Очень славная и улыбается хорошо. Катя так счастливо сияла в ответ, что я чуть не ослепла, глядя на нее.

Катя:

— Мама, мне наш физкультурник не нравится. Он очень грубо кричит, вот так: р-р-равняйся! Становись!

— Дурочка, так ведь это команда! Разве можно командовать тихо?

— Не тихо, конечно, но зачем так грубо? Можно так: равняйся! Становись! (Эти слова Катя произносит ласковым, почти просительным голосом.) Нет, он мне не нравится!

Дедушка:

— Что это у вас такой плохой замок? Обокрадут вас, смотрите!

Катя, с укоризной:

— Дедушка, в нашей стране — воры?

Анисья Матвеевна:

— Ну вот, пожалуйста, уже и воров отменила.

Как она у вас на свете жить будет?

Катя:

— Ох, мама, и ругала нас Татьяна Сергеевна! Что мы класс подметаем плохо! Самыми последними словами ругала — и аристократами, и по-всякому.

Завтра Аня с Женей пойдут слушать «Евгения Онегина». Поэтому Митя пересказал им содержание, а потом читал им вслух. Катя тоже слушала, и очень внимательно. Митя:

— Онегин сказал Татьяне, что не любит ее...

Катя, в ужасе:

— Так и сказал?

Когда Митя читал сцену дуэли. Катя в отчаянии зажала уши. Слушая: «Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами...», она сказала мстительно: «Так ему и надо!» Женя слушал сдержанно, молчал.

— Понравилось тебе? — спросила я, когда они вернулись из театра.

Он ответил:

— Стреляли здорово.

Аня все чаще заговаривает о том, кем быть?

— Митя, кто у вас в редакции работает по справедливым делам?

— Жалобы, что ли, разбирает? Отдел писем.

— Вот пойду в отдел писем, стану там работать, надо, чтоб все всегда было справедливо.

— Анюта, Женя, — говорит Митя, — вот послушайте, что было: ученики пятого класса узнали, что у одного их товарища нет ни обуви, ни теплой шапки. Вот они собрались, скопили денег, купили шапку, решили преподнести мальчику на сборе отряда. Как по-вашему, правильно они поступили?

— Нет, — отвечает Аня, не задумываясь. — Зачем на сборе? Они должны были отдать ему один на один.

— А я все равно не взял бы, — говорит Женя, — ни на сборе, ни в одиночку.

Наши дети лучше, честнее нас.

— Мама, ты помнишь мою первую учительницу Зинаиду Петровну? — спрашивает Аня (как не помнить!). — Ну вот, ты меня перевела в другую школу, и я стала учиться у хорошей учительницы. А остальные девочки?

— Вот что, друг мой, — сказала Марина Алексеевна запальчиво, — у вас нет самого главного: уверенности в себе. Человек всегда должен понимать, чего он стоит. И угадывать в себе самое сокровенное, то, чего другие в нем не знают и знать не могут.

— Впервые в жизни меня укоряют в недостатке самоуверенности, — ответил Поливанов насмешливо. — Когда я был на своем месте...

— Я сейчас не о самоуверенности говорю, а о самостоятельности мышления. Вас никто по-настоящему не видит. И вы себя не видите и не понимаете. И то и дело

называете себя фотокорреспондентом. И другим это хотите внушить. А это чушь, понимаете, чушь!

— Кто же я, по-вашему? — с любопытством спросил Поливанов.

— Вы — чистой воды очеркист. Но это еще не все. Вы можете написать прекрасный сценарий, я в этом убеждена: у вас очень точный и хороший диалог.

— Диалог — это еще не все...

— Ну, разумеется, не все. А знаете, когда я вдруг отчетливо поняла, что вы очеркист? Когда сравнила вашу корреспонденцию о сормовском заводе и кемеровскую корреспонденцию Локтева. Вы оба написали совершенно на одну и ту же тему, но у него — сухая статья, а у вас — художественный очерк. У вас люди, события, судьбы и свое «я». Я говорила вам об этом давным-давно, еще после Подгорска. Не безликое газетное «мы», а очень личное «я». А это важно. Тем более что думаете вы нестандартно и видите свежо.

Комната, где они сидели, была просторная, светлая, с легкими занавесками на окнах. Низкий диван, низкий круглый столик, два кресла да книжные полки — вот и вся мебель. Абажур самодельный, бумажный, разрисованный чьей-то легкой, небрежной кистью: кленовые листья вперемежку с темными силуэтами летящих птиц. Теплый свет сочился сквозь толстую пергаментную бумагу, и красные листья и темные птицы казались прозрачными.

«Зачем она говорит все это? — сказал себе Поливанов. — Думаю я стандартно и вижу не свежо. И мой очерк ничуть не лучше локтевского. Уж я-то знаю!»

— Да, видите вы свежо и нестандартно. Чего же вам недостает? Смелости! Только смелости!

— Марина Алексеевна, кто вам сделал этот абажур? — спросил Поливанов.

— Сама. Зачем вы переводите разговор? Я ведь очень хорошо понимаю: вам важно услышать то, что я говорю. Именно эти слова нужны вам, чтоб на них опереться.

— Ну, полно, я и сам о себе все знаю.

— Ах, вы хотите еще, вам мало? Извольте: вы — человек талантливый, но еще себя не до конца выразивший и...

Поливанов засмеялся и подошел к окну. На дворе под липой стоял большой стол, и молодые парни, с азартом ударяя костяшками, играли в «козла».

— Сел! О-го-го! Сел! — доносилось со двора. А из гостиной комнаты слышался спокойный и немного насмешливый голос:

— Самое легкое из того, что мы можем, — это отойти, отказаться, устраниться... Вы меня слышите, Дмитрий Александрович? Не хотите ли рюмку коньяку?

— Нет. А впрочем, пожалуй.

Своей легкой и твердой походкой она вышла из комнаты и вернулась с маленьким подносом, на котором лежали бутерброды и стояла бутылка коньяка.

— Ну что ж, за вашу удачу, за вашу уверенность! Это — единственное, чего вам недостает. Да, все забываю вам сказать: у вас прелестная жена.

Поливанов вскинул глаза.

— А почему вы заговорили о Саше?

— Ее зовут Саша? Я вспомнила о ней потому, что думала о вас. Вы счастливый человек. У вас все есть: славная жена, милые дети. Старшая похожа на вас, а младшая, пожалуй, меньше.

— Она в нашу армянскую родню, в деда, — сам удивившись «нашей армянской родне», ответил Поливанов и сдвинул брови.

— Вы не познакомили меня с женой. Но я запомнила ее на новогодней елке. Она была с обеими девочками.

Кто она по специальности? Кажется, медсестра? Почему бы вам не подумать о том, чтоб она кончила вуз? Вот встаньте на ноги, и это окажется легко, она сможет учиться.

— Что вы имеете в виду, когда говорите «встать на ноги»?

— Встать на ноги или, точнее, проявить себя до конца — это ваш долг не только перед самим собой, но и перед своими близкими.

Она говорила твердо и уверенно, глядя ему в глаза. И он ответил:

— Вы правы. Я не много сумел ей дать. Заботу. Тревоги. А радости маловато. Только — прошу прощенья — я не хочу об этом говорить.

— Выпьем, Дмитрий Александрович, — сказала она, — и давайте работать.

— Да, я отнял у вас много времени. Но я принес готовый план полосы, взгляните...

Он раскрыл блокнот, перелистал его. Она деловито села рядом, и он разложил перед ней листки, исписанные крупным четким почерком.

— Знаете, какой я придумал заголовок? Вы сейчас меня снова похвалите...

Она засмеялась и сказала:

— Валяйте, люблю хлесткие заголовки.

Они склонились над столом, перебивая друг друга, захваченные общей работой.

— У вас почерк лучше, писать будете вы, — сказала она.

Время шло. Во втором часу ночи он вдруг опомнился и взглянул на часы.

— Ох, простите! Где у вас тут телефон? — сказал он с тревогой.

Взял трубку, набрал номер и сказал виновато:

Фрида Вигдорова

– Сашенька? Не беспокойся, я сейчас выхожу. Нет, нет, не встречай, я не из редакции. Я от Марины Алексеевны, это на другом конце города. Что? Леша приехал? Чудесно! Иду!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Первый раз у Леши был настоящий отпуск осенью сорок пятого года. Он приехал в Москву не на сутки, как в тот раз, когда перегоняли самолеты, а по-настоящему: на месяц. Но странно: этот месяц прошел так же бестолково и в таком же угаре, как те сутки.

Он приехал гвардии капитаном. Он сверкал всеми своими орденами, черным кожаным регланом. В магазинах, в бане, в парикмахерских — орденосцам без очереди! В трамваях — бесплатно! Холостякам особый почет от девушек.

Денег — много. Вдобавок куча оккупационных марок, их тоже можно обменять на наши деньги. Тратить их в Москве очень приятно: в коммерческих магазинах есть все на свете, о водке и говорить нечего — хоть залейся.

Но почему все, как и в прошлый раз, идет кувырком? Даже в комендатуру и то опять попал: оказывается, в Москве нельзя ходить в реглане, можно только в шинели. Эх, беда: шинели у летчиков теперь серые, как и у матушки-пехоты. Реглан куда представительнее, но у Леши не было желания заниматься в комендатуре по два часа в день строевой подготовкой. Лучше выпить в ресторане или дома.

Нина Викторовна с испугом смотрела на то, как пил Леша и его товарищи. Ни одной еды без водки, разве ж так можно? И в обед, и в ужин, и даже с утра. Никакое здоровье этого не выдержит. Саша, хоть бы ты ему сказала! Ведь так и печень погубить недолго! Костя, почему ты молчишь?

Константин Артемьевич действительно ничего не говорил и мужественно участвовал в каждой выпивке, надеясь, что таким образом Леше меньше перепадет. Он тоже тревожился, но его тревога была иная...

— Лешенька, — сказал он однажды вечером, — ты знаешь, что после той войны на Западе возникло... родилось такое поколение, потерянное поколение. Ты, наверное, читал «На Западном фронте без перемен» Ремарка?

Да, Леша читал Ремарка. Он в Германии читал его даже по-немецки. Они с товарищем, с Лешей Костюченко, жили в небольшом немецком городке и завели дружбу со стариком немцем, который числился музыкантом при Доме офицеров. Они таскали ему хлеб и котлеты из летней столовой, а старик играл им на рояле и давал читать немецкие книжки. Среди них были и романы Ремарка. Хороший писатель, ничего не скажешь. И так, что такое «потерянное поколение», Леша отлично знает. Но как объяснить им всем, чтоб они не тревожились за него, не маялись? Это его первый отпуск, первый настоящий отпуск за несколько лет. Как он жил во время войны? Это не так-то легко рассказать. Бывало и лучше и хуже. Жил и в землянке с протекающим потолком, и в деревянном бараке, и в хатах, и в настоящих домах. Конечно, авиация — не пехота. В окопах он не лежал. Но вся жизнь сосредоточилась в кратком просвете от вылета до вылета. Ну, верно: в победе никто не сомневался. Но никто не был уверен, что доживет до победы. И почти после каждого вылета «стариков» в полку становилось меньше. Приходили новые молодые ребята. Ну что ж, это было в порядке вещей. Никто не терял бодрости, и после благополучного вылета, когда батальон аэродромного обслуживания устраивал танцы, Леша танцевал вместе со всеми. Он танцевал, пел песни и читал стихи. Заводил знакомства с девчонками из батальона. Кое-кто из ребят

женился. Но бывало, только возникнув, семья рушилась: погибал муж.

Ну, что еще было? В дни затишья начальство заставляло заниматься теорией. Занимались. И все-таки вся эта жизнь была в сущности только напряженной подготовкой к очередному вылету.

Теперь этого напряжения нет, оно ушло. Леша выжил. И это очень здорово. Он выжил не потому, что прятался, просто так уж получилось, просто пролетело мимо. А если задевало, то не насовсем. И сейчас он рад. И нет у него охоты думать о будущем. Он знает: скоро начнет готовиться в академию, и непременно на инженерный факультет. Будет инженером-штурманом. Ну, а потом женится. Но только не сейчас. Сейчас он отвыкает от войны и привыкает к миру. Вот так...

Все это понимает только один человек: Митя. И еще, пожалуй, Саша. Кто бы сказал маме, чтоб она не смотрела на Лешу такими испуганными глазами. И не сватала бы его. Он не хочет знакомиться с этой зеленой молодежью. Неохота ему. Как-то к Мите зашли две девчонки из редакции, принесли какие-то снимки. Посидели, поговорили, потом ушли. Митя спрашивает:

— Ты что ж не пошел провожать? Хорошенькие.

А ему неинтересно.

Но ничего этого Леша не сказал встревоженному отцу. Он только подумал. А сказал так:

— Не беспокойся, папа. Все будет хорошо. Просто я немного устал от войны. Это пройдет.

Да, конечно, пройдет. Он ходил по московским улицам и думал. Думал и разговаривал. Сам с собой. О чем он думал? О многом.

Каких только улиц нет в Москве: Сивцев Вражек, Собачья площадка. А улицы Коли Угарова нет. Кто такой Коля Угаров? Летчик, коренной москвич, хороший па-

рень, плясун. Глаза цыганские, разбойничьи. Сколько Леша говорил с ним о Москве, они все улицы перебрали. А теперь нет его, погиб в сорок четвертом. Никаких улиц не хватит, чтоб назвать их именами погибших.

Странная какая вещь. Леша любил летать и знал, что будет летать всю жизнь, пока хватит здоровья. И воевал он с азартом и честно мог о себе сказать: я не трус. Он не боялся ничего — ни зенитных разрывов у самолета, ни трассы атакующего истребителя. В полку говорили: Лешка — он бесстрашный. Видели, что Леша не рисуется, что он и вправду ничего не боится, рвется на любое задание, и чем оно опаснее, тем сильнее рвется.

Но вот в конце сорок четвертого Лешу ранило. И не так чтоб сильно: через две недели он снова летал. Но, увидев разрывы, он вздрогнул. И сердце у него защемило. Он вдруг понял, что и он смертен. Ну конечно, он взял себя в руки... Где-то в самой глубине души востребованное желание защититься, сберечь себя притупилось, ушло. Однако Леша помнил о нем.

Странный это был год — сорок четвертый. В начале войны никто не позволял себе думать о ее конце: немцы у Волги, какой там конец! Но в сорок четвертом, когда под крылом самолета стали появляться немецкие земли, все чаще приходила мысль: когда же конец?

В сорок третьем погиб Женя Вишняков, закадычный друг. Это было горе. Горе обыденное, привычное: война. Но когда в апреле сорок пятого погибли почти одновременно Колька Прозвончков и Сашка Пронин, — с этим примириться было нельзя. Оба они были замечательные летчики, на войне с первых дней, сколько раз горели, падали, воскресали! И для чего — чтоб погибнуть накануне победы!

А Леша уцелел. И вот сейчас ходит по московским улицам и думает о жизни и смерти.

Потом Леша уехал. Пришлось занять у родителей денег, свои все истратил! Толком ничего не купил, никого не одарил, а денег не стало. Вот она, водка-то...

Леша вернулся в свой маленький немецкий городок и затосковал... Все ему опостылело. Его стали раздражать улицы, кирпичи, крыши. Все не так, как дома, и с этим почему-то нельзя было примириться. Куда угодно, хоть в пустыню, хоть в тундру, но только домой, в Россию.

Но тоска по родине, оказывается, не основание для бегства из оккупационных войск. Если отпустить по этой причине, глядишь, никого в Германии не останется. Значит, есть только один выход: академия. Но не один Леша такой умный, многие ребята усмотрели этот единственный выход. Поэтому надо думать о конкурсе, и очень жестоком. Кроме того, десятого класса Леша так и не увидел, а многое из того, чему учили в первых девяти, позабыл.

И Леша стал заниматься. Занимался он неистово. В корыстных целях завел дружбу с молоденьким инженером эскадрильи, присланным в полк после войны. То есть, в сущности, они были ровесниками. Инженеру льстила дружба с орденоносным ветераном. Они вместе решали задачи по алгебре, по физике. Экзамена по-немецки Леша не боялся: разговоры со стариком пианистом даром не прошли и чтение книг Ремарка и Гейне тоже.

Но Лешин рапорт отклонили: молодой, подождешь. Он будто очнулся от учебников, растолкал их по ящикам. Зря корпеть над учебниками он не станет. Не хотите, чтоб Леша учился? Не надо! Он снова окунется в прежнюю привычную жизнь, она была не такой уж скучной, если вдуматься.

Но верно говорили древние: все течет, все изменяется, и нельзя дважды ступить в одну и ту же струю.

Леша огляделся и вдруг понял: все вокруг переменялось. К Лешиним друзьям приехали жены, дети, прежняя компания стала иной.

— Знакомься, — говорит Марк Белоцерковский, — вот моя жена, а это сын.

Сыну двенадцать лет. Совсем большой парень. А жена серьезная, спокойная. Навела в комнате чистоту, повесила занавески. Марк-то оказался в годах. У него семья. Заботы.

— Приходи вечером чай пить, — говорит Марк.

И Леша приходит. И что самое странное, они действительно пьют чай. Да-а... Тут живет не забулдыга Марк Белоцерковский, а семейный человек — Марк Григорьевич с женой и сыном. Сюда не зайдешь в полночь после вечера самодеятельности в Доме офицеров. И сюда не явишься с кем попало. Одних жена Марка любит, а других — нет. Она считает, что водиться с Колькой Плущенко Марку совсем не обязательно. Ей куда приятнее, когда приходит Петя Соколов, с Петинной женой она в дружбе. Да, то-то и оно: они дружат семьями.

И Леше там делать нечего. Неужели же только стемнеет — ложиться спать? Это ни на что не похоже! А впрочем, день забит, да и вообще убить время не так уж трудно: вечером можно пойти в кино с Вале́й, в субботу концерт или спектакль в Доме офицеров. И все-таки Леша снова послал рапорт насчет академии — а вдруг?

Никогда еще не было так тоскливо, как сейчас. Валя, бухгалтер из вещотдела, вернулась из отпуска, сказала:

— Меня там один сватал. Маминой подруги сын. Электротехникум кончил, хороший такой парень. Выходи, говорит, замуж. Пристал прямо с ножом к горлу.

Леша провожал Валю после кино домой. Он крепко держал ее под руку, слушал и молчал.

— Ну, как посоветуешь? — спросила Валя.

— А ты его любишь? — спросил Леша сквозь зубы.

— Ты знаешь, кого я люблю, — ответила Валя. И теперь замолчали оба.

Леша знал, что молчать нельзя. Знал, каких слов она ждет. Но сказать их не мог.

— Значит, не любишь? — веселым голосом сказала Валя. — Понятно... Мне бы, конечно, кого-нибудь попроще. Ты для меня чересчур образованный.

— Ну что ты мелешь? Какой я образованный? Я даже в десятом не учился.

— Ну, родители у тебя... отец культурный, мать...

— У меня мать, как и ты, бухгалтером работает. Замолчи.

— Почему это я должна молчать? Я спрашиваю, как ты ко мне относишься, а ты не отвечаешь.

— Ну что ты меня мучаешь?

— Это я-то мучаю? Интересно... Но, конечно, я понимаю, что я тебе не пара.

Леша остановился:

— Замолчи, а то я уйду сейчас же.

— Не уйдешь. Разве ты меня одну в темноте оставишь? Нет, тебя не так воспитывали: ты девушку одну в темноте не оставишь. Ты ее до дому доведешь и «до свиданья» скажешь.

Леша покрепче сжал зубы и шел рядом, не прерывая ее и не оправдываясь. Когда-то Кононов Антон Николаевич сказал ему: если женщина тебя ругает, молчи. Она всегда права. Ты, может, в одном не виноват, так уж непременно в чем другом провинился. Слушай и говори: да, мол, виноват, и прошу, мол, прости меня.

«Ну, в чем я виноват? — думал Леша. — Ладно, не будем. Но я же не говорил, что люблю. Мало ли что не говорил!..»

— Не горюй, Леша, — услышал он веселый и злой Валин голос, — выйду я замуж за своего электротехника и очень даже прекрасно буду жить. Ждать, чтоб тебя полюбил, кого ты любишь, это, знаешь, надо в запасе пять жизней иметь.

— Если не любишь, не выходи.

— Оставь при себе советы. Меня устраивает, чтобы меня любили. Понятно? А он любит. Так и сказал: больше, говорит, жизни люблю. Это на дороге не валяется, такое отношение.

— Если не любишь, не выходи, — тупо повторил Леша.

И тогда она заплакала. Леша остановился. С горя он готов был сказать ей все, что угодно. Что очень любит, что жить без нее не может.

— Валечка, — повторял он, целуя Валины мокрые глаза, — не плачь, милая... послушай...

А она вырвалась и взбежала на крыльцо.

— Валя! — позвал он.

Она не ответила и скрылась за дверью. Он еще постоял у ее окна. Она не зажгла свет. Окно было темное.

Прежде Леша стучал в темное окно, и ему открывали. А теперь, после этого разговора, он не смел постучать. Леша больше не спрашивал себя, прав он или виноват...

Что потом было — и вспоминать неохота. Это был какой-то спектакль. Валя закрутила с Генкой Львовым (которого прежде и не замечала). Танцевать — с Генкой, в кино — с Генкой. Леша только скрипел зубами, но подступить к ней не мог. Стоило ему подойти к ней в клубе или на улице, как она говорила что-нибудь в пику ему:

— Честные — они безжалостные. Нипочем не соврут! Я таких знаю!

Или:

— Кто меня потерял, не найдет, нет! Кончен бал, погасли свечи!

Леше было невыносимо видеть рядом с ней этого долгоязого Генку. И он стал думать: а почему бы нам не пожениться? А может, это и есть любовь? Иначе зачем у меня все холодеет внутри, когда я вижу ее с Генкой?

Он подстерег ее однажды, когда она шла к подругам в общежитие.

— Давай поговорим...

— Не о чем, — ответила она устало.

— Валя, давай забудем тот разговор.

— Нет, не забудем. И если б я за тебя пошла и кучу детей тебе нарожала — все равно не забыла бы. До самой смерти. «Давай пожмем друг другу руки», — как в песне поется... Будь здоров и не поминай лихом...

А потом Валя уехала, и Леша никогда не чувствовал себя таким одиноким, как после ее отъезда. Тоска его сгрызла, и одно только могло его спасти: вызов из академии. Дом. Москва.

И тут его вызвал к себе комполка, это было где-то в начале сорок седьмого года. Новый командир полка, сменивший Валентика, вызвал Лешу и сказал так:

— Товарищ капитан, приказом по воздушной армии вы назначены штурманом эскадрильи. На вас ложатся большие обязанности по воспитанию молодых кадров вверенного мне полка. Я согласился на ваше выдвижение по предложению ушедших в запас штурмана полка и штурмана эскадрильи, и я надеюсь, что вы поймете всю свою ответственность...

Он долго говорил в этом роде. Да, это был не Валентик... Тоже герой, тоже молодой и уже заслуженный летчик. Но до чего же сухой. Все его недолюбливали, не только Леша. Леша набрал воздуха в легкие и спросил:

— А как же академия? Товарищ полковник?

— Товарищ капитан, вам сейчас надо думать не об академии, а о своей эскадрилье.

— Так точно, товарищ полковник, буду думать о своей эскадрилье. Но как же все-таки с академией? Я второй рапорт посылаю.

— В связи с вашим новым назначением рапорт возвращается.

— Но как же все-таки...

— Я и сам академии не кончал. Командование считает, что мы с вами здесь более необходимы.

— А как же все-таки с академией, товарищ полковник?

— Можете быть свободны, — ответил полковник.

Вот и весь разговор. Но если по совести — командир прав. Кому же, как не Леше, стать штурманом эскадрильи? Он здоровый парень, а если посмотреть вокруг... У кого язва, у кого туберкулез. Кто прежде думал о своих болезнях? Да никто. А сейчас...

Сейчас в полку работает врачебная комиссия. Конечно, и в войну случались врачебные осмотры. Они проходили так:

— Разденьтесь. Ну как, друг, самочувствие?

— Нормально.

— Ну давай, давай.

Тебя похлопывали по плечу:

— Вы свободны.

Теперь другое дело. Врачи смотрят в оба: как вы себя чувствуете? Не потеете ли после футбола? А кто в игре не потеет? Оказалось, что на свете существуют окулисты, ларингологи и даже невропатологи — и эти особенно резали. Рентген обнаруживал застарелые переломы, каверны, язвы. И пошла старая гвардия в запас и в отставку — один, другой, третий...

А Леша здоров. В своей истории болезни в графе «основное заболевание» он прочитал: «здоров». И в графе:

«сопутствующее заболевание» тоже стояло «здоров». Здоров — значит, работай.

И работать становилось все интересней. Новую материальную часть так просто не освоишь. Поговаривают о радиолокационных прицелах, автоматических радиокompасах, даже о каких-то автонавигаторах. И Леше надо много заниматься, чтоб толково учить молодых штурманов. Но чем интереснее работать, тем больше хочешь учиться.

Прошел еще год. Леша опять послал рапорт и опять получил отказ. Ну ладно. Все равно буду заниматься. Для себя. В академию без аттестата зрелости поступить не удастся. На курсы при академии, видно, уж не попасть. А тут как раз при Доме офицеров организовали десятый класс. Жена Марка преподает русский язык, физику читает метеоролог Толя Ильичев, математику — инженер Шапиро. Какие уж там получит Леша знания — неизвестно. Но справка будет.

И он снова сел за книги. Не только за учебники. Сначала книги помогли одолевать тоску, а потом уже он просто не мог без них.

Он стал совсем свободно читать и говорить по-немецки. Гессе — старик музыкант, который давал Леше немецкие книги, — был не очень словоохотлив, но однажды к нему на лето приехал племянник, мальчишка лет одиннадцати. Он привез с собой копилку в виде домика и очень радовался, если туда опускали какую-нибудь мелочь: он копил деньги на коньки.

— У всех мальчиков в нашем классе есть коньки, — объяснял он Леше, — у всех, кроме меня.

Очень светлые голубые глаза его блестели, он смотрел на Лешу, и Леша со всей несомненностью читал в этом взгляде: ты ведь понимаешь, что вынести этого нельзя — у всех, кроме меня!

— Ганс дает покататься, но мать ругает его за это. И я не хочу больше брать у ребят. Я хочу, чтоб у меня были свои. У каждого мальчика должны быть свои коньки.

— А еще что должно быть у каждого мальчика?

— Коньки! — со страстью повторил Мартин.

— Как странно, — сказал старик Гессе, — вы такой молодой и любите детей. Любовь к детям — это удел старости.

Леша был с ним не согласен. Ему чудно было слышать такие слова. Для него этот Мартин как птица: всегда веселый, щебечет, прыгает.

В то лето Леша ездил в Москву и привез Мартину коньки. Он никогда не забудет, что творилось с мальчишкой. Ликование? Восторг? Нет, эти слова не подходили. Мартин попросту ошалел от счастья.

— Дядя Альберт! — кричал он. — Ты только посмотри! Нет, ты посмотри!

— А что нужно сказать господину капитану?

Мартин заметался по комнате. Он не знал, что сказать, что сделать. Жалкое слово «спасибо» не могло выразить его благодарности. Он схватил свою копилку и протянул ее Леше.

— Возьмите, — говорил он, — возьмите. Тут не очень много, но все-таки.

— Я не торгую коньками, — сказал Леша. — Я привез тебе коньки в подарок.

И вдруг Мартин подошел к Леше и сел ему на колени. Раньше он никогда этого не делал. Он все еще прижимал к груди свой домик-копилку и говорил:

— В январе будут состязания. Я катался меньше всех, но я бегаю не хуже других. И теперь меня возьмут в хоккейную команду.

Он так и не сказал «спасибо». В конце лета за ним приехала сестра, девушка лет двадцати пяти.

Гессе говорил, что мать этих детей была красавицей, но по мальчишке об этом догадаться было нельзя; тощее личико, освещенное очень светлыми голубыми глазами, было живое и умное, но некрасивое: остренький носик, большой рот и редкие неровные зубы. А вот сестра... Сестра была красавица. Маленькая головка на тонкой шее, акварельный румянец и глубокие темные глаза. Но выражение лица строгое и неприязненное.

Если Леша заходил вечером послушать музыку, она холодно кивала. Когда он приносил еду, она ни к чему не притрагивалась. А Мартин, боязливо поглядывая на сестру, отщипывал кусочек булки. Так ли он ел прежде, когда сестра еще не приезжала! Леша знал, что их мать погибла в Берлине во время бомбежки. Отец убит где-то в России. Жених девушки потерял рассудок и уже два года находился на излечении в больнице.

Ну что ж, — думал Леша. Я не буду рассказывать тебе, что случилось с нашими отцами и женихами, ты не поймешь. Может, это от моей бомбы погибла твоя мать. Может быть... Но я не хочу об этом думать. И я не буду ходить к старику, пока ты здесь.

— Ты не влюбился ли в эту? — спросил его однажды Борька Петровский.

Леша даже отвечать не стал. Сейчас так много лежит между людьми, столько смертей, столько страшного в памяти — разве через это переступишь? Когда-нибудь это пройдет. Пройдет, наверно. Про Мартина он не помнит, что мальчишка немец. А когда смотрит на его сестру, только это и помнит. А тот мальчишка в Кенигсберге, кто он был — немец? Просто мальчишка, вот кто он был. Кенигсберг горел, горела с обеих сторон улица, по которой мчался Лешкин «виллис». И вдруг он увидел, что по этому огненному тоннелю бежит ребенок. Он остановил машину, схватил мальчишку и посадил рядом с

собой. Мальчику было лет пять, и казалось, он ничуть не испуган.

— Дядя, — сказал он, — там лежит лошадь.

— Где твоя мама?

— Нету. Дядя, а там...

— Кто у тебя есть?

— Бабушка. Дядя, там лежит лошадь.

— А где твоя бабушка?

— Не знаю. Дядя, а там лежит лошадь.

Вот что его поразило: лежащая неподвижно лошадь. Лошадь, которая на всех картинках всегда бежала. Он не был для него немцем, этот мальчонка. И Мартин не был. А вот сестра Мартина... Она была немка, и больше никто.

— Не обижайтесь на Гертруду, — сказал Гессе.

— Я не обижаюсь...

Еще чего — обижаться...

Он проводил их к поезду, когда им пришла пора уезжать. Помог донести чемодан. А еще через лето Мартин снова приехал — ему уже минуло тринадцать. Ростом он вымахал чуть не с Лешу. Неуклюжий, нескладный подросток. Он разговаривал с Лешей отрывисто, настороженно. Совсем другой мальчик. Видно, не надо расставаться с теми, к кому прикипел. Простишься и хранишь в памяти того, с кем протиснулся. А потом увидишь и понимаешь: чужой. С Мартином надо было заново знакомиться. Но Леша не хотел. Он хотел только одного: домой.

Его долго не отпускали. Мурыжили, мурыжили... И когда он совсем уже перестал надеяться — отпустили. Ах, какое это было счастье — снова очутиться в Москве!

Век буду глядеть, не устану. Век буду топтать по этим мостовым, не привыкну. Разве к счастью привыкают?

Родители отдали ему бывшую Сашину комнату. Он расставил на полках свои книги, повесил над столом портрет Андрея. Огляделся. Порядок.

Мать тотчас же организовала на Лешу очередную атаку: пора жениться... Вот у Марии Ивановны подросла дочка. Загляденье. И собой хороша, и умна. Сама себе шьет, а учится в консерватории. У Голубковых тоже очень хорошая девушка выросла. Она, может, не такая красивая, но ведь не в красоте счастье, правда, Леша? А характер — ангельский, родители не нахвалятся.

Нина Викторовна выкладывала эти свои заветные планы, а в душе побаивалась, что он засмеется или опять промолчит, как бывало. Но он вдруг сказал:

— Вот сдам экзамены, и пожалуйста: знакомь меня с этими дочками.

Леша не раз читал в книгах, как холодеет от страха спина и замирает сердце, и ему это казалось выдумкой. Ему случалось пугаться, но оно было как-то проще. Нечего было задумываться над тем, из каких ощущений состоял страх, он был мгновенен, как укол. Но страх перед экзаменами был тягучий, липкий. Вот именно: холодела спина и падало сердце. Ну, не убьют же меня? — говорил себе Леша. Ну, провалюсь, подумаешь! И отирал со лба самый настоящий холодный пот.

Все шло хорошо. Сочинение было нетрудное, а на экзамене по немецкому языку он блеснул. Молоденькая экзаменаторша спросила его, как он провел лето, и он ответил стихами Гейне по-немецки: восемью строчками из «Путешествия на Гарц».

*Я хочу подняться в горы,
Где дымки костров синеют,*

*Где груди дышать свободно
И свободный ветер веет.
Я хочу подняться в горы
К елям темным и могучим,
Где звенят ручьи и птицы,
Горделиво мчатся тучи.*

Это было, конечно, вранье: летом Леша зубрил, а не прогуливался по Гарцу, но, после того как он продекларировал эти восемь строк, его не заставили ни склонять, ни спрягать, а просто выставили «отлично». И правильно сделали!

С математикой было куда сложнее. Что-то оставалось неясным с уравнениями высших степеней и совсем плохо было с теоремой Безу. Леша считал, что все на свете было бы яснее и проще как раз без этой теоремы. И вот он сидит на устном экзамене по математике, сидит за большим черным столом. За таким большим столом одному сидеть неприятно, но сидеть по двое экзаменатор — высоченный худой старик — не разрешает.

— С точки зрения профилактики, — говорит он ехидно.

К счастью, вопросы не очень трудные и никакого отношения к Безу не имеют. Леша мог бы уже отвечать, но он выжидает: очень не хочется идти сдавать этому старику, лицо у него неприветливое, глаза прямо безжалостные. Не может быть, чтоб принимал он один! И верно: дверь открывается, и входит женщина, с ней полковник. Полковник весело говорит что-то, а женщина молчит. Она строго нарядна: черный костюм и ослепительно белая кружевная блузка. Но лицо у нее простецкое, и Леша вдруг представил ее в крестьянском платке, завязанном под подбородком. Лоб большой, а карие глаза острые, как буравчики. Вот самое

интересное в ее лице: светлый лоб и пристальные, веселые глаза. Полковник — маленький, толстый, пока с ней говорит, кажется себе и умным и красивым, это видно по его повадке: петушится, глазами поводит, вот-вот на цыпочки встанет, чтоб казаться повыше. Женщина кивает старику экзаменатору, и тот отвечает такой улыбкой, какой Леша от него вовек не ждал. Она смотрит на Лешу веселыми карими глазами, и он тотчас решает, что не пойдет отвечать никому другому, только ей. Еще не услышав от нее ни слова, он хорошо понимает, что она не добрее этого высокого старика. Конечно же она умна, насмешлива, и если он станет пороть чушь, уж наверно нисколько его не пожалеет и поставит «плохо» да еще скажет вдогонку что-нибудь, от чего и через десять лет, как вспомнишь, обдаст варом. И все-таки он хочет отвечать ей.

Толстый полковник спрашивает:

— Товарищи офицеры, кто из вас готов?

Леша встал. Она подошла, села к нему за стол и сказала:

— Если хотите, можете взять учебник.

— Учебник?! На экзамене?

— Да. Вынимайте шпаргалку, коли она у вас есть.

Шпаргалка — вещь глубоко прогрессивная: если человек может уместить целый курс на маленьком клочке бумаги, он проделывает огромную работу. А я уж как-нибудь разберусь, вызубрили вы или действительно знаете.

Леша засмеялся и стал отвечать. Он отвечал бойко, ему нисколько не было страшно. Она слушала не перебивая, и Леше даже казалось, что она не слушает, а просто смотрит на него.

— Скажите, кто вы? — вдруг спросила она. — Летчик? Штурман?

— Штурман.

— Почему же вы не пошли на штурманский факультет?

— Хочу стать инженером. Я считаю, это интересное сочетание специальностей: инженер и штурман.

— Переходите ко второму вопросу, — говорит она. И едва Леша умолкает, снова спрашивает:

— А инженером-испытателем вы не хотите стать?

Леша удивлен, он в восторге:

— Как вы догадались? Именно инженером-испытателем. Вот таким, как Галлай.

Леша уже не выставляется, не думает, как бы ее удивить, ему просто интересно рассказывать ей.

— Я не уважаю этого, ну, когда испытывают прибор и знают только, как ручку вертеть. Я хочу, чтоб для меня не было ничего тайного. Чтоб и конструктору помочь. А может, я сам что придумаю. Вот к нам на фронт Галлай приезжал, мы на «пешках» летали. Так ему летчики говорят: непослушная она на посадке, особенно двадцатка — это номер у нее на хвосте двадцатый. Техники объясняют: ничего, мол, не поделаешь, конструкция у нее такая. А Галлай взял да и слетал на двадцатке, а она вдруг лучше командирской машины садится. А уж как Валентик сажал — будь здоров! Лучше его не посадишь. Вот так и мне хочется.

Она берет в руки Лешин экзаменационный листок и говорит:

— А ведь вы неважно отвечали...

— Пожалуй, — говорит Леша, к своему удивлению ничуть не обидевшись.

— Ну-ка, что у вас там за письменную? Четыре? Так тому и быть!

Взяв экзаменационный листок, Леша встал и уже пошел было к выходу, но вернулся.

— Вы до войны тоже здесь преподавали? — спросил он.

— Да, — ответила она.

— А вы не помните такого слушателя... Андрея Москвина?

Ее лицо стало очень серьезным.

— Это мальчик, который погиб в Испании? Помню. Очень помню.

— Это мой брат, — сказал Леша и ушел, не дождав-
шись ответа.

Мальчик... Она сказала: мальчик. Ну конечно, Андрею было двадцать четыре, когда он уехал в Испанию. Это только Леше он казался большим и взрослым. А он был моложе, чем Леша сейчас... Он был еще мальчиком, и он не вернулся...

Как хорошо, что академия недалеко от Тимирязевки, от Саши, Мити, девчонок. Леша любит бывать там — и подолгу сидеть, и забегать на минутку после занятий. У них стало хорошо. Совсем не так, как в Ташкенте. Нет тягостного молчания, легко и открыто, что ли. Завели мальчишку Женю. Он от них не уходит, занятый такой пацан. Леше кажется, что этот Женя похож на него, на Лешу, в детстве: озорной, но без злобы. Любознательный, горячий и к Поливановым прилепился накрепко. Лешу принял с тихим восторгом, еще бы: у летного состава все золотое, можно ослепнуть, глядя. Лешу во дворе у Поливановых знают все мальчишки и, когда он приходит, бегут навстречу.

«Молодой ты, а ребятишек любишь, чудно», — сказала как-то Анисья Матвеевна. Сказала в точности, как Гессе. А что же в этом чудного? Они для него не просто ребятишки, а люди, одни ему по душе, других он не лю-

бит. Вот Алика, сына Нины Георгиевны, он не любит. Плакса, и взгляд неверный, и труслив. Однажды он кричал во дворе одной девочке: татарская морда, татарская морда! — увидел Лешу и сразу кинулся бежать, понял, что сейчас схлопочет! А другие ребята Леше очень нравятся. Занятный народ. Один крепыш лет двенадцати, смуглый, сероглазый. Мальчик как мальчик, не отличишь от других. Между тем в его биографии есть довольно незаурядное событие: его вернули из бегов — хотел добраться до Кореи, воевать. А другой пацан, Валера, живет над Поливановыми. Он, говорят, и учится примерно, и в школе ведет себя хорошо. Но дома и во дворе неистощим на всякие козни, и при этом к нему не придерешься. Однажды он долго барабанил в дверь поливановской квартиры, а когда рассерженный Леша, выглянув, спросил, что ему надо, ответил безмятежно:

— А у вас тут написано, чтоб стучать, вот я и стучу. Сам же просят, а потом ругаются.

И верно — на дверях было написано: «Звонок не работает. Просьба стучать».

Еще над Поливановыми живет Степа Лубенцов — забияка, враль.

Есть еще широкоплечий хмурый парнишка по прозвищу Мустафа. Взрослые Мустафу не любят, а Женя с Анютой готовы за него в огонь и воду. Вся эта ребятня сидит на лестничной площадке и подолгу о чем-то разговаривает.

— О чем они? — сказала Саша однажды.

— Уж наверно не о безударных гласных, — ответил Митя. Митя... Он скажет!

— Митя, — говорит Леша, — есть у вас в редакции хорошенькие девушки?

— Как не быть!

— Познакомь.

— Помоложе? Постарше? — деловито спрашивает Митя. — Блондинки? Шатенки?

— Твое дело познакомиться, а уж я сам разберусь. Впрочем, я на тебя полагаюсь. А то все мамины девушки какие-то чокнутые. Одна всерьез стала мне объяснять, что есть войны справедливые и несправедливые. Другая ни о чем, кроме тряпок, не говорит. Третья...

— Что, — спрашивает Саша, — выборная кампания продолжается?

— Я не выбираю, а ищу. Это разные вещи.

— Больно деловито ищешь. Неплохо бы для начала влюбиться. Тебе не кажется?

Ну, кажется. Но видно, это не делается по заказу. Леша был у Мити в редакции на октябрьском вечере, танцевал со всеми девушками, все они были милые, но ни у одной из них он не спросил номер телефона. Он водил в кино дочку Марии Ивановны и был в театре с дочкой Голубковых Настей, которую про себя называл «не в красоте счастье». Но оказалось, что ему гораздо интереснее пойти в кино с Катей. Да, с племянницей Катей. Она подросла, и с ней было о чем поговорить.

— Леша, — сказала она вчера, — вот смотри, как сказано в книжке: «Не верь тому, что говорят тебе твои глаза, спроси свое сердце, оно скажет правду». Что глаза говорят — я понимаю, а вот что сердце говорит — не понимаю. Я его спрашиваю, спрашиваю, а оно молчит. Объясни мне, как оно разговаривает.

— Гм... Ну, как бы тебе сказать...

— Может, оно покалывает?

— Вот, вот, — обрадовался Леша, — именно покалывает.

— И что же это значит, если покалывает?

Вот то-то оно и значит... А у Леша сердце не покалывало — ни тогда, когда он сидел в кино с дочкой Марии

Ивановны, с той самой дочкой, которая училась в консерватории и сама себе все шила, ни когда шел в театр с Настей — «не в красоте счастье»... Иногда он с удивлением замечал, что ему нравятся решительно все женщины — и молодые и постарше, и красивые и некрасивые, и черноглазые, и сероглазые. Нравятся — да. Но и только.

— Опять Никольский своего парня лупит, — сказала Анисья Матвеевна, приоткрывая дверь на лестничную площадку. — Ну, чего уставились? Раз лупит, значит, за дело.

Анюта и Женя стояли молча. Застыв, они слушали, как Никольский-отец кричал:

— Ты у меня будешь знать, ты у меня узнаешь, как воровать, дрянь ты этакая!

— Подумать только, — сказала Анисья Матвеевна, заворя дверь. — Ворует! Да разве ему дома в чем отказывали? И в кино, и на каток, и мороженое — ни в чем откату не было. Разбаловали! То из дому убежал, то в карман полез. Пошли вон с кухни! — крикнула Анисья Матвеевна, но дети не шевельнулись. Они стояли, глядя на дверь, словно стараясь увидеть, что творилось там, за другой дверью, на соседней кухне, где пороли Валю Никольского. Валя молчал. Слышен был только голос старшего Никольского и плач Валиной мамы:

— Гена, ты его искалечишь! Перестань, прошу тебя!

Через несколько дней состоялась порка в верхней квартире, в семье Лубенцовых, там порол не отец, а дедушка и не на кухне, а в комнате. Судя по всему, он бегал за внуком вокруг стола, спотыкался о стулья, ронял их, потому что с потолка у Поливановых посыпалась штука-

турка. Потом шум на секунду стих и тут же сменился ужасным криком Степы Лубенцова: он был не так стоек, как Валя Никольский, и кричал изо всех сил.

— Ойё-ёй! — слышалось сверху. — Ойё-ёй!

— Так его, — сказала Анисья Матвеевна, — за воровство только и пороть. Эту дурь надо вытряхивать с малолетства.

— Степа тоже воровал? — спросила Саша.

— А как же, — ответила Анисья Матвеевна, которая всегда все про всех знала. — За руку схватили: лез в дедов карман. Дед повесил пиджак и думать ничего не думал, а внучок нá тебе!

— Что за поветрие такое? Валя залез в карман, и Степа тоже. Странно... — сказала Саша, взглянула на Аню и, сама не понимая почему, неожиданно для себя спросила: — Анюта, ты что-нибудь знаешь?

Склонившись над тетрадкой, Анюта молчала.

— Анюта... — повторила Саша.

— Ничего мы не знаем, — сказал Женя. — Откуда нам знать?

— Ты говоришь неправду, — сказала Саша.

Ответа не было.

«Что же такое? — думала Саша, глядя на детей. — Живешь с ними душа в душу, тебе кажется, что все о них знаешь, гордишься, что они доверяют тебе, — и вот...» Саша положила руку Анюте на голову. Всегда в ответ на это Анюта поднимала лицо и улыбалась Саше навстречу или терлась щекой о Сашину руку. Если Саша клала ей руку на голову или гладила по щеке, это значило: ты — моя милая. Или: давай поговорим. Или: мне некогда, я ухожу, но я про тебя помню. И Аня всегда отзывалась. А вот сейчас она только ниже нагнула голову, почти легла щекой на тетрадь. А Женя смотрел в угол, крепко стиснув зубы.

— Я не буду больше спрашивать, — сказала Саша. — Захотите, скажете сами.

Прошла молчаливая, невеселая неделя. Митя был в командировке, дети пропадали во дворе. Часам к шести Анюта приходила и садилась за уроки, а Женя шел прямо домой. Саша ни о чем не спрашивала, Анюта молчала. А Степу Лубенцова пороли каждый Божий день.

— Ты скажи мне, кто тебя научил! — неистовствовал дед.

— Ой-йёй-ёй! — вопил в ответ Степа.

— Тут не без Мустафы, — сказал Леша, — голову даю на отсечение. Анюта, я никому ничего не скажу, ты мне только ответь: Мустафа?

У Ани теперь на все был один ответ: она опускала голову. И ни слова.

И вот грянула буря. Поздно вечером, когда дети уже спали, к Поливановым зашла Антонина Алексеевна.

— Сашенька, — сказала она, — я молчала до поры до времени, но я думаю, что это неразумно. Дело в том... одним словом...

— У вас что-нибудь пропало? — спросил Леша.

— Месяц назад у Семена Осиповича пропал кошелек. Там ничего особенного не было... мелочь... Рубль, кажется... Не помню... Я, признаться, решила, что он его куда-то засунул. Одним словом, не придавала значения... Но неделю назад пропала десятка из ящика. Я решила, что ошиблась в счете... Но на другой день...

— Я сейчас разбужу Анюту, — сказала Саша.

— Нет, — торопливо перебил ее Леша. — Я завтра с ней сам поговорю.

— Да вы очумели? — сказала Анисья Матвеевна. — При чем тут девка? Да вы что, без глаз? Это парень, это Женька ваш орудует. Ну, зачем он тут околачива-

ется с утра до ночи? Ну, покормить, ладно, это я понимаю. Поел — и иди подобру-поздорову. Ты скажи, Александра, зачем ты эту заразу привечаешь? Ты мне скажи, зачем? Не солнышко, всех не обогреешь, мало ли их безотцовских — что ж, всех в дом тащить: ешь, пей, воруй? Нечего девчонку будить. Я завтра этого стервеца сама изловлю и выдеру как сидорову козу. Смотри! Ходить перестал! То с утра до ночи здесь, а то, гляди, нет его. Знает кошка, чье мясо съела! Ах, пащенок!

Она стояла простоволосая, на пергаментных желтоватых щеках выступил непривычный румянец.

— Я очень жалею, — сказала Антонина Алексеевна, — но согласитесь: что же мне делать? У нас никто не бывает, только дети. И пока Анечка ходила одна, никогда ничего такого не было.

— Да Женька, Женька это! Неужто непонятно! — закричала Анисья Матвеевна.

— Это я! — слышалось с Аниной кровати. Все обернулись. Аня сидела, свесив с кровати босые ноги. Ситцевая ночная рубаша в голубых цветочках. Тонкая шея. Глаза глядят отчужденно. — Это я взяла деньги!

— Ты? Ты взяла? И у кого!

— Очумели вы все! — крикнула Анисья Матвеевна. — Не она это, говорят тебе, не она!

— Это я, — шепотом повторила Аня.

На другой день, выйдя из академии, Леша увидел Женю. Должно быть, он дождался давно: окоченел в своем пальтишке на рыбьем меху; нос красный, губы синие. А заговорил — зуб на зуб не попадает.

— Алексей Константинович, это я взял деньги! — сказал он, не здороваясь. — Анюта врет, это я, честное слово!

— Какое у тебя может быть честное слово. Ну, рассуди сам. Как я могу верить человеку, который... — Леша даже остановился, посмотрел на Женю и вдруг сказал: — Вот что, брат, у нас с тобой есть только один выход: поговорить начистоту. Выкладывай все как есть.

— Я не могу. Это тайна.

— Тогда уходи.

Леша ускорил шаг, Женя почти бежал следом. В молчании они дошли до Поливановых, Леша безжалостно шагал через три ступеньки, Женя, изнемогая, едва за ним попевал. Они вошли. Саши еще не было. Аня лежала, уткнувшись лицом в подушку, Катя сидела рядом на низкой скамеечке — эту скамейку Митя смастерил для Анисьи Матвеевны: старуха ставила на нее ноги, когда садилась вязать.

— Анюта! — окликнул Леша. Она не шелохнулась. — Анюта! — повторил Леша. — Женя говорит, что деньги взял он!

Анюта тотчас села, отвела со лба прядь светлых волос и, не глядя на Женю, сказала:

— Неправда. Это я.

— Врет! Она врет! Честное слово, это я!

— Я тебе сказал, чтоб ты оставил в покое честное слово. Катерина, уходи, мне надо с ним поговорить.

— Чтоб ноги твоей!.. — крикнула с порога Анисья Матвеевна. Она вошла в пальто, в платке, с готовой бранью на губах.

— Анисья Матвеевна, — твердо сказал Леша, — возьмите Катерину и оставьте нас одних.

— Я уже большая! — закричала Катя. — Я большая, и я почти все знаю! Только я молчала!

— Анисья Матвеевна! — зловеще произнес Леша.

Анисья Матвеевна рывком схватила Катю за руку, и дверь за ними захлопнулась.

— Выкладывайте все как есть, одну чистую правду. Женя, ну!

Это была длинная скорбная повесть. У них во дворе есть тайное общество. Во главе стоит Мустафа. У них все есть — и таинственные условные знаки, и шифрованные письма, и билеты. Женя вытащил из-за пазухи изрядно потрепанную, сложенную вдвое картонку. На ней было написано: «Обязуюсь хранить клятву. Обещаю никогда не выдавать товарища. Мое слово — кремень. Моя рука — товарищу опора».

Но дела членов общества никак не совпадали с высокими словами, написанными на скрижалях. Мустафа давал задание: или задушить кошку, или разбить стекло, да так, чтобы нипочем не узнали — кто. Стащить у отца десятку, чтоб ни одна душа не заметила, а в случае чего стоять твердо, насмерть, и молчать под угрозой любых лишений.

Валю Никольского уже застигли на месте преступления: попросту, когда он лез в карман отцовского пиджака. Степа Лубенцов тоже попался. Но Валька держится крепко, молчит упорно. А Степка... Степка не любит, когда его лупят. Девочек в общество не брали. Но Женя головой ручался за Анюту, и летом, когда вернулся Леша и поразил всех мальчишек во дворе своими орденами да еще тем, что, не чинясь, играл с ними в волейбол и чижика, — для Ани сделали исключение. У нее был такой экзаме́н: подойти к чужой женщине на улице и выругаться. Анюта долго не решалась. Они с Женей часа два околачивались на улице, выбирая, к кому бы подойти. Анюта сразу отмела старушек — старых жалко. Потом мимо них прошла женщина с тяжелой кошелкой в руках — нет, не

подойду, она устала, мне ее жалко... Анюта выбрала высокую нарядную женщину, которая вела на ремешке черную таксу. Подошла и сказала:

— Вы очень глупая.

Женщина остановилась, пристально поглядела на Аню и сказала:

— Передай твоей маме, что она плохо тебя воспитывает.

«Вы очень глупая...» Леша подозревал, что Мустафа имел в виду не такие вегетарианские слова. Но видимо, Женя, которому была поручена проверка, решил взглянуть на это сквозь пальцы.

Неважно жилось Анюте с тех пор, как она стала членом общества, но она не знала, как быть. Уйти самой, без Жени, казалось ей нечестным. А Женя теперь, пожалуй, тоже ушел бы, но не решался. Он состоял в обществе с конца четвертого класса. А теперь они в шестом: почти два года. Как тут взять да уйти?

И вот недавно Мустафа велел ему стащить двадцать рублей у Поливановых. Женя наотрез отказался:

— Лучше уйду из общества, а у них брать не буду.

— Тогда возьми у слепого.

Женя не решился сказать об этом Ане. Он стащил у Семена Осиповича кошелек, там лежал рубль. А потом десятку из ящика и на другой день еще девять рублей, всего двадцать. Отдал Мустафе, а сам стал копить деньги, чтоб тихонько подложить Семену Осиповичу обратно. Он уже скопил двенадцать рублей, они лежат у Семена Осиповича в толстой книге, которая стоит на вертящейся этажерке. Ну, рядом с телефоном.

Анюта об этом не знала. Но когда услышала ночной разговор, все сразу поняла и сказала, что деньги взяла она. Вот и все...

— Вот и все, вот и все... — бормотал Леша, шагая по комнате. — Тайное общество — это я понимаю, — сказал он, останавливаясь перед Анютой. — Это интересно. Согласен. Но с чего вы взяли, что украсть или выругаться в лицо женщине — так увлекательно?

— Нам было не увлекательно, мы хотели выйти из общества, но ведь мы дали слово.

— Нет, объясни мне, зачем было душить кошку? Или ругать ни в чем не повинную тетку, нет, объясните?

— Мы воспитывали волю. Когда воспитываешь волю, нельзя делать, что хочешь, а надо делать, что нипочем не хочешь. Думаете, весело душить кошку? Она мне чуть глаза не выцарапала. Вот спросите у Александры Константиновны, какой я пришел: весь в крови.

— А ты думаешь, мне приятно было слушать, как та женщина сказала: передай своей маме, что она очень плохо воспитывает. Я потом плакала и не хотела идти домой, а недавно я сказала Мустафе: я очень рада, что вы меня приняли, но воровать я не буду. И никто не должен. А Мустафа ответил: когда человек берет тайком, он воспитывает волю. Боится, а берет... Вот его схватили, ругают, лупят, грозятся, а он молчит. Молодогвардейцы таскали у немцев сигары, патроны и консервы. Я говорю: но ведь это у немцев! И для дела!.. А Мустафа отвечает: а когда нужно будет — не сумеешь, уже учиться некогда будет. Так, что же, Сергей Тюленин в мирное время воровал, что ли? Нет, они сразу были герои. А мы должны учиться на героев.

«Какая мешанина! — думал Леша, глядя на ребят. — Какая мешанина у них в голове!» В его детстве тоже было тайное общество. Он помнил маленький квадратик из шершавой оберточной бумаги. В правом верхнем углу был выведен черной тушью знак зеро. Они тоже воспитывали волю и лазили по пожарной лестнице на крышу,

а на крыше ходили по краю — Леша и сейчас помнит, как в первый раз у него все завертелось перед глазами, он чуть не свалился. И слабость в ногах помнит, и унижительное чувство страха, и еще ужас: Петька Волошин, шедший впереди, неожиданно повернулся к нему — а вдруг угадает, что Леша боится!

Но кому из них в голову приходило воспитывать волю, залезая в чужой карман?

Аня сидит на стуле с ногами. Она осунулась за последние дни. Скоро тринадцать, а на вид десять. Какие глазщи у девчонки. Сейчас на этом лице ничего, кроме глаз, не видно. Женя стоит у стены и словно хочет вжаться в нее, пропасть, согнуться.

— Что же мне с вами делать?.. — снова повторил Леша.

Ему не пришлось долго раздумывать: в тот самый час, когда он разговаривал с Анютой и Женей, дедушка Лубенцов выбил-таки из внука признание и отнес злополучный билет тайного общества директору Степиной школы. Директор посмотрел на билет, прочел заветы и дрожащими руками набрал по телефону номер райкома комсомола. Не прошло и часу, как во двор к Поливановым приехал представитель райкома, и все затрепыхались, заволновались, и все стали спрашивать: почему? Откуда? Как это могло случиться?

— Сестра, — говорит, тяжело дыша, больной из первой палаты, старик Гинзбург, которого мучает грудная жаба, — сестра, скажите доктору Королеву, чтоб выписал меня. И я уеду к себе в Сухуми. Дать дуба можно и под кипарисом.

— Это вы совершенно справедливо заметили. Но зачем вам давать дуба? Вам надо лечиться и выздоравливать.

— Нет, я конченный человек. Я это и сам знаю. А ночью мне было плохо... и я позвал сестру Прохорову. Она мне дала лекарство и сказала: пей не пей — все равно помрешь. Не стоило ехать в такую даль, в самую Москву, чтоб услышать это, а? Как по-вашему?

— Она не могла так сказать. Вам послышалось.

— Я плохо вижу. У меня астма, и мне нечем дышать. Кроме того, судя по всему, у меня рак печени. Но слух у меня, благодарение богу, хороший. И я слышал это своими ушами. И может, это милосерднее, чем морочить человеку голову и уверять, что он выздоровеет, когда у него рак печени. Почему вы не говорите, что у меня рак печени?

— Потому что у вас его нет. У вас язва желудка, а не рак.

— Да, да. Когда рак печени, больного всегда уверяют, что у него язва желудка...

Он скажет слово, потом остановится, помолчит, тяжело дыша. Выцветшие голубые глаза смотрят на Сашу жалостливо: что, мол, нелегко обманывать старика?

Он прав. У него рак. Он обречен. Но и Саша, и Королев, и Прохорова здесь затем, чтобы облегчить ему последние дни, а не затем, чтоб ночью сказать один на один: пей не пей — все равно помрешь. А Прохорова, конечно, так и сказала. И на нее нет никакой управы. Таких людей надо хватать за руку, иначе они отпрутятся. Она сказала это больному ночью, когда за темным окном качался на ветру фонарь, а в палате все спали, только стрик не спал, со свистом выталкивая дыхание из груди. Она поднесла ему лекарство и шепотом сказала:

— Пей не пей — все равно помрешь.

Сестра Прохорова осмелела. Прежде она была осторожнее. На днях доктор Королев поймал ее с поличным. Он поднялся ночью из операционной к себе в хирургическое отделение и обнаружил, что больная из третьей палаты вот уже полчаса не может дозваться ночную сестру. Она была деликатная и не хотела будить соседок по палате. Поэтому никто не пошел искать Прохорову, а красная лампочка у третьего поста мигала напрасно: Алевтины Федоровны на месте не было...

Доктор Королев задержал Прохорову до утренней пятиминутки и сказал при всех сестрах и санитарках:

— Мой друг недавно приехал из Копенгагена, там он лежал около месяца в больнице. Послушайте, что он мне рассказал: если больной позвонил и через минуту не явилась сестра, звонок автоматически переключается к старшей сестре, не пришла она — звонок уже звонит у палатного врача, еще через минуту — у главного врача отделения, еще через минуту — у главного врача больницы. На круг уходит пять минут. И если дело дошло до главного врача больницы, весь персонал увольняется. Увольня-ет-ся! Понимаете, Алевтина Федоровна?

— Мы, слава богу, не в Копенгагене, — ответила Прохорова.

Любая другая сестра получила бы выговор за то, что не оказалась на месте, когда больному худо. А Прохоровой все сошло с рук. Почему? Иногда Саше кажется, что Аверин ее попросту боится. Он разговаривает с ней как-то осторожно:

— Послушаем мнение уважаемой Алевтины Федоровны. Вы опытная сестра, с большим стажем, что вы скажете, Алевтина Федоровна?

И его голос звучит искательно. Почему? И чуть ли не каждый день прибавляет Прохоровой уверенности: голос становится громче, шаг — тверже. Те, кто работает с

Прохоровой давно, говорят, что прежде она была очень тихая. Она была такая тихая, что даже плевалась — и то лампадным маслом.

— И она очень любила начальство. Есть такие счастливые люди — они рождаются с любовью к начальству в душе, — говорит Дмитрий Иванович. — Она даже меня любила за то, что я начальство. Но она быстро поняла, что я недостойн ее любви. И она давно уже плюется не лампадным маслом, а соляной кислотой. И не она одна. Саша, Саша... вот это и есть самое страшное: тихое оподление души человеческой. Тихое, неприметное оподление души.

— Души? У Прохоровой есть душа?

— Была. У всех поначалу есть душа. Какая-никакая, а есть. Ну, довольно о Прохоровой. Что вы невеселы, Саша?

— У меня Анюта оказалась членом тайного общества.

— Ну да? — Королев смеется. — Тсс... Как бы не проведала Прохорова! Саша, и вы поэтому невеселы? Неужели вы думаете, что бывает легкий рост?

Нет, она не думает, что бывает легкий рост. История с Аней не потому не дает ей покоя, что она воображала, будто все у нее пойдет без сучка без задоринки. Но одно она знала: ребята верят ей. Когда она сама была маленькая, мир взрослых ей казался если не враждебным, так глухим. Они ничего не понимали, когда она им рассказывала. На все был один ответ: что за глупости! или: перестань, пожалуйста!

Чуть сделаешь что-нибудь не так, разговоров не оберешься. Нина Викторовна поучала подолгу и, независимо от проступка, всегда одними и теми же словами: как тебе не стыдно! Ты растешь в интеллигентной семье.

А отец чаще всего говорил так: я тебе покажу, где раки зимуют!

Он не показывал, где зимуют раки, он только грозился. Но отца тоже огорчали Сашины проступки, и поэтому Саша издавна решила его не тревожить. Она не посвящала ни мать, ни отца в свои тайны, и они были так довольны, когда все шло тихо!

Когда Аня выкладывала ей, что с ней случалось за день, Саша думала: ну вот, она не боится, что я не пойму. Как хорошо! И она берегла это и никогда не бранила без толку, а главное, ей и вправду было интересно и важно все, что творилось в Анином мире.

Так чего же она не углядела? Или — воспитывай не воспитывай, а толку все равно не будет? С тех пор как было обнаружено тайное общество, Сашу чуть не каждый день вызывали на какое-нибудь собрание в школе: то на классное собрание, то на собрание школьного родительского комитета, то на заседание педсовета. Чего только она не услышала на этих собраниях! Она услышала, что Мустафа, насаждая ложную таинственность, хотел подменить пионерскую организацию. Что недурно бы заинтересоваться, не стоит ли кто-нибудь из взрослых за его спиной? Из нашей школы членом этого общества была только одна шестиклассница Москвина Аня, но, товарищи, нам всем следует задуматься!

Давно известно, в жизни темные полосы идут подряд. Одно хорошо: Леша вернулся. А все остальное заскрипело, как несмазанная телега. У Мити тоже худо. На работе. Это, пожалуй, еще серьезнее, чем Анины тайны. А впрочем, кто его знает, что серьезно, а что несерьезно.

Недавно Савицкий позвал Митю к себе и сказал:

— Вы знаете, как я отношусь к вам, Поливанов. Скажите, это верно, будто вы в одном частном разговоре заявили, что в нашей газете нельзя критиковать никого чином выше управдома?

Митя сказал;

— Я этого не говорил, но с удовольствием присоединяюсь. В нашей газете ни на кого, кроме управдома и дворника, руку поднять нельзя.

— Поливанов, вы не можете попридержать язык?

— Могу.

— Вот, пожалуйста. А уж если очень приспичит, приходите сюда и выкладываете мне.

— Хорошо. Очень, конечно, хотелось бы знать, какая сволочь...

— Оставим это. И вот что я хотел вам сказать. Время трудное, Поливанов. Переходите-ка на внештатную. Будем платить вам рублей четыреста, ну, шестьсот, остальное доработаете гонорарами. А из штата уходите.

— Почему?

— Время трудное, Дмитрий Александрович... Сложное время... А у вас за плечами плен. Я советую вам, как друг, как человек, который...

А сейчас Митя в Свердловске. Зачем? Он ей так нужен сейчас. Ей плохо нынче. Аня? Нет, не только Аня, что-то еще... Это случилось вдруг, не тревога, тень тревоги, странное ощущение, словно что-то ускользает. Он звонил прошлой ночью, и, ложась в постель, Саша все еще слышала — даже не слова, а звук его голоса: счастливый, уверенный. Так что же ее мучает? Аня... Да, Аня и что-то еще...

— Вы домой? — слышит она голос Королева.

— Нет, сегодня я в концерте.

— Как всегда — одни?

— В консерватории я всегда одна.

— Ну идите. И омойтесь, а завтра приходите веселая.

Ладно?

А вот и Прохорова пришла заступить в ночную смену. Саша сдает ей дежурство, подробно рассказывает обо

всех назначениях: камфару Петрушевич, пантопон Федотовой... И под конец, помедлив, говорит раздельно:

— А если вы повторите старику Гинзбургу свои подлые слова...

— На что вы намекаете?

— Если вы повторите свои подлые слова — вы будете иметь дело со мной.

— Не угрожайте, пожалуйста! Тоже нашлись — угрожают. Если вам охота слушать сплетни...

— Сплетни не сплетни, а только запомните: будет плохо. В министерстве есть человек, который поверит мне, мне, а не вам. Понимаете?

Судя по тому, что Прохорова не кричит в ответ, а говорит тихо, почти шепотом, она поверила, что у Саши и впрямь есть в министерстве рука. Вот и ладно. Раз поверила, значит, поостережется. А теперь скорее в метро! Вот и Охотный, вместе с толпой — на площадь. Снег падает пушистыми крупными хлопьями. Саша идет к Манежу, сворачивает на улицу Герцена, и уже у клуба МГУ какой-то ошалелый юнец спрашивает:

— Нет лишнего билетика?

Начало концерта задерживается. Пять минут, десять. И вот наконец выходит пианист. Он кланяется. У него круглое, полудетское лицо, нос в веснушках. Он широкоплеч, приземист, и волосы — рыжие. Люди хлопают, и он садится на стул, привычно откинув фалды фрака.

И вот — началось... Рыжий пианист закусил губу, ударяет по клавишам. Он словно вступил в единоборство с роялем. Рыжие вихры его растрепались, круглое, в веснушках лицо больше не кажется юным. Оно трагическое. И ему не стыдно, что лицо его раскрыто, распахнуто настежь и все можно по нему прочесть. Он будто забыл, что есть зал, полный народу, что он не один. Лицо его перекослено, оно некрасиво и странно. И наедине с этим

человеком, прикрыв ладонью глаза, Саша слушает музыку.

«Что со мной? — думает она. — Почему мне так тревожно? Почему мне одиноко? Аня? Митя? Прохорова?»

И вот она снова на улице. Домой. Она идет быстро. А вдруг вернулся Митя? Это бывает, что он приезжает неожиданно. Тогда он будит детей даже глубокой ночью. И это — славная ночь, с веселым чаем, с долгими разговорами. А когда дети уснут, они останутся вдвоем...

Но Мити сегодня нет. Саша идет опустив голову. Откуда это чувство одиночества? Его дальний, неясный звук? От музыки? Нет. Что же это? Саша ускоряет шаг, идет все быстрее, быстрее.

В столовой темно, Анисья Матвеевна уже спит. Под дверью в Сашину комнату полоска света. Она входит к себе и видит всех троих на диване: Лешу, Катю и Анюту. Мити нет.

— А кто будет спать? — спрашивает Саша. — Леша, почему они не легли?

— Мы заговорились, не сердись. Это я виноват. Я им рассказывал, как мы с тобой были маленькие. Кроме того, у Катерины есть важное сообщение.

— Мама, у нас завтра родительское собрание. Сначала для всех сразу прочитают доклад про воспитание, а потом родители разойдутся по классам и учителя устроят классное собрание. Велели приходить ровно в семь.

— Нет, — сказала Саша, — я не пойду. Я слово «воспитание» больше слышать не хочу.

— Из-за меня? — печально спросила Анюта.

— Мама, вот повестка, ты видишь, тут сказано: «Явка обязательна», ты видишь? Ты пойдешь, ладно?

— Нет. По крайней мере на три месяца мне противопоказаны слова: собрание, заседание, воспитание. От таких слов меня просто кидает в дрожь.

— Ладно, — сказал Леша, — не горюй, Катерина, я пойду и послушаю эти слова.

На общешкольное родительское собрание Леша опоздал, его задержали в академии. Он пришел сразу на классное. Поднялся на третий этаж, отыскал табличку «второй класс «В» и открыл дверь. В комнате сидели взрослые, собрание, видимо, уже началось.

— Извините, — сказал Леша, быстро прошел в конец класса и с трудом сел за маленькую низкую парту.

У стола стояла молодая девушка в черном свитере со светлыми, коротко стриженными волосами.

— Так вот о Вале Стрелковой, — сказала она. — У нас все любят Таню Веселкину, берегут. А Валя улучит минуту, когда никого поблизости нет, и дразнит ее.

— Как дразнит? — деловито сказал пожилой человек в коричневом поношенном костюме и рубашке без галстука.

— Ну как... — сказала учительница и запнулась.

— Как, как! Горбуньей и дразнит! — сказала женщина, сидевшая неподалеку от Леша.

— Учтем, — сказал человек в коричневом костюме, — учтем и поучим.

— Как вы будете ее учить, Владимир Петрович? — спросила учительница.

— Выдерем, — деловито ответил Владимир Петрович.

— Тогда вы больше ничего от меня про Валю не услышите. Что бы она ни сделала, я вам не скажу.

— Но неужели же за такое по головке гладить? — спросила молодая женщина с яркой белой прядью в черных волосах. — Ведь это такая жестокость дразнить ре-

бенка, который... И если сейчас не принять меры, я даже не знаю, что из этой самой Вали вырастет.

— И вы думаете, если Валу высечь, она поймет, что дразнить Таню нельзя?

— Уж не знаю, что она там поймет, — сказал Владимир Петрович, — а дразниться перестанет. Ее отец был такой же. Я его порол — и вырос человеком. Конечно, девчонок так пороть не станешь, они поделикатнее. Но если она позволяет себе дразниться, я на эту деликатность не посмотрю и выпорю за милую душу.

— Простите, — сказал лохматый мужчина в очках. — Я спешу, мне на поезд. Я хотел бы, Татьяна Сергеевна, спросить про свою дочку.

— А вы кто?

— Я папа Оли Кузнецовой. У нас обычно жена ходила на собрания, но на этот раз пришел я, поскольку она себя плохо чувствует, а Ольга говорила, что явка обязательна и, если никто из нас не явится, придет конец света.

Татьяна Сергеевна засмеялась и стала объяснять, что Оля — прекрасная девочка.

Сейчас она спросит: а вы кто? — подумал Леша. Я — дядя Кати Поливановой, скажет он. Нет, это звучит глуповато. Если человек говорит о себе — я брат, я муж, сын, отец — это звучит, но «я — дядя» — это смешно. Он приготовился сказать: «Катя Поливанова — моя племянница», но Татьяна Сергеевна ни о чем его не спросила.

Леша терпеливо слушал о том, что Тоня Копорулина очень хорошая и способная девочка, что у Нины Волковой хромает устный счет, а Лена Исакова, конечно, умница, но у нее самые грязные тетради во всем классе. Что-то есть неправильное в таких собраниях, — думал Леша. Некоторые папы, мамы, дедушки и бабушки сиде-

ли спокойно и даже горделиво или же, наоборот, скромно потупясь. Их дочек и внучек хвалили. А другие папы и мамы маялись. Им было неловко, совестно, завидно. Уж лучше бы им поговорить с учительницей наедине. Но ведь и ее надо пожалеть — куда ж ей разговаривать с каждым в отдельности. И только дедушка Вали Стрелковой ничуть не смущался и все время гудел:

— Если она позволяет себе такие безобразия, чтоб дразниться, то я уж и не знаю, Татьяна Сергеевна, почему это я должен ее жалеть. Она-то своих подружек не жалеет...

Потом собрание кончилось, но папы и мамы долго еще осаждали Татьяну Сергеевну. Они пережидали друг друга, подходили поодиночке, говорили вполголоса:

— И, понимаете, вижу, что врет. Глаза, понимаете, отводит... И вот я хочу посоветоваться... — долетало до Лешки.

Когда все ушли, Татьяна Сергеевна посмотрела на него и спросила устало:

— А вы чей папа?

Застигнутый врасплох, Леша ответил:

— Я дядя Кати Поливановой.

— А! — сказала она. — Катя ужасно вами хвастается.

— Вам Катя не нравится? — спросил Леша.

— Напротив. Очень хорошая девочка. Знаете, не дожидаясь, пока дедушка выпорот Валю, она сама ее поколотила.

— Но вы же против телесных наказаний?

— Конечно. И я сделала Кате выговор. Но я ее понимаю.

Они шли по улице и разговаривали про воспитание. Леша был доволен, что Катя вступилась за горбатую девочку и поколотила Валю Стрелкову. Это было справедливо.

— Вообще очень справедливая девчонка, — говорил Леша. — Несколько лет назад я приезжал сюда в отпуск. И пошел с Катей в зоопарк. Никогда не забуду! Катерина прямо упивалась: звери, птицы! И все живые! И обезьяны! Потом пошли мы к рыбам, постояли около аквариумов. А напоследок зашли ко льву. Он был очень большой и сердитый. — Леша вдруг засмеялся. — Наверно, в отличие от Исаковского, ему нужна была Африка. Он ревел, кидался на решетку. И вдруг Катька — ей было тогда четыре тогда — подскочила к самой клетке и стала кричать ему в ответ. Постойте, что же она кричала? «Никто тебя не боится!», «Перестань сейчас же, кому говорю?», «Ты что, фашист, что ли?». Они долго рычали друг на друга, я ее, знаете, еле уволок. Я уже тогда понял, что у нее в жизни будет много неприятностей.

Татьяна Сергеевна засмеялась и спросила:

— А потом?

— Потом? Потом мы пошли в молочное кафе. Простокваша с булкой тоже произвели на нее огромное впечатление.

— Нет, я не про это. А потом вы уехали? Ну конечно, вы же и есть тот самый дядя Леша, который живет в Германии.

— Да, я действительно тот самый дядя Леша. А мою старшую племянницу вы знаете?

— Анюту? Ну конечно. Она часто приходит к нам в класс. Девочка с таинственным личиком.

— С таинственным? — переспросил Леша и умолк.

На дворе стоял январь, но уже тянуло весной. Едва уловимо. Влажный воздух, сорвавшаяся с водосточной трубы капля. Еще не капель, та будет в апреле: щедро одна за другой поскачут на мостовую капли, со звоном сорвется наземь сосулька, неторопливо поплывут в чисто вымытом небе легкие облака. А сейчас Леша с Кати-

ной учительницей идут по снежной улице, и снег летит им навстречу, но снег милосердный: не колет, не сечет лицо. Январь, но скоро весна.

— У меня есть знакомый, он тоже учится в военной академии, — сказала Татьяна Сергеевна, — только он в адъюнктуре.

— Да, до адъюнктуры мне еще шагать не перешагать. Я на первом курсе.

— А вот я и дома, — сказала Татьяна Сергеевна, и они остановились у невысокого забора, за которым притулился одноэтажный бревенчатый домик.

— Что же мне передать насчет Катерины? Какие будут педагогические установки?

— Ах да, Катя. В общем, я ею довольна. Только вот почерк...

— Плохой почерк — это у нас фамильное. Ну спасибо, не буду задерживать, — сказал Леша. — До свиданья, Татьяна Сергеевна!

— Когда мне говорят «Татьяна Сергеевна», я тотчас хочу объяснить, что приставки из-воз-низ-раз-без-чрез меняют «з» на «с» перед глухими согласными.

— Это почему же?

— Потому что по имени-отчеству меня называют только мои ученики. А взрослые называют меня просто Таней.

— До свиданья, Таня.

— До свиданья, Алеша.

На другой день Леша купил прописи и потребовал, чтоб Катя исправляла почерк.

— Ведь это, в сущности, хамство — писать неразборчиво, — говорил он. — В сущности, это неуважение к лю-

дям: разбирай мои закорючки в поте лица. Красиво — это от Бога, но писать ясно и отчетливо — это должен каждый. Усекла?

— Усекла, — отвечала Катя, пыхтя над буквой «Л». Но потом вся работа шла насмарку, потому что букве «Ф» Катя пририсовывала голову, уверяя, что это человек, а руки у него — в боки. Буква «О» получала глаза, нос и рот (точка, точка, запятая). Из буквы «Ж» при некотором старании получалась прекрасная муха...

— Мы, Поливановы, к чистописанию не приспособлены, — сказал Митя и добавил:

— Ты как-то очень вплотную занялся Катиним воспитанием.

— Есть возражения?

— Ну, какие же возражения? Напротив, я тебе выношу благодарность. Я просто рад тому, что представители Военно-Воздушных Сил республики...

— Сознайся, ты только что кончил передовую?

— Не без того!

— Сразу видно. Шпаришь, как из пулемета. Ох, журналисты, журналисты! Один приехал к нам в часть, беседовал, а потом напечатал в газете... «Самолет потерял хвостовое оперение, но летчик продолжал бой». Это то же самое, если сказать — тебе отрубили ноги, а ты вскочил и побежал со всех ног.

— Сдаюсь, — сказал Митя, поднимая руки.

Однажды Леша поинтересовался, скоро ли снова будет родительское собрание, и узнал, что, наверно, перед весенними каникулами, к концу третьей четверти.

В сущности, спешить было некуда: Катя приносила из школы хорошие отметки. Из дневника можно было узнать, что занятий она не пропускает и ведет себя от-лично.

— Больше не дерешься? — придирчиво спрашивал Леша.

— Когда это я дралась?

— А Валя Стрелкова?

— Ну, Валя... Ты бы и сам ее стукнул.

Возразить было нечего.

Прошла неделя, другая. И вот однажды Татьяна Сергеевна пришла во двор к Поливановым. Райком комсомола послал ее налаживать работу с детьми на поливановском дворе. Раз там было тайное общество...

Удивительно: она не устроила никакого собрания. Леша застал ее окруженную ребятами, она делала что-то, чего никто не мог понять. Он с удивлением увидел, что она держит в руках молоток и орудует им умело: толково вбила в землю четыре рейки, укрепила на них деревянную площадку, с одной стороны площадки сделала выступ — получился скелет какого-то животного, только никто не мог понять какого. Когда она облепила каркас снегом, Леша воскликнул:

— Кенгуру!

Все зашумели. Татьяна Сергеевна даже бровью не повела. Она только сказала Вале Никольскому: воды! И Степе Лубенцову: ваты! И Мустафе: нет ли у тебя проволоки? Мне надо много!

Все, что она требовала, появилось с быстротой молнии, и она ловко, каким-то очень точным движением изогнула проволоку, обернула ее ватой, и все увидели, что это птица, и кто-то крикнул: орел!

А она облила орла водой и, когда он покрылся крепкой ледяной коркой, сказала Леше:

— Пускай он взлетит на дерево!

И Леша приладил орла к ветке березы. «Ах, молодчага, — подумал он, — ах, молодчага!» А Татьяна Сергеевна сказала:

— У кого есть луковичная шелуха? У кого есть клюк-
ва?

В ближайшие дни бедный, ничем не примечательный поливановский дворик превратился в волшебный сад. Отвар луковичной шелухи был оранжевый, а отвар клюквы — розовый и лиловый. И на снежном дворе появились клумбы, на снегу зацвели ледяные цветы — оранжевые, розовые, фиолетовые. Придумывали все — кто во что горазд, и не было такой идеи, на которую Татьяна Сергеевна не откликнулась бы...

— Вот какая у меня учительница! — говорила Катя. — Лучше всех! Самая лучшая на свете! Леша, а я так удивилась, что она называет тебя Лешей!

— А я что, Авдотья?

— Нет, ну как же ты не понимаешь!

Леша все понимал и был согласен с Катей. Глядя на Татьяну Сергеевну, он впервые подумал о том, что учителю нужен талант. Особенный, человеческий. Такой, чтобы тебе все откликались и любили тебя. Иначе почему бы у нее сразу все так отлично пошло?

— Откуда вы все умеете? — спросил Леша. — Вы запанибрата и с деревом, и с бумагой, и с проволокой.

— О, я еще не то умею! У нас в педучилище был чудный преподаватель Петр Константинович. Он считал, что учитель должен быть человеком эпохи Возрождения: петь, играть на всех музыкальных инструментах, лепить, танцевать. Катя, неужели ты не показывала, что ты делаешь, например, из папье-маше?

Она разбила ребят на четверки, каждая четверка должна была выбрать себе название, и они не скромничали: во дворе появились маленькие отряды под названием «Марс», «Юпитер», «Звезда».

— А как отряды: девочки — отдельно, мальчики — отдельно? — спросил Мустафа.

— Нет, мне этой ерунды и в школе довольно, — ответила Татьяна Сергеевна. — У нас будут смешанные отряды.

И был создан отряд: Мустафа, Женя, Аня и Катя (Катю приняли: Леша очень за нее просил, ручался). И однажды Танины связные — Мустафа, Женя и Аня передали каждому отряду по секретному пакету. Если говорить по правде, в пакете оказалось нечто хоть и зашифрованное, но не такое уж таинственное, скорее деловое: схема лыжного маршрута. Поход назывался не просто поход, а «Тайна белого пакета». (Маршрут придумал Леша. И задания отрядам придумал он: какой отряд быстрее разожжет костер? Кто быстрее поставит палатку?) Потом Леша проверил, как знают ребята топографические знаки, как разбираются в карте. Кто бы знал, какой хороший поход был!

— Мама, — говорила Аня, — ты не поверишь, мы за один день узнали друг про друга больше, чем за сто лет. Сенька во дворе такой бойкий, а в походе все ныл: устал, ногу натер. Такой сварливый. А Катюшка вела себя ничего: не отставала. (Катю не хотели брать: мала. Но Леша за нее поручился, и она его не подвела.)

Татьяна Сергеевна занималась не только ребятами. Она всем папам и мамам в доме что-нибудь поручила: Саша должна была руководить военно-медицинской академией (так назывался кружок, в котором Саша учила ребят оказывать первую помощь). Маме Степы Лубенцова был поручен вышивальный кружок, отец Вали Никольского возглавил радиоцентр. Но все это были чистые пустышки по сравнению с тем, что она уломала Петра Ильича — управдома — отдать им маленькую комнатку в подвале.

— Ну зачем вам этот закуток? — говорила Татьяна Сергеевна.

Петр Нилович так намаялся со скандалом по поводу тайного общества, а Татьяна Сергеевна говорила так ласково... Одним словом, управдом отдал кладовку под красный уголок...

Ребята с жаром вытаскивали оттуда разный хлам, потом белили комнату, потом натащили туда цветов, сколотили скамейку, кто принес столик, кто стулья — получилась отличная комната. Татьяна Сергеевна читала ребятам вслух и часто говорила: а теперь нарисуйте то, что я вам прочла. И ребята рисовали, и лучшие рисунки Татьяна Сергеевна вывешивала на стенах.

— Ну, — сказал однажды Петр Нилович, — картинки — хорошо, книжки хорошо, а когда же начнете идеологическую работу?

— Вы имеете в виду доклады и лекции? — спросила Татьяна Сергеевна. — Этого ребятам не надо. А серьезные разговоры у нас бывают часто.

И правда, бывали. Однажды Оля Циркачова сказала, что в их классе, когда вступаешь в пионеры, надо приносить характеристику от родителей. И одна мама была поймана на жульничестве: она написала, будто ее дочка Рита образец всех добродетелей — уж и послушная, и опрятная, и правдивая, и вежливая. А все это не так. И просто даже наоборот. Оле тоже нужна характеристика, но мама в больнице, папа в командировке, а бабушка не умеет писать. И Татьяна Сергеевна сказала:

— Давайте напишем Оле характеристику!

И написали. Кричали, ссорились. Кто-то сказал, что Оля гордая, а Женя не согласился и сказал — не гордая, а самолюбивая. Гордая — это плохо, а самолюбивая — прекрасно. Спорили, спорили, а характеристику составили очень хорошую, хотя вымышленных достоинств в ней не было.

Подписались: «Ребята со двора при доме номер семь». Характеристику положили в красивый конверт, а отнес ее в Олину школу... Мустафа.

С Мустафой после истории с тайным обществом в милиции поговорили «понял-на-понял». В переводе это значило: без дураков. Пригрозили колонией. Дали испытательный срок.

«И если бы не Таня, колонией это бы и кончилось, — думал Леша, — а сейчас Мустафа у Тани — правая рука». И не то чтобы она очень уж большое внимание обращала именно на него. Просто вокруг нее все кипит. И каждому находится интересное занятие — и большим, и маленьким.

Ну конечно, все шло не так уж просто: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Труднее всего было как раз со взрослыми.

Папа Вали Никольского сказал: увольте, Татьяна Сергеевна, уж лучше я буду кирпичи таскать, чем с этими архаровцами возиться.

А другой папа руководил, руководил автокружком, а потом ему надоело, и он сказал: я вам не нанимался.

Кате очень хотелось, чтоб Татьяна Сергеевна ответила: а я не нанималась ваших детей воспитывать.

Но Татьяна Сергеевна ответила не так. Она сказала:

— С детьми без желания работать нельзя. Вы свободны.

Вот как она сказала.

— Господи, — говорила Анисья Матвеевна, — сколько ж она времени тратит на этих атаманов? У нее, что ли, семьи нет? Не замужем?

— Не замужем. И семьи у нее нет — сирота, родители в Ленинграде в блокаду погибли, — ответила Саша. — Леша, правда прелестная девушка?

— Девушка что надо, — согласился Леша.

На экране были мальчишки-нахимовцы. Они собирались где-то на чердаке, собирались тайно и воображали, что это не чердак, а самый настоящий корабль. Вокруг была старая рухлядь, а им казалось: рубка, палуба, капитанский мостик. И вдруг об этих тайных сборищах узнал воспитатель, и он решил сделать ребятам сюрприз. Когда мальчишки снова пришли к себе на чердак, там все преобразилось: это была настоящая рубка, оборудованная по последнему слову техники. У мальчиков на экране были восторженные благодарные лица, а Леша им не верил. Он знал, что после первого восторга наступит разочарование и скука — прежде все было убого и бедно, но сделано своими руками, и никто ничего не знал, все принадлежало им, только им, этим мальчишкам. А сейчас к их тайне прикоснулась рука взрослого, и все рухнуло — не стало тайны, на смену пришел культурный досуг: им подарено нечто готовенькое, лакированное, дорогая игрушка, которую упаси Бог испортить или испачкать.

Как же они этого не понимают? — думал Леша. Как же они не понимают, что сами сломали свой фильм, он так верно начинался! И песня такая хорошая. А потом пошло вранье, а они этого даже и не заметили.

Зажегся свет, и не успел Леша спросить Катю, понравился ли ей фильм, как она закричала:

— Татьяна Сергеевна! Татьяна Сергеевна!

Она чуть не плясала от восторга.

— Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Воскресенье, а я все равно вас увидела! Леша, смотри — Татьяна Сергеевна!

— Здравствуйте, — сказал Леша.

— Очень рада видеть тебя, Катя, — сказала Таня. — Здравствуйте, Алеша, познакомьтесь.

Рядом с ней стоял высокий военный, ладный, стройный майор, красивый, словно с плаката.

— Мы знакомы, — сказал Леша. — Здравствуй, Зимарев.

— Как интересно! — воскликнула Таня. — Помните, я говорила вам, что у меня есть знакомый, который тоже учится в военной академии?

— Как же, помню. Ты, я слышал, в адъютантуре?

— В адъютантуре.

— Ну и как?

— Ничего. На кафедре тактики.

Их толкали, просили посторониться, дать пройти.

— Ну, что встали на дороге? — кричала толстая тетка, пытаясь протиснуться к проходу. — Господи, да что вы, мертвые, что ли?

Они — все четверо — действительно будто застыли: Катя от восторга, что все так интересно получилось, а мужчины неведомо по какой причине стояли как столбы и смотрели не в глаза друг другу, как положено при встрече, а куда-то мимо уха собеседника.

— Да пойдете же! — в недоумении сказала Таня. — Мы загородили проход.

Толпа вытолкнула их на улицу, и все четверо пошли по тротуару. Говорили только Таня и Катя, они обсуждали фильм, мужчины шли сзади и молчали.

— Как красиво им все сделали, правда, Татьяна Сергеевна?

— Правда красиво. Но все стало как-то скучновато. У нас в красном уголке и то интереснее, ты не находишь?

— Вот и Леша так говорит! Леша, слышишь?

— Слышу.

— Коля, а вам понравилось? — обернувшись, спросила Таня.

— В общем, да, — ответил Коля и снова проглотил аршин. Они дошли до Ленинградского шоссе, и Леша сказал:

- До свиданья. Мы с Катей на троллейбус.
- Но ведь и нам на троллейбус, — ответила Таня.
- Может, мы пройдемся немного? — спросил Коля.
- Нет, очень ветрено. А вот и троллейбус.

Подошел усатый, как жук, троллейбус. Зимарев, поддерживая Татьяну Сергеевну под локоть, помог ей войти и поднялся за нею. Катя рванулась следом, но Леша удержал ее за руку.

Троллейбус дернул и покатил, и Леша успел только увидеть удивленные глаза Татьяны Сергеевны.

— Леша, но почему...

— Я хочу пройтись.

— Вот большие всегда так: то — сядем на троллейбус, то — давай пройдемся. А мне так хотелось поехать вместе с Татьяной Сергеевной! Тебе не понравился этот дяденька, да?

— Нет, почему же... Дяденька как дяденька.

Так вот где ему довелось встретиться с Николаем Зимаревым. Адъютант. На кафедре тактики. Будет кандидатом военных наук. Тактиком будет. Ну что ж. Голова у него хорошая, способный. Как помертвел, увидев его, Лешу. Думал, я сейчас начну про него рассказывать. А зачем? Уж если я тогда ничего не сказал... Он, наверно, думает, что я его презираю, и никогда не поймет, что никакого презрения нет. А есть... жалость есть, вот что.

Это было в сорок третьем, восемь лет назад. Пришел в полк летчик Зимарев. И вот — неладно с ним что-то. Вылетает раз, другой, третий, а до линии фронта не доходит: то двигатель трясет, то масло греется — и с полпути домой. Смотрят технари, смотрят — нет, все в порядке.

По полку шорох: Зимарев боится. Валентик позвал Лешу и сказал:

— Слтай и посмотри, что с ним в воздухе делается.

Полетели. Действительно — вдруг Зимареву кажется, что моторы трясут.

— Нет, — говорит Леша, — все в порядке.

— Масло греется!

— Нет, — отвечает Леша, — норма. Да не беспокойся, отбомбимся, упадет температура.

Прошли линию фронта. Бьют зенитки. Леша отвернулся, смотрит за воздухом, нет ли где истребителей. И вдруг чувствует: самолет рыскать начал. Что такое? Повернулся и видит: ноги у Зимарева ходуном ходят, дрожат от страха, ну и самолет вместе с пилотом от страха дрожит.

Леша положил ему руку на плечо и сказал:

— Повезло нам с тобой. Разрывы далеко. Мажут немцы. Истребителей нет — видно, где-то загорают. Не вылет, а прогулка.

Самолет поуспокоился. Полетели дальше, отбомбились. Уже заходят на посадку, и вдруг ни с того ни с сего — опять припадок страха.

— Смотри, раскрутка, сажусь перед собой!

Это ж надо придумать: сажусь перед собой — это верная смерть, ведь перед тобой враг.

— Колька, все в порядке! — кричит Леша. — Не смей садиться, набери высоту.

— Сажусь! — отвечает Зимарев.

— Высоту! — кричит Леша.

А Зимарев все снижается. И тогда Леша выхватил пистолет:

— Убью!

И наверно, Зимарев понял, что Леша и впрямь его убьет, и ушел на второй круг. Сели хорошо. Вышли из

машины. Зимарев оттирает пот со лба, сам бледный как смерть. Спрашивает:

— Пойдешь докладывать?

— Нет. Захочешь — сам скажешь.

Но Борька — стрелок-радист, который все слышал, замирая от ужаса в своей кабине, — себя от радости не помнит, что жив остался: он-то понимал, что они грохнутся, если посадить в овраг. Борька бегом побежал по стоянкам и рассказывал, рассказывал каждому встречному обо всем, что было, и не мог остановиться.

Валентик вызвал к себе Лешу и спросил:

— Что будем делать?

— Не знаю, — сказал Леша, подумав, — просто не знаю... У него это — как болезнь.

Валентик сделал все, что мог: Николаю давали провозные полеты по кругу и в зону. Привыкни, мол, перестань бояться. Но он бояться не перестал. И от полетов отошел: переквалифицировался на оперативного дежурного. Лешу он стал сторониться. Это часто бывает: люди не любят тех, кто о них больно много знает, не любят свидетелей... Да. А Леша его по-прежнему жалел. Леше приходилось видеть хороших людей, которые ничего со своим страхом поделать не могли. Не могли они совладать с собой, что тут поделаешь? Борька-радист смотрел на это иначе: что ты выдумал — болезнь! Никакая не болезнь. Просто распустил себя. Нет, с ним летать страшно. И себя угробит, и экипаж с собой прихватит.

Но ведь то было в войну. А в мирное время все по-другому. И сейчас он никому вреда не причинит. Женится на Татьяне Сергеевне, будет хороший, заботливый. Чего лучше? Нет, такой, если испугается, все вокруг переколотит, и себя загубит, и рядом никого не пожалеет. Если все будет тихо, гладко — обойдется. А если... Ну хорошо, а тебе что за дело? Жалко тебе эту Таню? А вот идет

женщина, тащит мужа, а он пьяный, что ж ты ее не выручаешь? А вот идет трамвай, там полным-полно народу — сколько там счастливых? Сколько несчастных? Эта самая Таня тоже идет мимо, и выйдет она за Николая Зимарева или не выйдет, не твоя печаль. Ты что, влюблен в нее? Нет. Так что же?

— Леша, почему ты не отвечаешь? — донеслось до него, и он расслышал в Катином голосе близкие слезы. — Я тебя зову, зову, а ты молчишь, как будто тебя нет!

— У вас все лучше и лучше получается очерк-портрет, — сказал Савицкий Поливанову, — живые люди со своим обликом, своим говором. Давайте присоединяйтесь к Марине и Колесову, они делают разворот «Люди одного района». Возьмите на себя один-два портрета.

— Разворот? Не много ли для этой темы? Плоско получится. Тем более что брать надо только передовиков, героев положительных, а они все похожи друг на друга, — сказал Поливанов и встретился глазами с Мариной Алексеевной. Она смотрела на него неодобрительно, почти осуждающе.

— Если бы это сказал Голубинский или Локтев — куда ни шло. Но вы... Конечно, если писать о взятых с ходу рекордах, — это будет скучно. Но я вижу эту полосу иначе. Скажите, когда вы пишете о человеке, о его работе, что вы стараетесь понять прежде всего, о чем спрашиваете в первую голову?

— О том, что было трудно, — не задумываясь, ответил Поливанов.

— Точно! В каждом случае важно понять: что было трудно в этой судьбе, что было трудно и как преодолено.

Если нет этого «как» — нет человека, а значит, нет и очерка.

Он это и сам знал. Но он был рад услышать свою мысль из уст талантливого человека.

— Полоса или разворот — там видно будет, — сказала Марина Алексеевна. А пока давайте сообразим, кого брать. Вы Рязанскую область хорошо знаете?

— Ездил.

— Кого возьмете: учителя, агронома, врача?

— Если буду писать, то о председателе колхоза.

— Отлично! Как вы относитесь к Утешеву? Фигура, в общем, подходящая: депутат Верховного Совета.

— Нет, о нем я писать не буду. Я не люблю узнавать дом председателя колхоза по шиферной крыше.

— Отставить Утешева. Ну, а Говорушкина знаете?

— Знаю.

— И как?

— Нет.

— Почему? — заинтересовался Савицкий.

— Стоим мы с ним в поле. Подходит учительница, просит лошадь — отвезти сына в больницу. Он отвечает: подождешь дождичка. Все. Есть еще вопросы?

— Наверно, была уборочная? — осторожно сказал Колесов.

— Не скрою: уборка была в разгаре. Ты считаешь, что это уважительная причина для такого ответа?

— Ты очень строптив, Поливанов. Не связывайся с ним, Марина. Давай делать разворот без него.

— Я люблю строптивых. Ну, по рукам?

— Подумаю.

Он всегда так отвечал ей: я подумаю. Но потом обычно соглашался. Работать с ней было интересно. Согласился он и сейчас. Они работали втроем — Поливанов, Марина и Колесов. И полоса вышла хорошая, яркая. Ее

хвалили в редакции, но Поливанов знал, что из нее что-то ушло. Как сквозь пальцы. Горечь ушла. То одно убрали, то другое. И трудные судьбы стали легкими. А дома Леша сказал:

— Это непохоже на твои рассказы об этом районе. Твои рассказы были покрепче...

— Многое выпало при сокращении. Затевали разворот, дали полосу.

— А зачем ты согласился? — спросила Саша.

Вот всегда так: Митя, зачем ты согласился? Он сейчас за все перед всеми в ответе.

Раньше Леша преклонялся перед тем фактом, что Митя журналист. А теперь он выкапывает разные истории и все с одной целью: унижить журналистов. И любит между делом вспомнить то одно, то другое.

— Было раз, пристал ко мне один из ваших: о чем вы думаете во время воздушного боя? Я ему: о чем мне думать, если я стреляю? Ну, чтоб попасть, чтоб не заело пулемет, чтоб в меня не попали. А потом читаю в газете: оказывается, я думал во время боя о своей первой любви. Уж в следующий раз я ему сразу выдал все что требуется: думал про первую любовь. Думал про то, как вступал в пионеры. И он записывал... И вот читаю твою полосу и вижу: через каждые пять слов — вранье.

А Саша:

— Объясни мне, пожалуйста, почему называют врагом человека, которому не нравятся «Флаги на башнях»? Я очень люблю Макаренко, но почему нельзя сказать, что «Флаги на башнях» не такая хорошая книга, как «Педагогическая поэма»? Критику не нравятся «Флаги на башнях», — значит, он враг?

И хотя не Митина газета ругала человека, которому не нравятся «Флаги на башнях», он чувствовал себя в ответе. Когда-то он отвечал только за себя. Теперь он от-

вечает за всех. За все. Никто не поручал ему этой ответственности, он сам взвалил ее на свои плечи. Зачем? И что он, собственно, может сделать? Он не будет бороться с ветряными мельницами, это бессмысленно. И потом он не согласен ни с Лешей, ни с Сашей. У Саши очень длинный счет: зачем выругали «Далекie годы» Паустовского? Что худого в стихах Ахматовой?

То и дело они спорили до хрипоты.

— Я не могу убиваться из-за того, что выругали Ахматову или Паустовского, — говорил Поливанов. — Это несправедливо, согласен, но это — второстепенно, понимаете? Меня гораздо больше волнует то, что делается в сельском хозяйстве, я вот только-только приехал из Сибири и могу сказать, что...

— Ты говоришь о литературе так, как будто она — сладкое на обед, третье блюдо. А литература это тоже пища...

Саше очень хочется сказать: «пища для души», но она знает, что в ответ посыплются насмешки, упреки в сентиментальности, книжности и еще всякое. Поэтому она обрывает себя на полуслове.

— Ладно, пускай литература — это второстепенно, а зачем тогда специальные постановления? — говорит Леша. — Значит, не второстепенно. И правильно: не второстепенно, и Саша права. Сельское хозяйство — важно, индустрия — тоже важно, армия — чего важнее. Но ведь сельское хозяйство, армия, заводы — это же люди.

— Людям прежде всего надо есть и пить, — угрюмо отвечает Поливанов.

— А мне не безразлично, какие люди едят и пьют, — говорит Саша. — Я хочу, чтоб это были не подлецы. А литература строит душу.

Слово сказано: душа! Этого Поливанов стерпеть не может.

— Нет, дорогие друзья, — говорит он, — мне неясно, зачем Леша пошел в Жукóвку, а ты подумываешь о мединституте. Вам обоим надо было работать на ниве народного просвещения. И сеять — как это там? — разумное, доброе, вечное.

— Я люблю, когда глаза у человека открыты, — говорит Саша.

— А ты хочешь засыпать глаза песком. А тебе этого нельзя, ты журналист, — говорит Леша. — Кстати сказать, из твоих очерков не видно, что с сельским хозяйством у нас плохо. Полоса ваша вон какая радужная.

— Но я же объяснил тебе, что при сокращении...

Черт побери, чего от него хотят? Что он может сделать? Переквалифицироваться? Он сменил однажды профессию и ухнул в яму, и вдруг поймал за хвост синюю птицу; эта, новая, оказалась прекрасной. Замечательной. Лучше, кажется, не бывает. Конечно, трудно. Тот первый год в редакции теперь кажется ему безоблачным. А дело Сережи Кононова... Легчайшее из легких. Да, потом все пошло трудней и трудней... Чего Саша и Леша добиваются? Чтобы ему опротивела редакция? Этого они, что ли, хотят?

А в редакции, может, начнутся иные времена: новый редактор! Прежнего шефа — в почетную отставку. А новый сидит в кабинете и уже действует. Невысок. Приземист. Очкаст. Не так чтобы красив, но умен несомненно. Умные губы и пристальный, спокойный взгляд. И он не уводит свои глаза, как прежний, он спокойно встречается с тобой взглядом и, видимо, отвечает то, что думает.

Газету он любит, это сразу видно. И Поливанов тоже любит свою газету. Не просто привык, примирился, а вот именно — полюбил. Да, ему с каждым днем все трудней, но с каждым днем — интересней. Сколько он сделал для себя маленьких открытий: вот статья написана. Ты недо-

волен. Ладно, сдам на машинку, посмотрим. Читаешь с машинки — нет, кажется, ничего. И вот перед тобой сырые гранки. Чернила расплываются на полях, когда ты исправляешь опечатки. И вдруг, читая, ты видишь, что статья — хорошая. Ну, не чудо ли?

Стоп, тут есть загвоздка. Ты можешь думать о своей статье все что угодно. Ее могут расхваливать на летучке и в стенгазете «Вечное перо». Ты получил за нее премию — вот какая она хорошая, эта статья. Но подожди радоваться: на нее никто не откликнулся. Ни одного письма. Поливанов давно уже знает: пусть лучше читатель с тобой не согласен, пускай ругает тебя последними словами, все лучше, чем молчание. Если читатель молчит, значит, ты его не задел. Значит, твоя работа впустую, что бы ни говорили на летучке.

И еще: он сразу понял, что нельзя разговаривать с людьми с блокнотом в руках. Они замерзают, каменеют, завидев в твоих руках блокнот и ручку. А тех, что говорят специально для твоего блокнота, распускают павлиний хвост и даже указывают: «Это обязательно запишите», — тех можно слушать вполуха. Это мысли и слова напоказ, за ними ничего не стоит. А бывает... Эх, до чего же хочется записать, как хорошо рассказывает эта старуха! А нельзя. Потом, когда она уйдет, хватай блокнот, скорей записывай, а пока она говорит — запоминай, прячь поглубже, храни в памяти каждое слово. И память пришла на помощь: она заглатывала все — печку в углу, треснутую деревянную ложку на колченогом столе, сухие бабкины руки и слова: ах, он вран!

Вран — в ее устах — это и ворон, и лгун, и враг. Как будто в голове мгновенно срабатывает фотографический аппарат. Твое дело потом сообразить, что из этой фотографии важно, что пойдет в статью. Но оно с тобой, все, что увидено и услышано.

И еще он понял: никогда нельзя идти с готовым, заранее составленным решением. Вот перед тобой письмо. Из него непреложно ясно, что мастер Петров на заводе «Красный факел» подлец подлецом. Иди туда, иди поскорее. Но забудь на пороге завода об этом письме. Смотри сам. Погляди на этого мастера. Поговори с ним. Погадай того, кто написал письмо. А если оно анонимное? Ну что ж, постарайся, чтоб автор узнал о твоём приходе. Может, и откроет себя. Потолкайся в цехе, побудь там день, другой, неделю. Столько, сколько надо, чтобы понять. Докопайся до истины, чего бы тебе это ни стоило. Пока не докопаешься — не пиши. Ты уже написал статью о Петрове. Ты согласен, что он ворует детали, а сваливает на рабочих. Но какой-то червячок сомнения гложет тебя. Крошечная, едва уловимая неуверенность. Опять иди на завод. Думай, приглядывайся, пока не уверишься — не отдавай в печать.

Конечно, все это знает каждый. Конечно, все это не бог весть какие открытия. Но они были ему дороги. Поэтому наверно, что он дошел до них своим умом.

Он хочет писать. И печататься. Журналист должен печататься. Он не может все время писать в корзину, в корзину, в корзину!

У Кати завелась тайна. Самая настоящая. Анюта и Женя думают, у них одних тайны. Если бы они знали, что знает Катя! Ах, как иногда хочется рассказать! Но Катя молчит. Если у тебя тайна — молчи. Однажды она не вытерпела, сказала маме. Мама ответила плохо. Она ответила: не выдумывай. Катя обиделась. Ничего она не выдумывала.

А тайна вот какая: у Леша и Татьяны Сергеевны — любовь. Подумать только! Даже страшно: любовь.

Один раз Катя выходит после уроков, видит: на школьном дворе Леша.

— Леша, ты пришел за мной? Как хорошо! Пошли!

— Пошли! — говорит Леша, а сам не идет.

— Леша, пошли!

— Давай подождем Татьяну Сергеевну, — отвечает Леша. — Я хочу расспросить, как ты там себя ведешь.

Выходит Татьяна Сергеевна, улыбается, машет рукой. Идут все вместе. Втроем. И вдруг Катя поняла: ее час настал. Она сказала:

— Леша, купи мне, пожалуйста, мороженое.

И Леша купил. Ей и Татьяне Сергеевне. Но Татьяна Сергеевна не захотела, и Катя получила два вафельных стаканчика вместо одного.

— Леша, смотри: апельсины.

И Леша купил много апельсинов — большие такие, желтые, почти красные. Твердые такие, в пупырышках.

— Леша, ландыши!

И Леша купил два букетика ландышей.

— Леша! Леша! Шары!

И все получили по шару. Катя — красный, Татьяна Сергеевна — синий, а у Леша был зеленый шар. Они шли с шарами, а потом взяли да отпустили, и шары полетели наверх, и все шли и смотрели и говорили:

— Ах, посмотрите! Ах, как красиво!

Потом Леша сказал:

— Татьяна Сергеевна, я обещал Кате сегодня сводить ее в кино, на «Первоклассницу». Не составите ли нам компанию?

Уж если врать, так спросил бы ее сначала. А он сразу: «Я обещал Кате». А Татьяна Сергеевна, конечно, удивляется:

— Так мы же всем классом смотрели эту картину. Катя, разве тебя в тот день не было?

— Не было, — говорит Катя.

Соврала. А что было делать?

— Это, говорят, отличная картина. Может быть, вы посмотрите с нами второй раз?

— Может быть, — отвечает Татьяна Сергеевна.

Но Катю мама не пустила, и Леша не очень маму уговаривал. И в общем Катя про все про это забыла. А потом вдруг увидела Татьяну Сергеевну с Лешей в Тимирязевском парке и побежала к ним.

Леша сказал:

— А, Катерина! Рад тебя видеть.

Но сам был не рад. Посмотрел вбок: «Рад тебя видеть». Так не радуются. Катя очень сильно обиделась, но еще ничего не подумала, как вдруг услышала, что Леша сказал «Таня». Не «Татьяна Сергеевна», а «Таня». Это было прямо невозможно: Татьяна Сергеевна — и вдруг «Таня»! Катя прямо обмерла. А Татьяна Сергеевна ничего — не рассердилась.

На уроках Катя стала смотреть на Татьяну Сергеевну во все глаза. Она хотела понять — как можно назвать учительницу «Таня». А потом она с Татьяной Сергеевной поссорилась. Вот как это было. В Катинем классе есть парта лентяев. Она стоит в углу. Если кто разговаривает или смеется, Татьяна Сергеевна говорит:

— Поди-ка, дружок, на парту лентяев, посиди там, подумай.

И вот один раз Катина соседка, девочка Валя, стала ужасно озорничать на уроке: толкнула Катю, ушипнула ее и пролила ей на тетрадь чернила. Тогда Татьяна Сергеевна сказала:

— Валя Стрелкова, поди сядь на парту лентяев!

Валя, потеряв всякую веселость, в слезах пошла к злосчастной парте. А Катя засмеялась и сказала:

— Так тебе и надо!

— Валя, — сказала Татьяна Сергеевна, — вернись на свое место, а Катя Поливанова пойдет и посидит за партой лентяев.

Катя в школе крепилась, но по дороге домой разливалась в три ручья. Катя плакала и говорила:

— Я думала, Татьяна Сергеевна добрая, а она вот какая,

И тогда Женя сказал:

— Она и есть добрая. Она хотела тебя научить, чтобы ты не была злорадная.

— Я думала, она меня любит, а она...

— Если бы она тебя не любила, — говорит Аня, — она б на тебя наплевала. А она хочет, чтоб ты человеком была. Она тебя любит, поэтому и наказала, ясно?

Но самое ужасное было вечером, когда пришел Леша. Он выслушал Катю и сказал:

— Так тебе и надо.

Катя хотела снова заплакать, но не заплакала. Она читала в одной книжке, что надо развивать волю. И когда утром ей не хочется вставать, она вспоминает, что надо развивать волю, и раз-два — быстро встает. Тут ей захотелось заплакать, но она не заплакала и сказала:

— А я все знаю про тебя и Татьяну Сергеевну.

Леша шлепнул ее по губам. Она повторила:

— А я все знаю.

И тогда он сказал очень печально:

— Было б что знать.

И ей стало его ужасно жалко. Она его сразу простила, когда он так сказал. Но ведь не может быть, чтоб Татьяна Сергеевна не полюбила Лешу? И Катя решила не сердиться на нее и вести себя в школе очень хорошо,

чтоб ничего Леше не напортить. Тем более что Татьяна Сергеевна сказала Леше:

— Давайте возьмем Катю и поедem в воскресенье в Загорск.

И вот они взяли ее с собой. Леша, не дожидаясь Катиных просьб, сразу все покупает — мороженое, ландыши, апельсины, воздушные шары, все, что попадает на глаза. Это очень хорошо, когда не надо ни о чем просить.

Одно было плохо: они почти не разговаривали с Катей, они говорили между собой о каких-то взрослых вещах.

— Конечно, — говорит Леша, — если закрыть глаза — покойнее. Но я хочу жить с открытыми глазами.

Катя закрывает глаза и тотчас спотыкается. Ничего не покойнее. И вот Катя идет с открытыми глазами, ест мороженое и думает про свое. Она думает о многом сразу. Вчера Антонина Алексеевна рассказывала, как Семен Осипович когда-то очень давно объяснялся ей в любви. Он еще тогда не был слепой и видел, какая Антонина Алексеевна красивая. Он ей вот как сказал: «Позвольте мне надеяться». Ох как хорошо. «Позвольте мне надеяться»... Как в книге... «Позвольте мне надеяться». Вот и Леша когда-нибудь скажет Татьяне Сергеевне: «Позвольте мне надеяться»... А она что ответит?

Татьяна Сергеевна очень хорошо и интересно рассказывает. Недавно она в классе рассказывала им про коммунизм. Она сказала, что коммунизм будет только тогда, когда все люди станут очень хорошие, смелые и правдивые. А денег не будет. В первый день коммунизма, наверно, будет большая толкучка в магазинах, — думает Катя.

Сегодня Аня сказала маме, что она читает книгу «Давид Копперфильд».

— И как? — спрашивает мама.

— Плакать хочется.

А плакать, оказывается, Ане хочется потому, что у этого Давида умерла мама, а отчим у него злой. Катя не будет читать книгу, от которой хочется плакать. Зачем? Она когда подходит к печальному месту, то пропускает его. А еще Татьяна Сергеевна читала им всем «Два капитана», и Женя с Аней и Мустафа ненавидят Ромашку. Правда, Ромашка очень плохой. Но Кате его жалко. Женя орет:

– Он же подлец, отъявленный подлец!

Но ведь это из-за любви. Катя уже знает, люди много чего плохого делают из-за любви. Вот и Вяземский в «Князе Серебряном» – он грабил, кровь пил, как воду. И все это он делал, чтобы заглушить любовь.

И вдруг Катя слышит, как Татьяна Сергеевна говорит:

– Посмотри, Катя, какие веселые купола у этой церкви – голубые, в звездочках.

Катя задирает голову, смотрит на купола. Правда, веселые. Купола-то на колокольне веселые, а лицо у Леша печальное. Эх, прослушала Катя, о чем они говорили. Катя будет очень, очень хорошо вести себя в школе, чтобы ничего Леше не напортить. Тем более что скоро лето и учебный год вот-вот кончится.

– Леша, знаешь, кто у нас будет вести тактику?

– Нет. А кто?

– Зимарев.

– Какой Зимарев?

– Ну, высокий такой. Говорят, толковый.

Да, это был тот самый Зимарев. Он приходил, занимал свое место на кафедре и объяснял слушателям про боевой порядок истребителей, про тактику одиночного

боя. Объяснял умно, толково, и Леша слушал. И даже кое-что записывал. В знакомые не лез. Ну, правда, не ему же делать первый шаг, если он, Леша, всего-навсего слушатель, а Зимарев — преподаватель.

И вот однажды после лекции к нему подошел Зимарев и сказал:

— Нам нужно поговорить.

— Слушаю.

— Так не здесь же мы будем разговаривать! Давай пройдемся. Ну, хоть в Тимирязевку.

И они пошли переулками, обходя заборы, низкие домишки, хлюпая сапогами по раскисшим дорожкам. Они молча пересекли железную дорогу. «Мое дело маленькое, — думал Леша, — не я затеял эту прогулку». Он ждал спокойно и даже без особого любопытства.

— Ты не догадываешься, о чем я хочу с тобой говорить? — спросил Зимарев.

— Нет.

— Это, конечно, неправда, и ты прекрасно понимаешь, зачем я тебя позвал. Ладно, сделаем вид, что я тебе верю. Так вот. У меня к тебе просьба...

Видимо, говорить ему было нелегко. День холодный, а у него над верхней губой капельки пота. Теревит перчатку и выдавливает из себя слово за словом:

— У меня к тебе... просьба... Оставь Таню...

— Ась? — сказал Леша.

— Не притворяйся. Я очень тебя прошу, слышишь? Я ее люблю. А тебе зачем она? Я прошу, оставь, не встречайся с ней больше.

Леша приложил руку к уху, пригнулся и сказал противным дребезжащим голосом:

— Недослышу, милоч. Туг на ухо.

Зимарев остановился.

— Как ты можешь, — сказал он, и губы у него задрожали. — Как ты можешь... Я тебя по-человечески прошу...

— По-человечески? — спросил Леша и выпрямился. — Если по-человечески, убирайся отсюда. Слышите, товарищ преподаватель? По-человечески прошу.

Зимарев круто повернулся и широкими шагами, почти бегом, пошел к ограде. Леша секунду смотрел ему вслед, потом отвернулся и медленно зашагал в глубь парка.

А Леша и так давно уже к Тане не ходит. Вернее, ходит очень редко. Он бы рад не ходить туда совсем. Никогда. Но не может.

Он много думал в то время о Вале. Только сейчас он понял, как ей было плохо. Только сейчас. Пока не испытаешь этого на своей шкуре — не поймешь.

Почему он знал, что Таня его не любит? Знал — и все. Она часто ходит с ним в кино и поит его чаем, когда он забежит к ней. Но она его не любит. Почему он знает это? Может, потому, что она в кино отняла у него руку? Не вырвала, а тихо, спокойно так увела. Нет, не поэтому. Может, потому... Нет, не хочет он перебирать в памяти, как она сказала: «Мне некогда», а в другой раз: «Простите, Леша, я устала». А в третий: «Нет, сегодня я обещаю ребятам, что почитаю им».

Правда, бывает и по-другому. Он пришел к ней, а она сказала: как я рада, Алеша. Мы так давно не виделись.

Ему тоже казалось, что давно, но он знал: прошло всего два дня. А в другой раз, когда он поджидал ее у

школы, она вышла, увидела его и засмеялась: вот хорошо! Я уже соскучилась!

Так и сказала: соскучилась. Но зачем же она так часто говорит «некогда»? Когда любишь, не бывает некогда. И руку тоже не отнимаешь...

Что тут делать? Ходить, надоедать, давить на психику — полюби, мол, меня? Нет, измором брать нельзя. Вот Джек Лондон говорит так: если любишь женщину — держи ее обеими руками, не отпускай, любит она тебя или не любит, все равно не отпускай. Но это неверно. Вот бы Валя решила: либо он, Леша, либо никто. И Леша бы на ней женился. Теперь он знает: у них жизнь не удалась бы. Измором человека брать нельзя, ничего из этого хорошего не получается. Завоевывать, добиваться — это все одни слова. Надо, чтоб тебя любили, а если не любят — добивайся не добивайся...

Леша лежит на диване в своей комнате и не зажигает света. Лежит и думает обо всей этой чертовщине.

— Сынок, — слышит он голос отца, — тебя к телефону.

В одних носках Леша идет в коридор и лениво берет трубку. Таня ему никогда не звонила, ее звонка он не ждет.

— Да? — говорит он.

— Леша? Это Катя говорит. У меня важное сообщение. Леша, — тут она понижает голос, — лучше бы ты пришел к нам, но если тебе некогда, я скажу. Слушай, я буду говорить тихо. Тимофей... Акулина...

— Что? Что?

— Тимофей, Акулина, Тоня, мягкий знак, Яков, Нина, Александра.

— Катерина, брось выкамаривать.

— Нет, я просто, чтоб ты понял. Татьяна Сергеевна просит тебя зайти, надо, чтобы ты выступил у нас в клас-

се в ноябрьские праздники. Это будет не очень скоро. Только все равно зайти надо сейчас.

Леше становится горячо внутри, горячей стала даже телефонная трубка.

— Есть, — говорит он беспечно. — Куда зайти — в школу? Домой?

— Она сказала — на твое усмотрение.

— Спасибо, Катя. Целую тебя. Ауфвидерзеен!

Какое же будет его усмотрение? Пожалуй, надо зайти сегодня, — говорит он себе, натягивая сапоги. Неловко заставляя ждать. Тем более — дело. Он уже выступал однажды в школе перед девочками. Но с тех пор много воды утекло, теперь он стал умнее и выступит как надо.

— До свиданья, мама, не горюй, — говорит он, на ходу целуя Нину Викторовну.

Он почти скатывается с лестницы, хватая у себя в Серебряном переулке такси и мчится к Тимирязевскому парку.

Ему открыла Таня. Она была в серой юбке и белой кофточке, стянутой в талии широким поясом. У горла большая белая брошка, и на брошке нарисованы два зонтика — красный и синий.

— Явился по вашему приказанию, — сказал Леша, снимая шинель.

Ого! Печка топится! И правда, прохладно. В печке плясало красно-синее пламя, шторы были опущены, горела только настольная лампа. Лешу сразу охватило ощущение покоя и уюта. Он сел на скамейку у печки, а Таня на тахту, покрытую каким-то полосатым пледом.

Хорошо было глядеть на нее, ему так давно этого не хватало. И нисколько не хотелось говорить. Вот просто сидеть и видеть нежное живое лицо. Оно очень русское, черты мягкие, и нос чуть вздернутый. И странно, неужи-

данно глядят с этого лица темные удлиненные глаза, прямо египетские глаза.

Таня повернулась к огню. Освещенная розовым светом пламени, кожа казалась прозрачной, прозрачными были и странные длинные глаза, приподнятые к вискам. Самое тихое, самое теплое место на свете... — подумал Леша. Но первое слово, которое она произнесла, тотчас разрушило ощущение уюта и тишины.

— Коля Зимарев... — сказала Таня.

— От-ста-вить Зимарева, — раздельно произнес Леша.

— Простите, Алеша. Я должна вас предупредить, это очень серьезно. Коля Зимарев говорит...

— Я не желаю слышать, что говорит Коля Зимарев.

— Но послушайте... Коля хочет вас предостеречь, вы к нему несправедливы. Из Германии пришли какие-то письма. Вам говорит что-нибудь такое имя — Валя Полунина? Коля говорит, что эта Валя...

Кровь бросилась Леше в голову.

— Зимарев не смеет произносить имя Вали Полуниной. Понятно? Валя — не его забота.

— Она ваша забота?

— Да, моя.

— Но почему же тогда... — робко сказала Таня. — Простите, Алеша, Валя это девушка, которую вы любили?

— Валя, — грубо сказал Леша, — это девушка, с которой я гулял. И перед которой я виноват. Ясно?

— Не очень. А девушка — немка? Коля говорит...

— Я уже сказал вам, я не желаю слушать, что говорит Коля. Если вы еще раз произнесете это имя...

— Я не могу не произносить этого имени. Он хочет вас предостеречь, помочь вам, а вы...

— А я ухожу.

Леша сдернул шинель с крючка и оборвал вешалку.

— Послушайте, — тихо сказала Таня и положила руку ему на плечо. Он отшвырнул эту руку и, толкнув ногой дверь, уже за порогом сказал:

— Если вы взяли на себя такую миссию предостерегать... предупреждать... и все такое прочее, предостерегите лучше Зимарева. Скажите, что если он не уймется... Вылечу из академии, сяду, наконец, но ему покажу, как впутывать Валю в свои гнусные махинации.

— Вы слышали, Александра Константиновна? — сказала, улыбаясь, Прохорова. Саша уже знала: когда Прохорова улыбается — это не к добру.

Вот и сейчас, улыбаясь своей улыбкой, вестницей чужой беды, она сказала:

— Вы слышали, Александра Константиновна? Доктора Гуревича посадили.

— Нет?! — сказала Саша.

— А вы что, знали его? Я-то знала. Ну не то чтобы очень уж близко, но все же. Он принимал ребенка у моей знакомой, тоже, между прочим, медицинский работник. Так вот, и она считает, что он — подозрительная личность, этот Гуревич. И недаром в его родильном доме столько смертных случаев...

— Замолчите! — сказал доктор Королев. — Замолчите!

Он стоял к ним спиной в своем белом халате и перебирал что-то в шкафу с медикаментами. Сейчас он обернулся и посмотрел на Прохорову с холодной ненавистью.

— Замолчите! — повторил он и тут же, чтобы не сказать большего, вышел в соседнюю комнату.

— Почему это я должна молчать? Какие все ученые стали! Я правду говорю. Вчера, в воскресенье, я делала маникюр, и вся парикмахерская об этом говорила. Правда — она глаза колет.

Саша молчала. Разговаривать с Прохоровой было бесполезно, как со стеной или камнем. Но ненависть, которой Саша в себе не знала, заставила ее на минуту поднять глаза, и Прохорова тотчас сказала:

— Вы что так смотрите, будто убить собрались... За мужняя женщина — нехорошо. О ваших отношениях с Королевым в больнице уже поговаривают, того и гляди до мужа дойдет. При двоих-то детях не так просто устроиться.

— Что вы сказали? — спросила Саша и крепко провела рукой по щеке.

— А вот то... Что знаю, то знаю. И подобру довожу до вашего сведения. Я такая — за спиной говорить не люблю.

Спокойно, уверенно, в своем очень чистом белом халате, она прошла мимо Саши и закрыла за собой дверь.

«Ненавижу! — только одно слово поднималось в Сашиной душе. — Ненавижу!»

— Саша, — неловко закуривая на ветру, сказал Королев, когда они возвращались домой, — что с вами? Я не про сегодняшний день. И не о Прохоровой я сейчас. Что с вами? Я давно замечаю: неладно. Что стряслось? Дети здоровы?

— Да, спасибо.

— А как отец?

— Хорошо, спасибо. Нет, все хорошо. Впрочем, вру. У Леша серьезные неприятности в академии. Какой-то донос. Аморальное поведение, роман с немкой.

— А был роман?

— Не было.

— Да, в сложное время мы живем.

— Сложное. Я все чаще слышу это слово. А как должны себя вести мы, попавшие в это сложное время?

— Мы не в первый раз об этом говорим, Саша. Подлецов на свете много. Но самое легкое и самое страшное, что мы можем сделать, это сказать: все равно тут ничем не поможешь. Я считаю: ничто не проходит без следа. Ни доброе, ни дурное. И как любила повторять Софья Ковалевская: говори, что знаешь, делай, что должно, а там будь что будет. Вот так...

— Все это верно. Но абстрактно. А как быть Леше? Как нам поступить с Прохоровой?

— Прохорову надо давить.

— Похоже, не мы ее, она нас раздавит... «Говори, что знаешь, делай, что должно...» А что должно? Эти слова для нас бессмысленны.

Он помолчал, продолжая курить и, казалось, думая о своем.

— Вот что, Саша, о таких вещах не говорят, не уславливаются, но вдруг... если что... При любых обстоятельствах — приходите, поговорим. Я старше...

— Мы ровесники.

— Я на год старше, — он улыбнулся, — следовательно, умнее. Может, сумею помочь.

И Саша, ответив на улыбку, снова сказала:

— Спасибо.

Они простились у метро. Спускаясь по эскалатору, не видя, она глядела на поднимавшихся ей навстречу людей. Домой, домой! Она старалась не думать о том, о чем

спрашивал ее Королев, она поскорее хотела быть дома, увидеть Митю, детей.

Мити еще не было, и странно, что она надеялась его застать. Только четыре часа, он вернется не раньше семи. Она хотела было перебрать бумаги в ящике письменного стола, но из этого ничего не вышло: старые письма, счета с телефонной станции, завалявшийся рецепт — его искали, а он вот где. Саша задвинула ящик и стала поливать цветы. И надолго застыла с лейкой в руках..

— Мама, — сказала Катя, — а у нас в школе сегодня...

— У тебя дырка на чулке, заштопай. Нет, нет, не потом, а сейчас же.

— Мама, что с тобой? — спросила Катя.

— Ничего, — ответила Саша.

— Зачем ты сердито отвечаешь?

До чего же трудно жить среди чутких людей. Другой раз и сам не все понимаешь, или не хочешь понять, или хочешь заслониться от боли, которая всплывает откуда-то со дна души, — а тут другие глаза видят тебя насквозь, все примечают — и как взглянула, и как закусила губы, — ну их совсем, этих чутких людей!

Раздался телефонный звонок — наверно, Митя! Саша кинулась к телефону хоть голос услышать! Но голос был другой, женский, уже хорошо знакомый:

— Можно Дмитрия Александровича?

— Его нет. Что ему передать?

Голос как будто задумался. Саша слышала в трубке чужое дыхание.

— Да нет, пожалуй, я еще позвоню, — сказал голос очень спокойно, очень задумчиво.

Саша ушла в свою комнату, закрыла дверь, легла на диван и спрятала лицо в подушку. Все вокруг звенело. Крепко зажмурившись, она думала о том, что все вокруг

похоже на скверный сон. А что же? Что? Да вот это. Дыхание в трубке... И Прохорова.

— Мама, — услышала она Катин голос, — можно, я к тебе? — И, не дождавшись слова «можно», она забралась на диван и задышала рядом. — Вот что я решила, — сказала она. — Всех, кого я не люблю, я буду писать с маленькой буквы. Ведь ты же знаешь, если имя или, например, фамилия, — так это надо писать с большой буквы. Из уважения. А вот, например, твоя Прохорова плохая. Я буду писать ее с маленькой буквы. Иначе — вранье. Правильно я говорю?

— Ты всегда говоришь правильно, — сказала Саша, чувствуя на своей щеке Катину горячую ладонь и будто возвращаясь из дурного сна.

Растопырив пальцы, Катя гладила Сашино лицо и болтала без умолку.

— Всех, кого ты не любишь, я всегда буду писать с очень маленькой буквы.

— Катя, ты меня любишь?

— Вот так раз! Давай покажу!

— Ох, тише, мне дышать нечем.

— А как же я покажу тебе любовь?

— Напиши меня с очень большой буквы.

Пришла Аня и сказала:

— Вы тут лежите, а я уроки готовь. Чем я хуже? — И, сбросив туфли, легла рядом. Светлая Анина голова лежала у Саши под мышкой, Катя уткнулась в другое плечо.

Минута покоя была глубокой, но короткой. Катя вдруг вспомнила, что Анисья Матвеевна обещала ей постного сахара, и побежала на кухню.

— Папа пришел! Папа пришел! — раздался из коридора ее ликующий голос.

Да, это был Митя. Он стоял в соседней комнате, где Анисья Матвеевна уже зажгла свет. Стоял, повернув

темное лицо к Саше и Ане. Не поздоровался, только спросил:

— Мне никто не звонил?

— Звонили.

— Кто?

— Она не сказала. Будет звонить еще.

Спросив на ходу: чаек есть? — Митя подошел к телефону.

Саша слышала, как он набирал номер. Она крепко зажмурилась и тесней прижалась к Ане. От того, как прозвучит сейчас Митин голос, зависела вся ее жизнь. И он раздался — обыкновенный, деловой и доброжелательный голос, Митя, кажется, что-то жевал — то ли кусок хлеба, то ли сухарь.

— Да, Поливанов. Все в порядке. Концовку оставили. Да, да. И заголовок наш. Ну, есть. Привет! — Положив трубку, он позвал: — Саша, Аня, где вы там?

...Они сидели за столом и пили чай. И все, казалось, было хорошо. Только Митя молчал и Саша тоже. И вдруг Аня осторожно спросила:

— Мама, у тебя болит голова?

— Нет, с чего ты взяла?

— Мама, расскажи про того мальчика, который из Архангельска, — сказала Катя.

— Его скоро выпишут. Пей чай.

— Катя, — сказал Митя, — оставь маму, она устала.

Катя перевела черные немигающие глаза с отца на мать, потом с матери на отца и вдруг, не переставая жевать баранку, спросила:

— А зачем вы все такие сердитые?

— Что случилось? — строго спросил Митя. — Ну, чего ты ревешь?

— А зачем ты такой злой?

— Знаешь что, пойди на кухню и поумней там. Саша, — он повернул к Саше свое открытое, милое лицо, — у меня для тебя подарок: в субботу идем в театр. Премьера! На редакцию прислали шесть билетов, из них два получил я — каково?

В театр они ходили редко. С кино у Мити были свои счета — тяжкие, ревнивые, поэтому и в кино они ходили нечасто. Им редко случалось вместе бывать в Серебряном переулке, Митя не очень любил туда ходить. Часы отдыха, самые лучшие часы, бывали домашними — с детьми или вдвоем.

Долгие беседы, ночные прогулки — это было хорошо. Но как славно пойти вместе в толпу, туда, где о тебе никто ничего не знает. В чужой толпе, в театре, в кино еще радостнее сознать, глядя на Митю: моя рука. Мое лицо. Мы одни. Вокруг люди, а мы вместе, мы одни...

И вот они в театре. Вдвоем. Когда они торопливо подошли к раздевалке и он стал снимать с нее пальто, когда за ее плечами послышались голоса и смех вновь и вновь входящих людей — ей захотелось забыть. И она забыла о волнениях и горестях последних дней, даже о сестре Прохоровой. Саша считала, что забывать об этом нельзя, но беспрестанно помнить не могла, как не может человек постоянно думать о собственной смерти.

Они вошли в партер. Митя, ласково и привычно держа ее под локоть, раскланивался и улыбался направо и налево и вдруг кивнул и весело помахал кому-то сидящему в ложе. Он был среди своих. Сегодня здесь была пресса.

Спектакль запаздывал, — видимо, кого-то ждали... Мимо Саши и Поливанова спеша проходили все новые и новые люди. И Митя все улыбался и кланялся, и лицо его сияло тем особенным оживлением, которое так любила Саша.

Мимо них, спеша в первые ряды, прошел молодой человек с девушкой. Митя встал и познакомил Сашу с товарищем и женой товарища, сказав:

— Познакомься, Костя, моя жена.

И по тому, как просиял молодой журналист, пожимая ей руку, улыбаясь и радуясь, Саша поняла, что он Мите друг. Прошел еще какой-то толстый, в очках, с одним глазом поменьше другого, и с ним женщина в черном шерстяном платье и белом пуховом платке, накинутом на плечи. Митя привстал и опять познакомил Сашу.

— Григорьев. Очень, очень рад познакомиться, — сказал толстый.

Саша знала о нем, — это был заведующий отделом искусства. Неловко хлопая креслом, он усаживался в третьем ряду около своей жены. И видно было по тому выражению, с которым эти двое сели рядом, что им редко доводится бывать вдвоем, что жена заведующего — застенчива, а он, хоть и руководит отделом искусства, в театре не бывает.

И снова прошли двое, нет — трое. Двое мужчин и женщина. Саша узнала Марину Алексеevну. В узком черном платье, очень гладко причесанная, она показала Саше прекрасной. Два ее спутника — один пожилой, другой помоложе, широкий в плечах — не глядели по сторонам, они глядели на нее.

Митя шагнул им навстречу, и вот она стоит в кружке из троих — те двое и Митя. И Саша, забыв, что это может быть неучтиво, пристально глядит на нее, словно торопясь запомнить или ответить себе на какой-то вопрос.

Марина Алексеевна сдержанно улыбалась. Ее лицо без тени румянца могло бы казаться измученным, если бы не свет серых, ярких глаз. Потом она усаживалась, оживленно разговаривая со своими спутниками. И тут, переводя дыхание, Саша оглянулась на Митю. Он глядел вперед, на затылок Марины Алексеевны, на руку, направлявшую прическу. И вдруг Марина Алексеевна обернулась и, весело, просто встретясь с его взглядом, кивнула.

Забыв обо всем, он смотрел поверх чужих голов с тем подчиненным, зависимым выражением, которое так знала Саша. И та, скользя мимо Сашиного лица, отвечала ему счастливым, улыбающимся взглядом. И долго, долго глядели они друг на друга, Митя и та, чужая, — до тех пор, пока не стали медленно меркнуть огни люстры. И вот из полутьмы — мгновенной и быстрой и такой долгой для Саши — снова глянула женщина, дрогнул ее большой рот, наклонилась ее маленькая голова и пропала во тьме.

Раскрылся занавес. У Саши так билось сердце, что ей казалось, будто все слышат этот стук, гулкий и резкий. Она боялась, что не сможет вынести этого страдания, в первый раз ставшего таким отчетливым.

А на сцене шла своя жизнь. Саша очень бы хотела уйти в эту жизнь, отдохнуть от боли. Но сегодня, меньше чем когда-нибудь, можно было ее обмануть.

Там, на сцене, кто-то кого-то любил, презирал, уважал. Кто-то не посчитался с коллективом и повел себя как индивидуалист. Коллектив его осудил, он быстро раскаялся, и трудно было представить себе, что он станет делать во втором и третьем акте.

Но тут вмешался подлец, спутал все карты, и снова подозрение пало на раскаявшегося индивидуалиста.

Уйти бы, уйти. А что, собственно, случилось? Митя перекинулся взглядом с товарищем? Нет, не надо лука-

вить. Она знала это давно. Не словами, не отчетливой мыслью — внезапной догадкой.

Свет. И можно передохнуть. Можно зажечь и задвигаться. Но жить не хочется. Все для нее теперь экзамен — улыбка, шаг, который она сейчас сделает, слово, которое скажет.

Лицо ее погасло — и это она тоже знала, но сделать с этим ничего не могла. Лицо не подчинялось ей, а в зале уже был свет.

— Я, пожалуй, пойду покурить, — торопливо сказал Митя и, оставив ее, не оглядываясь, пошел к выходу.

Его нагнали те трое. Отстранив спутников женщины, Митя взял ее под руку, и непринужденно, весело они пошли вперед. Потом их заслонила от Саши нахлынувшая толпа, зал опустел, и в нем была Саша, зачем-то приведенная сюда Митей.

Не в силах вынести одиночество, она выскользнула из зала, сбежала с лестницы не оглядываясь и, не разыскивая его, спустилась в гардероб.

Пальто? А как же пальто? Оно повешено на общий номер, а номер у Мити.

— Мне... Мне очень нужно... Такое синее пальто... и воротник серый... Но если нельзя...

Лысый гардеробщик смотрел внимательно, испытующе.

— Как же так... — сказал он было.

Махнув рукой, Саша пошла к выходу.

— Эй, эй, погодите! Дам, дам я вам ваше пальто. А ему что же сказать? Голова, мол, болит? Или как?

...И вот она на улице. Куда себя девать?

Дети, — обращаясь к Ане и Кате и словно жалуясь, сказала про себя Саша. И не успела подумать о девочках, как ясно увидела их обеих. Но что могли они? Что могла она? Никто ничего не мог.

— Что это значит? Можешь ты мне объяснить, что это значит? — весь бледный, сжав кулаки, говорил, почти кричал Митя, забыв о спящих в соседней комнате детях, об Анисье Матвеевне, обо всем на свете. — Ты понимаешь... Ты понимаешь, как это называется? В какое постыдное, глупое положение ты меня поставила? Уйти! Ничего не сказав! Я как дурак метался по театру, все это видели... Почему ты молчишь?

Саша молчала.

— Говори! Отвечай! — выходил из себя Митя. — Почему ты молчишь?

— А я тебя слушаю, — тихо ответила Саша.

— Ну, что, что случилось? — допытывался он, доведенный до бешенства, и добавил горячо и отчаянно:

— Какую мелкую душу... Какую мелкую душу надо иметь... — Он недоговорил. — Я понимаю, почему ты ушла. А можешь ты понять, что она мне друг? Товарищ? Понимаешь ты слово «товарищ»? Я не хотел говорить, пока все не наладится, но мы затеяли общую работу, общую книгу... Я хотел сказать потом... Потом, когда все было бы готово, известно... Ведь это для вас же, для тебя, для детей. И ты думаешь, после всего этого я смогу работать? Ты ударила по главному. Я уж не говорю о том, что теперь вся редакция будет болтать, ведь каждый встречный меня спрашивал: где же ваша жена? Уж лучше бы ты меня ударила при всех — проще было бы. Непостижимо!

— Митя, пожалуйста... Пожалуйста, замолчи. Не надо говорить так много... Я не могу слышать того, что ты говоришь...

— А знаешь, какое у нее преимущество перед тобой? Она просто хорошо воспитана, вот и все.

— И это верно, — тихо и устало сказала Саша.

Тогда он молча, рывком, выдвинул ящик, достал одеяло, подушку. Потом расшвырял все это по дивану.

— Нет, это невыносимо. Больше я так не могу. И я не позволю издеваться...

— Хорошо, — сказала Саша, — я не буду больше издеваться.

Подняв с пола подушку, она принялась стелить постель.

Митя умолк. Свет в комнате погас, оба легли. Они лежали, не прислушиваясь друг к другу, каждый прислушивался к себе.

«Скорее, — думала Саша, — скорее скажи, что ты меня любишь. Обними меня, как тогда, когда мы в первый раз поссорились, и я постараюсь опять поверить, забыть глаза, какими ты глядел нынче вечером... на нее... на меня... Я забуду все, что ты сказал сейчас... Ну скажи, скажи, что ты меня любишь».

Но она знала, что эти слова не будут сказаны. Ничто не будет объяснено. Потому что объяснить это нельзя, как нельзя объяснить смерть.

Если человек перестал любить, он не виноват. Если человек зарубит другого топором, он виноват, и его судят. А если разлюбил — не виноват. Потому что никто не властен над своим сердцем. Но ведь не разлюбит же мать своего ребенка? Значит, есть такая любовь? И только в той любви сердце верно себе? Значит, истинная любовь не гаснет, а гаснет только та, что не истинная? Иначе как же можно занести топор над душой того, кого ты любил прежде?

Уже светлело окно, а она все лежала, боясь шелохнуться.

Их книга была придумана ею. Как и та давняя полоса, она называлась «Люди одного района». Речь шла о передовиках — работниках сельского хозяйства, индустрии, врачах, учителях.

— Это будет хорошая книга, поверьте. Мы покажем, что всякая победа стоит крови. Портреты живых людей, делающих свое дело, — это можно написать очень интересно. Мы даже на нашей полосе убедились в этом.

— Я не люблю, когда журналисты замахиваются на книги.

— Вы считаете журналистику литературой второго сорта?

— Ничуть. Но меня вполне устраивает газетный лист, я не мечтаю о толстеньких томиках.

— И напрасно! Это, простите, то самое унижение, которое паче гордости.

— Нет. Просто я считаю, что надо трезво оценивать свои возможности. Ну ладно, еще одна кустарная лодочка будет плавать в книжном море. И затеряется среди мощных лайнеров в этом самом безбрежном море. И вряд ли кому понадобится для большого плавания. Вот Кольцов...

— Тсс... Вы сами себе возразили. Если очерк умен, горяч, он достоин книги. Попробуем! Попытка не пытка. Бросить всегда успеем.

Они начали с того, что придирчиво перечитали очерк Поливанова о директоре завода. Впрочем, Поливанов знал, что очерк хорош. Если тот, о ком ты пишешь, тебе по душе, пишется легко и счастливо. А тут Поливанов писал не просто очерк-портрет. Для него тема этого очерка была гораздо глубже, и он надеялся, что читатель это почувствует, поймет. В войну завод делал танки. Но

в сорок втором году директора вызвали в Кремль. Понимаете, — сказал он Поливанову, — немец под Сталинградом, в Москве рогатки на заставах, а нас с Урала вызывают в Кремль, меня и главного конструктора. Пришли, ждем. И что вы думаете нам говорят? «Партия и правительство считают своевременным дать заводу новое задание. Речь, товарищи, идет о советском легковом автомобиле новой марки». Вдумайтесь: немец под Сталинградом, а нам пришло время заботиться о мирной жизни. Ну и счастлив я был! Вот тогда-то я и понял, что в сорок-ке родился!

Этот очерк Поливанов так и назвал: «Счастливый человек».

— Да, хорошо... Очень хорошо, — сказала Марина Алексеевна, — а вы уже успели посмотреть, что я написала о Конкине?

— Я, наверно, кажусь вам чудачком со своими однообразными аргументами, — ответил Поливанов. — Но когда я увидел конкинских гусей — литые, огромные, геральдические гуси, целая дюжина, — я решил, что писать о нем не надо. Вы же видели, какая птица на дворах у других колхозников?

— Почему вы сбрасываете со счетов электростанцию, которую он построил? Почему вы забываете, что он первый в районе кончает и сев и уборку, что у него лучший в районе урожай? Ладно, на время отложим Конкина. Давайте займемся Владимировым.

Да, тут нечего было возразить. Владимиров был человек что надо. Он председательствовал в своем колхозе двадцать с лишним лет, и его не заботило, на каком месте он будет в районе, не заботило, поместят ли его портрет в районной газете. Его заботило дело. И то, как сделать, чтобы люди в его колхозе жили по-человечески.

— Вы чудесно рассказали, как он обходил избы, вернувшись с войны, — сказал Поливанов. — Знакомишься со всем селом. Просто входим в каждую избу вместе с Петром Саввичем. Вернее, с вами. Молодчина вы...

...Сегодня им работалось особенно счастливо.

Он сидел в кресле и писал, а она, как всегда, ходила по комнате и, как всегда в минуту особого подъема, подойдя к Поливанову, положила руку ему на плечо. И никогда не бывали они так близки друг к другу, как в эти минуты общей мысли, общей удачи. Но никогда прежде он не целовал руки, которая легла ему на плечо. А теперь поцеловал. И в этом — так решил Поливанов — была виновата Саша. Она была виновата во всем. Она испортила чистоту этой дружеской связи, где все было ясно и незапятнанно и не требовало слов...

Один умный человек сказал: пока не научишься ненавидеть, не научишься любить. Или что-то в этом роде. Леша ненавидел четыре года кряду. Он устал от ненависти. И он втайне радовался, что любит старика Гессе и мальчишку Мартина. Облегчение, освобождение испытал он, когда ненависть его отпустила: ненависть — штука ядовитая, иссушающая. И вот он снова с ней встретился. Он больше не мог слушать зимаревские лекции, не мог видеть его высокую ладную фигуру и красивое, как на плакате, лицо. Тогда, в войну, он Зимарева жалел, он говорил себе: ну, что делать — боится. Не может взять себя в руки. Ему тоже нелегко. Теперь Леша не рассуждал, не раздумывал, он просто ненавидел.

Зимняя сессия. К экзамену по тактике Леша готовится спустя рукава, что, в сущности, глупо — предмет важ-

ный. Но ему все ненавистно, все, что хоть как-то касается Зимарева.

Он был уверен, что экзамены будут принимать несколько человек. А принимает один: Зимарев. Леша застигнут врасплох. Уйду, — думает он. Нет, — решает он вдруг, — пойду сдавать. Ему. Только Зимареву и никому больше.

Он подходит к столу, берет билет. Он садится напротив Зимарева и вслух читает первый вопрос:

— «Боевой порядок истребителей, примененный Покрышкиным при завоевании господства в воздухе на Кубани в 1943 году». Гм, — говорит Леша и, подперев кулаком щеку, сообщает доверительно: — Я там не был в это время. Мы с вами на другом участке фронта воевали. Но, сами знаете, Покрышкин не промахнется. Он порядки правильно строил...

Леша с удовольствием смотрит на кирпичный румянец, заливший щеки Зимарева, на капельки пота над верхней губой.

— Хорошо, — говорит Зимарев, — отвечайте следующий вопрос.

— «Тактика одиночного бомбардировщика при отражении атак истребителей», — весело читает Леша. — Ну, какая уж тут тактика: пулемет стрелка против пушек, — говорит он. — Бежать надо. Спасаться. Только, знаете, просто бежать не выйдет: убьют, это точно. Тут все от летчика зависит, от его мастерства и хладнокровия. Знаете, как заяц бежит от собаки? По прямой. Но у собаки скорости и силы больше. Догонит. А вот с лисой другое дело. Знаете, как на лис охотятся? Не знаете. Не охотник, значит. Да, так о чем же мы? О лисах. Лиса петляет, но не со страху, а с умом. Глядишь, и запутает собаку. Та и след потеряет. Так что тактика здесь одна: смелость. Мастерство. Хитрость. Такая вот тактика.

— Хорошо, товарищ капитан. Давайте зачетку.

— Как так зачетку? У меня еще один вопрос. Насчет организации обороны в строю. Только действительно по этому вопросу и отвечать-то нечего. Все и так ясно. Один за всех. Все за одного. Смотреть в оба. Не поддаваться панике. Как запаникуешь — себя погубишь и других поведешь. Ну конечно, стрелять надо. Целиться хорошо надо. Если не целиться — не попадешь. А если целиться, бывали случаи, попадали. Своими глазами видел.

Леша умолкает. Молчит и его преподаватель. Леша смотрит на него с наслаждением, улыбаясь весело и отчаянно. Ага, вытащил платок, вытираешь руки. И пот со лба вытираешь. Значит, когда трусишь, тебя прошибает пот. Берешь зачетку, смотришь. Интересно, что ты собираешься поставить за этот веселый разговор? Ты должен просто выгнать меня вон, а ты колдуешь над зачеткой.

Леша берет свою зачетку, в упор, с улыбкой смотрит на Зимарева. Потом, не спеша, собирает свой портфель, аккуратно укладывает конспекты, выходит в коридор.

Уже на улице он вдруг останавливается, шелкнув замком, отпирает портфель и вытаскивает зачетку — что он там колдовал над ней? Листок за листком: математика — хорошо, теоретическая механика — отлично, история КПСС — хорошо. Стоп, тактика: четверка! Леша не верит своим глазам, подходит к фонарю: ошибки нет — четверка!

Девочки говорят: Татьяна Сергеевна стала сердитая. А Катя знает: нет, не сердитая, а печальная. Это — большая разница. Сердитые люди придираются. Все им не так. Сердитый говорит: отстань, замолчи, не мешай. Вот

что такое сердитый. А печальный... Печальный не сердится. Просто ему грустно. И еще печальные думают о чем-то своем. Татьяна Сергеевна вызывает девочку: расскажи, как ты решала эту задачу. А сама смотрит в окошко. Раньше она смотрела на девочку или ходила по классу и улыбалась. А теперь стоит, прислонившись спиной к стене, и смотрит не в класс, а в окошко.

Девочки любят Татьяну Сергеевну. Потому что она очень хорошая, справедливая, и еще потому, что у нее нет любимчиков. Катя согласна: любимчиков у Татьяны Сергеевны нет. А все равно она Катю любит больше всех. Она ставит Кате двойки, если урок не выучен, и наказывает ее («останешься после занятий и все переписешь начисто»), а все равно она Катю любит больше других девочек. Никто в классе этого не знает, а Катя знает.

Татьяна Сергеевна часто говорит:

— Катя, останься после уроков, поможешь мне.

Катя остается. Татьяна Сергеевна сидит за своим учительским столом и что-то пишет, смотрит дневники, а Катя за партой делает уроки. Тихо. За окном темно. Еще рано, часа три, а темно. Зимой дни короткие. А двадцать второе декабря — самый короткий день и длинный, длинный вечер. Класс такой странный, когда в нем нет девочек. Пустая комната, за партами — никого, одна Катя. Тихо. Странно. Но — хорошо. Катя переползает на первую парту, поближе к Татьяне Сергеевне. И так они сидят, и каждая занята своим делом, а иногда Татьяна Сергеевна говорит:

— Катя, сосчитай, пожалуйста, по дневникам, сколько у нас за эту неделю было двоек, троек, четверок и пяттерок.

И Катя считает — очень быстро, и никогда не ошибается. Двойки такие глазастые, испуганные, а тройки —

шустрые. У пятерок всегда очень важный вид. Татьяна Сергеевна очень красиво пишет пятерку. Крупно так.

— Как живешь, Катя? — спросит иногда Татьяна Сергеевна.

— Хорошо, — отвечает Катя.

— Как мама? Дядя Леша? Все здоровы у вас? Все хорошо?

— Спасибо, — говорит Катя, — все хорошо.

Катя знает, что это — не очень правда. Конечно, все здоровы. Но все ли хорошо? Недаром вот она любит оставаться с Татьяной Сергеевной после уроков. Раньше она бежала домой, скорее домой, — может, уже вернулась с работы мама, а вдруг и папа пришел? Очень весело было бежать домой. И почти всегда Катя кого-нибудь приводила в гости, кого-нибудь из девочек. И девочки любили ходить к Кате в гости потому, что у Кати дома было весело и мама шутила и рассказывала разные смешные истории про свою школу, а тетя Анися угощала обедом. А теперь... Мама встречает девочек ласково и разговаривает с ними вроде как по-прежнему, но Катя знает — мама хочет, чтобы они все ушли. Разговаривает с ними, а сама думает о другом. И думает: ах, скорей бы вы все ушли. И Катя боится, что девочки это поймут.

Вот кто сердитый стал, так это тетя Анися. Целый день сердится. Без передышки. А мама стала печальная. И от этого дома скучно. Ну, невесело. И Катя нисколько не хочет домой. Так бы и сидела в школе. Конечно, не одна, а вот так, с Татьяной Сергеевной.

До чего же Катя не любит, когда люди невеселые! Вчера Аня собирала книжки для детского сада. Все книжки перетаскала! Кате было жалко расставаться со сказкой о кукушке, которая бросила своих детей. Она сказала Анюте: эту не бери, она печальная, ее маленьким читать не надо. Анюта ответила: ничего, пускай рас-

тут добрыми. Катя не согласна: разве от печальных книжек дети вырастут добрыми? Нет, это неправда. Добрые всегда веселые. Добрым быть веселее, чем злым. И детям надо читать только веселые книжки. А почему самой Кате нравится книжка про кукушку, которая бросила своих детей? Катя даже сама этого не понимает. Катя уже прочитала много взрослых книг, а ту сказку она до сих пор любит.

Вот так они сидят вдвоем в пустом классе. Иногда Татьяна Сергеевна спрашивает:

— О чем думаешь, Катя?

Ну как ответить, про что она думает? Она думает, что не хочет домой, и ей стыдно, что она не хочет домой, мама бы сильно огорчилась, если б это узнала. Но рассказать обо всем этом Татьяне Сергеевне Катя не может.

— Я думаю про Бориса Годунова, — говорит она.

— Что же ты думаешь про Бориса Годунова?

— Не верю я, чтобы Борис Годунов убил мальчика, не убивал он. Татьяна Сергеевна, ведь он хоть и царь, но хороший человек. Мне Годунов нравится такой, как в «Князе Серебряном», а не такой, как в учебнике у Анюты.

— А ты уж и в Анютин учебник заглядывала. Катя, Катя, мы засиделись, уже пятый час, пошли-ка домой.

Домой... Кто бы знал, как не хочется Кате домой. Они идут вниз, одеваются, Татьяна Сергеевна помогает Кате завязать шарф. И вот они выходят на школьный двор. У фонаря стоит военный. У Кати даже сердце екнуло от радости, но нет, это не Леша. Это тот дяденька, которого Леша не любит. Коля его зовут. Он подходит, здоровается и глядит на Катю. Он ничего не говорит, но Катя знает: он хочет, чтоб она ушла. Он только посмотрел, и она поняла, что надо уйти. Но Татьяна Сергеевна крепко сжала ее руку, и Катя поняла, что уходить не надо.

— Я хотел бы поговорить с вами, Таня.

— Пожалуйста, Коля. Я слушаю.

Идут и молчат. Почему Кате не нравится этот Коля? Красивый такой. А вот — не нравится. Катя не любит, когда ее не любят. А этот Коля ее не любит. Но ей все равно: не любит и не любит. Пожалуйста. И раз Татьяна Сергеевна крепко держит ее за руку, как она может уйти?

— Я хочу, чтобы вы поняли и не винили меня, — говорит этот Коля, — ему все равно было бы плохо. Ведь не я же это начал, меня только спросили, и я вынужден был подтвердить. И лучше, что это сделал я, чем кто-нибудь другой. Другой бы его совсем загубил.

— Я уже не раз слышала, как люди оправдывают себя таким образом. А почему не сказать прямо, что все это выдумка и клевета?

— Я пытался. Но он сам портит все дело. Он не желает давать никаких объяснений. Я бы очень хотел быть ему полезным.

— Коля, ну что вы мечетесь? Подите и скажите, что все это неправда.

— Вы думаете, ему от этого будет лучше?

— Да не о нем я сейчас. Вам, вам будет лучше.

— Таня, мне уже никогда не будет лучше. Я совсем запутался. И вы почему-то совсем не хотите меня понять. Я хочу, чтобы вы поняли: я тут ни при чем. Выплыло то, что он говорил в частных разговорах. Он говорил, например, что погоня за приоритетом — это постыдно. Уже одного этого достаточно, чтобы...

Про кого это он говорит? — думает Катя. Приоритет... Приоритет... Что это такое? Может, имя? Непохоже вроде. Хотя есть же книжка «Алитет уходит в горы». Может, и Приоритет уходит в горы. Это такой мальчик. Его дома обижали, и он убежал в горы. Родители заявили в

милицию, за ним погоня... Нет, наверно, приоритет — это что-нибудь другое. Что-нибудь научное.

Как странно этот Коля разговаривает: как будто оправдывается или стесняется. А чего он стесняется? И почему он Кате так не нравится? Вот он уйдет, и Катя спросит у Татьяны Сергеевны — плохой он или хороший? Катя очень часто думает — может умный человек быть плохим или не может? Ведь умный должен все понимать про добро и про зло, как же он может быть плохим? И Катя думает так: все умные — непременно хорошие. А тетя Анися говорит: бывает, злое дело выгоднее. Есть такие умники, понимают это.

Катя скашивает глаза и смотрит на Колю. Лицо у него растерянное и темное какое-то...

— Коля, вы все это уже много раз говорили мне. Раз двадцать, наверно. И я вам тупо повторяла, что, как ни странно, во всей этой истории мне жаль вас, а не его. Вы мечетесь из стороны в сторону и не можете найти выхода. А выход только один. Трудный, но единственный. И никто вам помочь не может, только вы сами...

— Таня, но все должно иметь смысл. А в этом нет никакого смысла. Если я попытаюсь его защищать, я только загублю себя...

Ой, — вдруг думает Катя, — да ведь он боится Татьяну Сергеевну. Ни одна девочка в классе не боится ее, а он боится.

Куда это они идут? А, к Татьяне Сергеевне. Надо будет позвонить домой, а то все начнут беспокоиться. Если Катя вовремя не приходит, все беспокоятся. А когда она приходит, никому до нее нет дела. Поди на кухню и поумней там, — говорит папа. Отстань, балаболка! — говорит тетя Анися. Ну тебя! — говорит Анюта. И все вместе они говорят: замолчи! Одна мама разговаривает с Катей, но радости от этого никакой: мама разговаривает, а сама о

чем-то думает. А Катя этого терпеть не может. Она любит, чтобы мама, когда разговаривает с ней, думала только про нее и больше ни про кого.

Ну вот и пришли. Сейчас Татьяна Сергеевна скажет: заходите, Коля. Я угощу вас чаем. Но нет. Она говорит не так:

— Боюсь, что все мои советы вам ни к чему. И напрасно я вас жалела. Вас надо бояться, а не жалеть. Прощайте, Коля.

Он поворачивается и уходит.

Прощайте... Сколько есть на свете прощальных слов, — думает Катя, — до свиданья, прощайте, всего хорошего, будьте здоровы, счастливо оставаться...

Мела метель. Будто напоследок зима решила взять свое. С неба без устали валил и валил густой снег. У фонарей на свету видишь, как снег кружит и пляшет, но сразу же за фонарем он сыплет не кружась, не танцуя, сплошной тучей, обрушивается на деревья, на тротуары и пешеходов. А Леша не замечает ничего: ни снега, ни ветра. Он идет и думает только об одном: как он расскажет об этом дома. Его отчислили из академии. Его ушлиют. Наверно, на Курилы. Он поедет, и ему на все наплевать. Но как он расскажет обо всем этом дома? Отец и мать так радовались, когда он поступил в академию. Вернулся с войны, жив, здоров. И вот кончит академию, будет инженером. «Леша такой способный, — слышит он голос матери. — Он так отлично учится. Не исключено, что его оставят в адьюнктуре, у него большой боевой опыт». Все это она рассказывала своим сослуживцам, и на кухне, и когда сидела, отдыхая, во дворе на скамейке

под обуглившимся каштаном. Его так и не срубили, этот каштан. А отец говорил: Леша у нас молодец. Очень хорошая голова на плечах. Будет научным работником, я уверен.

И вот он должен сказать им, что не кончит академии. Что его отчислили за роман с Гертрудой Гессе. Мать заплачет. Леша даже остановился, когда подумал об этом. А отец будет говорить, стараясь, чтоб не дрожали губы: сынок, надо написать куда-нибудь. Обжаловать. Это несправедливо.

Леша поедет на Курилы не моргнув глазом. Но родителей жалко так, что кажется, будто кто-то схватил его за глотку и стиснул, не отпускает. Правду говорит Саша, жалость — самое мучительное чувство. Жалеешь, только когда ничем не можешь помочь. Вот и сейчас: чем им поможешь?

Пойду к Саше, расскажу ей. Нет, не пойду. Ей самой плохо сейчас. Что-то у нее не ладится. Вчера он спросил: что с тобой? А она: очень устала. Смертельно. В больнице только и слышишь эту несусветную чушь: сестрица, это лекарство не отравленное? Сестрица, а правда, что в некоторых больницах прививают больным рак? А в нашей больнице не прививают?

Он ей все скажет завтра. Он хочет пойти к Саше потому, что ему плохо. Он хочет, чтоб она ему помогла. А ей самой худо. Он хочет пойти к Поливановым потому, что не может, не может, не может вернуться домой. Не может войти в комнату и сказать: меня отчислили.

Не может увидеть, как задрожат у отца губы.

А мама? Нет. Сегодня он ничего им не скажет. У него не хватит мужества нанести им такой удар. Завтра. Утро вечера мудренее. А что он будет делать сейчас? Он уже давно не шел по Ленинградскому шоссе к Белорусскому вокзалу. Он давно уже повернул назад. Ну и что же? Он

пойдет и простится. Попрошается. Он был груб тогда, в их последнюю встречу. Сейчас он зайдет, попросит извинить за тот разговор и уйдет. И ничего нет странного в этом желании. Домой он вернуться не может, вот и все, что он знает.

Она сама открыла ему дверь. Она не удивилась, увидев его. Отвела прядь волос со лба и сказала:

— Что же вы стоите, Алеша? Заходите скорее, снег!

Он зашел. Совсем как тогда, топились печка, и на маленьком, почти игрушечном письменном столе лежали детские тетради.

— Вы замерзли, наверно? — говорила Таня. — Грейтесь, Алеша, а я вскипячу чай и сварю пельмени. Вы любите пельмени?

Это было милосердно, что она не сказала: зачем вы пришли? Или еще что-нибудь в этом роде. Она сказала: грейтесь. И еще сказала: вы любите пельмени? И он ответил: люблю.

Он подошел к письменному столу и отыскал Катину тетрадку. «Тетрадь для сочинения ученицы 3 «В» класса Кати Поливановой». Сочинение называлось «Весна». И начиналось оно такими словами: «Весна — понятие растяжимое». Он невольно улыбнулся. Ему вдруг чуть полегчало. Он сел у печки, приотворил дверцу и стал глядеть в огонь. Какое веселье царило там, в глубине. Какие города выростали и рушились. Как металось, взлетало и падало пламя, как наливались прозрачным золотом угли. Вот так бы и сидеть здесь целый век. И ни о чем не думать.

Из кухни вернулась Таня. Он услышал скрип двери и легкие шаги. Он повернул голову. Она стояла и смотрела на него печально и вопросительно. Он снова отвернулся.

— Садитесь, Алеша. Чай на столе.

Он молчал, она не повторила своей просьбы.

— Меня отчислили из академии, — сказал Леша.

Она молчала.

— Я уезжаю. Наверно, на Курилы, — сказал Леша.

— А я? — услышал он.

— Что?

— А я? — повторила Таня.

Саша жила так, как велел день. Утром вставала и шла на работу. Возвращалась домой, была с детьми. Готовилась к экзаменам в медицинский институт. Потом, не дождавшись Мити, ложилась. Он приходил поздно. Я сегодня дежурю, — бросал он на ходу. Или звонил по телефону: я сегодня «свежая голова», я не приду. Саша знала: «свежая голова» — это тот, кто смотрит только что сверстанный номер, последний проверяет — нет ли ошибки? Прежде он добавлял: спокойной ночи, Сашенька, сейчас он говорил просто: я не приду. А иногда ничего не объяснял: я не приду — и только.

На работе Дмитрий Иванович сказал ей:

— Я недоволен вами, Саша. Вы становитесь добросовестным работником.

Голос его звучал сухо, он никогда не говорил с ней так. Но она знала, что он прав. Все, что она делала, она делала механически: в назначенный час давала лекарства, в назначенный час вливала глюкозу или капала эфедрин мальчугану, схватившему насморк. Но знал бы доктор, чего ей это стоило! Она работала, сжав зубы, едва превозмогая боль, такую жгучую, что она напоминала ей ту, другую, уже испытанную однажды. Что-то словно умерло в ней самой. Не было даже сил для выражения горя,

совсем как тогда. И слез не было. И хотелось только одного: не быть. Как тогда. Дети? Но ведь и тогда была Аня. И совсем как тогда, она не могла слушать музыку.

И казалось, стоит только задуматься и понять, что случилось с ней, с детьми, с Митей, как из глаз хлынут слезы, и тогда, может быть, станет легче. Но додумать этого она не могла. Ну, а как живут другие? Брошенные? Оставленные в голой, сожженной пустыне, где нет любви и, может, не было. Живут. И нельзя сказать:

— Нет, я так жить не могу.

Потому, что многие не могут, а живут. Сначала надеются, потом перестают надеяться. И живут. И как ей быть сегодня? Ее ждет долгий, страшный, длинный вечер. Она не хочет домой. Там еще труднее, чем на работе, чем на улице. Леша нет. Леша далеко. Ему — одному на свете — могла бы она все рассказать. А может, и ему не рассказала бы. Он уезжал такой счастливый! Он уезжал вместе с Таней, и ему было все нипочем. На вокзал провожать их пришли все — и отец с мамой, и Поливановы. Отец держал себя молодцом. По щекам Нины Викторовны текли слезы, но она улыбалась: главное — пишите. И берегите себя — там такой климат...

А Катя надела на руку своей учительнице часы — те самые, что Леша когда-то подарил Саше. Все глядели, как Катя старательно застегивала ремешок на Таниной руке, а Митя... Митя отвернулся.

Ну вот. Сегодня абонементный концерт. И не пропадать же абонементу. Прежде она пошла бы не думая. Но сейчас ей не хочется. На абонементных концертах по правую руку от нее сидит старичок в черной толстовке. У

него крохотные руки и глаза с сумасшедшинкой за толстыми стеклами очков. Он иногда мешает Саше, потому что ерзает, кашляет, иногда бормочет:

— Ну, куда спешит, куда гонит? Ведь русским языком сказано: лярго!

Саша полюбила его. Он всегда рядом, у него тоже абонемент. Ей почему-то жалко его — такой неухоженный, рукава толстовки обтрепались, локти лоснятся. А по левую руку тоже владелец абонемента — человек с красивым, надменным лицом. Он, как и старичок, как и Саша, тоже всегда один.

Однажды Рихтер играл сонату Прокофьева. Казалось, рояль разлетится вдребезги — душа, раздавленная отчаянием, не знала удержу, и пианист не ударял — колотил по клавишам, и рояль не пел — кричал, вопил. Саша замерла. В поисках поддержки она оглянулась. Сосед слева сидел прямо, лицо его было холодно и надменно. Он слушал для себя, и ничьей поддержки ему не надо было. Тебе никогда бы так не сыграть, — подумала Саша, — ты никогда о себе не забудешь, ты всегда помнишь о себе. И сейчас, и сейчас ты не дрогнешь бровью, у тебя и сейчас сжаты губы. Эх, ты! Она отвернулась к старику. И он ответил ей благодарным и удивленным взглядом.

С того вечера он всегда здоровался с Сашей, и в антракте они вместе спускались со своего амфитеатра вниз и ходили по кругу фойе. Она радовалась этому, идя на концерт, она думала о встрече с ним. А сейчас она хотела быть одна. Она не хотела ни с кем здороваться, разговаривать. И все-таки она, пожалуй, пойдет. Она посмотрит хмуро, хмуро кивнет, и он не станет ее тревожить.

И вот она снимает пальто, и знакомая гардеробщица улыбается ей: идите, идите, повешу. Уже весеннее пальтишко? А не холодно? А впрочем, на дворе весна!

И впрямь на дворе весна, но тут не слышно весны. В большом зале все, как было зимой, — орган на эстраде, силуэт черного рояля, портреты композиторов, привычные, как портреты добрых родственников и знакомых. Все как всегда. Нет, не совсем как всегда. По правую руку место свободно: старичок в потертой толстовке не пришел.

А по левую... Сосед слева тоже смотрит на пустое место и, словно отвечая на ее немой вопрос, говорит:

— Да, его и в прошлый раз не было... Как и вас. Это тревожно. Уж если он не пришел, значит — болезнь. Или смерть. Или... Я всегда думал, что его единственная радость — музыка.

Саша поглядела на него удивленно, он улыбнулся в ответ.

— Я умею отгадывать мысли. И знаю, о чем вы сейчас думаете: «А разве ты умеешь думать о ком-нибудь, кроме себя?» Ведь правда?

— Правда, — еще больше удивившись, сказала Саша.

— Он очень горевал однажды, когда увидел, что вас нет. И с горя заговорил со мной. Мы с ним взяли билеты на «Колокола», и он убеждал меня брать второй амфитеатр: я, говорю, доподлинно знаю, что Рахманинов и Чайковский всегда брали второй амфитеатр. Боковые места. Склад его характера необычный, старый. Мне кажется, он был...

— Не говорите о нем «был». Я не хочу. Он еще придет!

— Нет, не придет.

— Да почему?!

— Потому, что его больше нет.

— Да будет вам. Какая-то мистика, — сердито сказала Саша.

— Мистика? Нет. Обыкновенная наблюдательность. Не придет. Такой, если пропустил абонементный концерт, значит, очень болен или...

Вышел дирижер, и в зале раздались аплодисменты. Послышался стук палочки по пюпитру, за роялем уже сидел пианист. Грянули первые аккорды, и оркестр тотчас подхватил их. Саша очень любила этот концерт и знала в нем каждую ноту. Она всегда слушала его, переплетя пальцы рук, и улыбалась. А сейчас она поняла: еще минута — и она заплачет. Она не хотела этого, потому что кресло слева не было больше пустым, как прежде. Там сидел кто-то, кто, оказывается, умел наблюдать, отгадывать. Она хотела остаться наедине с музыкой, не слышать соседа, только музыку.

Закусив губу, она поднимает глаза вверх, к окнам. Она любит их. Здесь, в амфитеатре, они совсем близко. Окна по левую сторону тускло поблескивают. Они похожи на ледяные зеленовато-голубые глыбы. А справа окна теплые, розовые, там заходит солнце, и в одном квадрате светится горячее оранжевое око, оно бьет Саше в глаза, пронизывает кудрявые волосы девушки, что сидит впереди.

Что ей напомнили эти окна? Вот: они сидели с Андреем на берегу реки. По левую руку вода была тусклая, холодная, от нее веяло сумерками и печалью. А там, направо, небо было розовое от заката и солнце ярко блистало в воде. Оно купало в воде свое отражение, и вода была светлая и живая.

Саша помнила руку Андрея на своей руке, слышала голос, при звуке которого ей всегда становилось покойно и тревожно.

Почему ты сейчас об этом вспомнила? Ведь ты все забыла, ты не вспоминала. Почему же сейчас ты вспомнила?

Потому, что тебе плохо? Потому, что нет сил? И ты ищешь опоры? Нет, я не забывала. Я помнила. Я не вспоминала, но я помнила. Иначе, увидев эти высокие окна, я не вспомнила бы ту речку и нас с тобой на бере-

гу. Я не забывала. Я помнила. Был ли день, чтоб я не помнила? Нет, такого дня не было.

Еще минута, и далеко отступил сосед, далеко отступил зал. Низко опустив голову, закрыв лоб и глаза рукой, она заплакала.

...Антракт. Скосив глаза, Саша поглядывает налево и с облегчением вздыхает: его нет, ушел. Она тоже идет к выходу, спускается по широкой лестнице к гардеробу.

— Решили уйти? — Гардеробщица удивлена, с Сашей этого еще не бывало.

Вечерняя весенняя улица, запах дождя, влажной мостовой. Саша идет задумавшись, глубоко засунув руки в карманы.

Впереди высокий человек, чуть припадающий на левую ногу. На влажной мостовой эта походка почему-то напоминает Саше раскачивающуюся походку моряков. Это он, — вдруг думает она. Тоже ушел.

Обогнав его и обернувшись, она говорит:

— Это не правда. Он есть. И цел.

Он улыбается и отвечает:

— Что ж, пусть будет по-вашему.

Лето. Саша сидит за столом, совсем как когда-то в школьные времена, зубрит химию. Сочинение позади, она справилась с ним хорошо. Странно, если бы было иначе, как-никак за плечами два курса филфака. И устный экзамен по литературе принес ей «отлично». Ей попался «образ Татьяны» и «Молодая гвардия» Фадеева.

А завтра химия. Девочки рядом. Аня готовит Сашу, готовит серьезно, с полным чувством ответственности, с азартом и тревогой.

— Ну давай повтори, в чем заключается процесс пиролиза нефти? И чем он отличается от простого крекинга нефти.

— Ну тебя, Аня, не станут этого спрашивать в мединституте.

— Не спорь, отвечай. Ну ладно. Раз мединститут... Расскажи реакцию брожения спирта.

— Я знаю! Я знаю! — кричит Катя. — Реакция брожения спирта? Проще простого: сначала спирт превращается в глюкозу, потом в сахарозу, а потом в уксусную кислоту! — На ее смуглом лице торжество, она все время рядом, слушает, запоминает. — У меня счастливая память, — с гордостью повторяет она чью-то похвалу, — у меня счастливая память!

— Отстань со своей памятью. Помолчи. Ну, мама, отвечай!

Саша покорно отвечает. Аня спрашивает строго, учительски.

Зубрить трудно. Голова не та, что в юности. Тогда она была свободна от тревог, забот. Только и дела было: заниматься. А теперь не то. Она должна стать врачом. Не так уж много времени впереди. Стукнет тридцать пять — и уже не допустят к экзаменам. И Саша зубрит. Она зубрит добросовестно, как взрослый человек, решивший твердо: я стану врачом.

...Час ночи. Два часа. Три. Дети давно спят. Мити нет. Саша все занимается. Светает. Рассвело. Мити нет. Он даже не позвонил.

Оторвав глаза от учебника, Саша смотрит на осветленное окно. Разве можно так жить дальше? Разве можно так далеко зайти, не сказав друг другу ни слова? Какая женщина поступила бы так? Ведь это отец Кати, да и Ане он отец. А я молчу. Я не имею права молчать, хотя бы ради детей. Ну, а что же я скажу? Что тут скажешь? И что

ответишь? Я ночами жду его и не могу заснуть. Жду, не смотря ни на что. А потом я слышу, как открывается дверь, и он приходит, и всякий раз спрашивает: почему ты не спишь?

Он же знает почему, зачем же спрашивает? И мне хочется от стыда за него зажмуриться и не глядеть, не видеть.

Уже утро. Пять часов. Шесть. В первый раз он не пришел, так и не позвонив. Может, он ушел совсем? Не сказав ей ни слова? Не объяснившись? А что же можно тут объяснить? Он уже не придет. Никогда.

Саше нечем дышать, она отодвигает учебник и осторожно встает. Глупости! Не может он не прийти. Вот его книги. Вот старые туфли под диваном, вот рубашка на спинке стула. Он придет хоть за этим. Потому, что так вот молча — люди не уезжают, не расходятся.

Запершись в этой комнате, присев на корточки, он будет укладывать свой чемодан — вот как Прохорова рассказывала о своей соседке и улыбалась: «Сложил чемоданчик — и до свиданья!» Вот и Митя сложит чемодан — и до свиданья!

Нет, так люди не расстаются... А разве мы уже не расстались? И что изменилось бы, вернись он сегодня ночевать? Он будет здесь — и далеко, за тридевять земель. И о чем я только думаю?

И словно в ответ — голос Ани:

— Вставай! Пора! — И, остановившись на пороге, всплеснув руками, Аня говорит:

— Ты не ложились? Не отдохнула? Ведь мы же условились!

Анисья Матвеевна сердито гремит посудой. Она тоже не спала. Тоже ждала Митю. Копила в сердце горькие слова, которые скажет ему, как только увидит.

— Ах ты сукин сын, — бормочет она, — а, чтоб тебя...

— Про кого ты? — с любопытством спрашивает Катя.

— Давай помалкивай, больно длинный язык, в отца!

— А чем плохо в отца? — удивляется Катя.

— Еще бы не хорошо, с чужого воза берет да на свой кладет!

— Чего? Чего?

— Анисья Матвеевна, чайник вскипел? — строго и предостерегающе говорит Саша.

И они пьют чай, а Мити все нет.

— А папа уже ушел? — вдруг спрашивает Катя.

— Да, — отвечает Аня, — я запирала за ним дверь. Он рано ушел, у него сегодня много работы.

Анисья Матвеевна в сердцах роняет тарелку, а Катя говорит:

— Ты до конца экзаменов будешь носить это платье? Оно счастливое?

Выгладив «счастливое» платье, Саша надевает его и вместе с девочками выходит на улицу. Они едут на двенадцатом троллейбусе до Пушкинской, а потом на пятнадцатом до Новодевичьего поля.

— Ни пуха ни пера! — говорит Аня. — Ну, отвечай же, к черту, к черту! Мы будем держать за тебя кулак!

Они будут ждать ее у порога — и час, и другой. На Ане платье голубое в белых горошках, на Кате красное с белой и синей тесьмой у ворота. Обе в сандалиях на босу ногу. Две девочки, две дочки. Они будут ждать, и ее победа будет победой ее дочек, а поражение — горем для них.

Оглянувшись, Саша машет детям рукой, и обе, выхватив из толпы ее лицо, ее руку, радостно машут в ответ.

...Сейчас она войдет в комнату, где сидит экзаменатор. Ей даже кажется, что она не очень волнуется. И в самом деле, что же волноваться. Она готовилась, она знает.

Какие все молодые вокруг! Ну, вот эта — совсем как Аня, еще с косичками. Только что кончили школу. И

сколько у них впереди! А у меня?.. Надо идти, нечего тянуть, девочки ждут. Скорей бы!

Она совсем не волнуется, что-то в ней окостенело, — а, все равно. Она берет билет и читает:

1. Реакция получения жиров.

2. Реакция глицерина со стеариновой кислотой.

Кажется, она это учила. Ну да, учила и отвечала Ане. Так вот, надо сосредоточиться. Зачем она не спала всю ночь?

— Ну как, товарищ Поливанова? Можете отвечать?

Саша подходит к столу экзаменатора. Это женщина — немолодая, широкоскулая, коротко стриженная.

— Я не знаю билета, — говорит Саша.

— Не волнуйтесь, подумайте. Хотите второй билет?

— Нет, — говорит Саша, — я все забыла.

— Ну хорошо. Где ваш экзаменационный листок? Два отлично? И вы хотите уйти? Нет, давайте попробуем, побеседуем. Вы работаете?

— Да, я медсестра.

— Ну, тем более. Сколько же лет вы работаете?

— С тридцать девятого года.

— Тринадцать лет? Соберите память. Ну, вспомните, например, реакцию брожения спирта.

Экзаменаторша морщит лоб, шевелит бровями, словно помогая Саше думать. Она смотрит добрыми глазами, на ее лице — огорчение. Она задает вопросы, еще и еще. Саша молчит. Она презирает себя, но молчит. Хочет собраться, вспомнить, но молчит. Потом она вдруг понимает, что может вспомнить. Посидит — и вспомнит. Но она не хочет. Назло всем — она не станет вспоминать. Чем хуже, тем лучше.

Женщина-экзаменатор едва приметно вздыхает.

— Хотите подумать еще? — говорит она.

— Нет, я ничего не помню, — отвечает Саша упрямо.

Она берет свой листок и выходит в коридор. Никто ни о чем ее не спрашивает, такое у нее бледное лицо и такая прямая походка.

Она спускается вниз, выходит на улицу. В лицо пахнул летний зной, пыль, зазвенел троллейбус.

Саша огляделась и тотчас увидела девочек, они бежали к ней. Кто это рядом с ними? Митя?

— Мама, ну как?

— Срезалась, — спокойно отвечает Саша.

— Нет, — всхлипнув, говорит Аня. — Ты просто нас дразнишь!

— Наверно, пять! — орет Катя, хватая из Сашиных рук экзаменационный листок, ищет графу, где химия, и, помолчав мгновение, говорит: — Ну ничего, ничего, ты снова сдашь, ну, честное слово!

— Но ты же учила, ты знала... Мама, что тебя спросили?

«Глюкоза... Сахароза...» — вдруг отчетливо прозвучал в Сашиных ушах Катин голос. Вот сейчас бы она сдала... Если бы он пришел хоть за полчаса до начала экзамена. Ведь она знает. Она сейчас побежит по лестнице наверх, она снова взглянет в скуластое лицо той женщины, она скажет: «Я всю ночь не спала, позвольте, я возьму другой билет, я отвечу, я знаю». Она позволит, эта женщина, она поймет.

— Послушай, Саша, как же это! Наверно, можно пересдать? — говорит Митя.

И, пристально глядя ему в лицо, она отвечает:

— Нельзя. Не хочу. Пускай будет как есть. Не пойду и не пересдам.

— Саша, ну что за ребячество такое! Ведь речь идет не о пустяках, о будущем...

— Замолчи! — вдруг говорит Саша голосом, какого никогда не слышали от нее ни дети, ни Митя. — Замол-

чи. Уходи. Я не хочу тебя видеть. Если бы ты пришел хоть за полчаса...

— Но ведь папа просто очень рано ушел! Не сердись! — сказала Катя и тут же умолкла, получив по затылку от Ани.

— Я просто забыл, что у тебя сегодня экзамен, я действительно виноват, — сказал Митя. — Прости меня.

И, услышав это страшное слово «прости», сама не понимая, что делает, она вырвала свою руку из вспотевшей Аниной руки и сказала:

— Вы сейчас же уйдете. Все. Я не хочу вас видеть. Уходите, слышите?

Она успела увидеть, как исказилось Катино лицо. Она успела увидеть окаменевшее лицо Ани. Она видела, как все трое словно вросли в мостовую. И все-таки она ушла, почти убежала от них, не оглядываясь.

Она шла вниз по Пироговской улице, потом вскочила в троллейбус. В троллейбусе было жарко и шумно.

Кто-то кричал: да выходите же! На копейку не доехали!

И она зачем-то вышла со всеми вместе на полпути, далеко от дома. Она пошла пешком. Домой. К отцу. Она думала отрывисто и бессмысленно: я ничего, ничего не стою. Я не человек. Я просто баба. Правду Митя говорил — «бабье — куриный народ». Я думаю о нем, как о мертвом, — «говорил». Другая на моем месте взяла бы себя в руки и назло всем, назло ему... и ей... выдержала бы. Сдала бы блестяще, и пошла бы учиться, и стала бы врачом. А я... раскисла. И так сказала девчонкам...

Она даже остановилась, вспомнив, какие лица были у детей, когда она сказала: я не хочу вас видеть.

Они будто вросли в мостовую, все трое. И он тоже. «Я забыл, что у тебя сегодня экзамен. Прости меня, пожалуйста!» Прости!

Вот и калитка, и двор, и каштан.

Саше открыл Константин Артемьевич. Он посмотрел на нее близорукими, встревоженными глазами. Не дожидаясь вопроса, Саша бодро сказала:

— Только не огорчайся, пожалуйста. Это в общем пустяки. Я провалилась по химии. Но я обещаю тебе, я обещаю, что в будущем году...

Она говорила, как в детстве. Она говорила горячо, путано и почему-то не могла взглянуть ему в глаза.

— Да, да, конечно, — отвечал он суетливо, — не надо огорчаться... Я уверен... Я надеюсь... Ты непременно сдашь. Ну как же, такая умная головка... Ниночка! Чаю!

Вот оно — лекарство от всех бед: чай. И Саша пила чай, и объясняла, что случайно вытянула такой билет, но что это не важно, в будущем году она сдаст. Вот честное слово.

И отец и Нина Викторовна дружно подтверждали: ну конечно, как же иначе! Саша просто переутомилась. Она отдохнет, заново подготовится и сдаст.

Зазвонил телефон.

— Да, — сказал отец, — да, Митя, она у нас. Сашенька, тебя.

Ей не хотелось брать трубку, но она видела напряженные, испытующие отцовские глаза и, боясь новых распросов, подошла к телефону.

— Сашенька, — услышала она Митин голос, — право же, не надо так огорчаться. Давай рассеемся, пойдем сегодня куда-нибудь. Ну, в кафе. В кино. Просто походим по улицам.

— Спасибо, у меня сегодня концерт в консерватории.

— Только что пришла открытка, концерт отменяется. Я очень прошу тебя...

— Спасибо, дорогой, — сказала Саша, встретив пристальный, настойчивый отцовский взгляд, — не беспокойся.

И положила трубку.

Она прошла в свою бывшую комнату. Все здесь было по-старому, как в детстве. Письменный стол, шкаф с книгами... Кровать. Она задернула шторы, легла, укрылась пледом, лежавшим в ногах, и вдруг уснула — крепко, глубоко, каменно.

Когда она проснулась, было почти темно. Нет, это шторы! Она зажгла свет, взглянула на часы: семь. Она еще успеет. Куда? Зачем? Ведь концерт отменили. Все равно. Она пойдет, Она пропустила один концерт, готовилась к экзаменам. Это последний. Но ведь он отменен. А она все-таки пойдет. Потому что... Да потому, что может быть... может быть...

С того вечера она часто вспоминала слова: ну что ж, пусть будет по-вашему!

Ничего не случилось в тот вечер, когда играли концерт Чайковского. Ничего такого, о чем стоило бы вспоминать. Просто рядом оказался человек, который ничего о ней не знал, ни о чем не мог спросить. Человек, говоривший с ней легко и весело. И было несколько минут, когда у нее не болело сердце и она не думала все о том же, все о том же...

— А все-таки он есть! — сказала она.

— Ну что ж, пусть будет по-вашему! — ответил он. Пропущенный концерт она пропустила. Что он подумал? Уж не подумал ли он, что и она умерла? А она придет. Но зачем же она идет, если концерт отменен?

Она миновала театр Революции, прошла мимо комиссионного магазина, мимо ворот с табличкой «Фабрика наглядных пособий». Еще дом, еще — вот и полукружье консерватории.

Концерт отменен. Как странно, среди многих истинных разочарований одно такое маленькое тоже может показаться горьким.

Какой одинокой она почувствовала себя на улице около знакомого большого здания. Сегодня счастья нет. И не будет. Теперь, видно, его никогда уже не будет.

У дверей консерватории было непривычно пусто. Время от времени подходили какие-то люди и, вяло, разочарованно о чем-то переговариваясь, шли дальше. Концерт отменен, ничего не поделаешь.

Куда же идти? Куда девать себя в огромной Москве? Сейчас она сядет в какой-нибудь троллейбус или автобус и покатит невесть куда, а на конечной остановке сойдет со ступенек и окажется не то в поле, не то в лесу. И будет ходить, ходить. Только не домой. Вот что она знает твердо: только не домой.

— Вы пришли? Тоже не получили открытки?

Не смея задуматься о том, что так делать не полагается, она просияла навстречу этому живому голосу.

— До чего хорошо, что вы пришли! — сказала она.

— Да неужто? — спросил он, почти по-детски удивленно, и она вдруг поняла: он получил открытку. И все-таки пришел.

Не сговариваясь, они пошли по улице Герцена к Манежу. Шли медленно, а говорили торопливо.

— А вы оказались правы, старичок жив, он пришел в тот раз, когда вас не было. Редкий случай, когда доброе предсказание оказалось сильнее злого.

— Пришел? Чудесно! А я провалилась сегодня на экзамене! — сказала Саша.

— Да что вы! — Он даже приостановился. — Вы очень огорчены?

— Нисколько. Нет, неправда. Конечно, я огорчилась. Но решила наплевать.

— Это вы правильно сделали. На второстепенное надо плевать.

— Так говорит и Катя, моя младшая дочка. Она говорит: «Есть горе, а есть неприятность». Но мой провал все-таки горе. Сегодня решалось мое будущее. Но вышло так, что я не спала ночь, и когда вытаскала билет — все забыла. Начисто! И получила двойку. Ну вот, рассказала — и не будем больше об этом. Ладно?

— Ладно. Не будем. Только я все-таки хочу сказать: если это и вправду первостепенное и вопрос будущего — оно свое возьмет. Ну, так. Раз день начался худо, надо рассеяться. Вы свободны? Ведь вы свободны нынче?

Он смотрел на нее добрым, спокойным взглядом. Она подумала, что и вправду свободна. Совсем свободна.

— Да, — сказала она, — ведь концерт отменили. Что же мы будем делать?

— Хотите в кино? В театр мы опоздали. Хотите поужинать?

Она молчала.

— Хорошо. Давайте побродим по моим любимым улицам.

Они шли по Александровскому саду. Это была страна влюбленных, покинутая ею страна. Как и всякая страна, она по-прежнему была обитаема. Но Саша глядела на нее издалека, стоя по ту сторону городской стены. Она была рада, когда они покинули Александровский сад и пошли к набережной.

— Как вас зовут? — спросила Саша.

— Андрей, — сказал он и добавил, подумав: — Николаевич.

— Этого не может быть! — сказала Саша.

— То есть почему? Что же здесь удивительного? Все положительные герои в наших книгах именно так и зовутся. Олег, Игорь — это отрицательные. А Андрей — непременно очень хороший человек. Но, скажем прямо, я герой не слишком положительный. А вас как зовут?

— Меня? Саша. То есть Александра Константиновна. Значит, вас зовут Андрей Николаевич... А кто вы?

— Настоящая анкета. Я был филологом. Но потом сменил эту профессию на более точную, теперь я инженер.

— Я тоже сменила филологию на более точную науку... Правда, не очень точную... Я медсестра. И нынче потеряла возможность стать врачом.

— Не потеряли. Вот поверьте. Ну, если пошел уж такой разговор, могу сообщить: еще я был учителем. Но оставил школу.

— Почему?

— Как бы вам сказать... Это сложно. Исчезла во мне доброта, бескорыстный интерес к людям. А без этого в школе делать нечего. И я ушел. Видите, какой я хороший и честный.

— А вы говорите — не положительный герой, — сказала она.

— Ах, как не хотелось хвастаться, а расхвастался. Я и то, я и се. Послушайте...

— Нет, я сегодня плохо слушаю. Я только хочу, чтобы вы знали: вы очень, очень помогли мне сегодня.

И они все шли, шли, время от времени перебрасываясь случайным словом. И вдруг Саша заметила, что они больше не идут по его любимым улицам, что ведет не он, ведет она. И вела она его по своей любимой дороге, и все переулки и улицы, длинные и короткие, узкие и широкие, были этой дорогой: домой.

Дети спали. Крепко спали, наждавшись, наплакавшись. На этот раз, пользуясь маминым отсутствием, Катя не вымыла рук, не почистила зубы. Дорожка слез оставила на смуглом личике отчетливый след. Под щекой лежала пыльная ладонь. Другая, грязная, много потрудившаяся над вытиранием слез рука лежала на одеяле.

Анино лицо тоже казалось измученным. Она и во сне будто к чему-то прислушивалась. Первая подросточья худоба тронула ее плечи, из-под одеяла выглядывали ключицы.

Тихо, чтобы не разбудить девочек, Поливанов закрыл за собой дверь и принялся ждать Сашу.

Где она? Отец сказал, что ушла она часов в семь. Концерт отменен. Сейчас уже одиннадцать. И он ясно видел в живом тяжелом раскаянии, как она бродит где-то одна по улицам. «Я все-таки сволочь», — повторял он мысленно. Так он говорил себе все эти месяцы, но сейчас эти слова звучали неотступно. Он жил в суете. Недосыпал. Работал. И это помогало ему не думать. Не оглядываться. Она помогала ему не думать упорным, затаенным молчанием. Думать так не хотелось!

На днях он был с Мариной в кино. Решили проветриться, пойти на новую картину, которую пропустили на просмотре в редакции.

— Я иногда люблю заглянуть в обычное кино, — сказала она.

И они заглянули. Первой, кого он увидел там, была Аня. Она стояла с девочками из своего класса и громко, на все фойе разговаривала.

— При раздельном обучении, — услышал он, — никогда ни черта хорошего не будет!

Он не мог уйти, не мог отвернуться. Он пошел к Ане прямо и твердо, взяв ее за плечи, подвел к Марине и сказал:

— Знакомьтесь, это моя старшая дочка.

— Аня? — Она заглянула Ане в глаза и сказала: — Какая хорошенькая.

Но девочка не отозвалась ей, твердые губы были сжаты. Глаза почти надменно смотрели из-под темных бровей.

— Зачем говорить неправду? — сказала Аня. — Я совсем не его дочка. Я падчерица.

И, ответив так, не простясь, отошла к подругам.

Он знал, как бы потом ни сложилась их жизнь, Аня его не простит. Аня — она с таким трудом ему досталась. А теперь он теряет ее — или потерял уже?

Потом, когда публика хлынула в двери зала, он снова невольно столкнулся с девочками и услышал:

— Это твоя мама?

— Нет, это так, — ответила Аня, — одна наша знакомая.

Телефонный звонок. «Саша? Быть может, Саша!» — подумал Поливанов и на цыпочках пошел к телефону. Старуха заворочалась, Митя тихо поднял трубку.

— Да? — сказал он.

— Можно Александру Константиновну? Простите, это Королев говорит, доктор Королев. Мы заочно знакомы. Я тут сижу, волнуясь, а она не звонит. Как она сдала? Двойку? Как же это так! Бедняга! Но ведь она знала! Я ее экзаменовал третьего дня, она все знала! Позовите ее, пожалуйста! Нету? А не поздно мне сейчас позвонить отцу?..

— Она... Она как раз идет сейчас домой... Она сейчас в дороге...

— Ладно. Позвоню завтра. Ах ты черт возьми! Такая хорошая голова, и вдруг... Как вы это объясняете? Эх,

надо было уложить ее пораньше. Она ведь обещала мне, что выпится перед экзаменом. Ну ладно. Извините, что поздно звоню, беспокоился...

Едва Поливанов положил трубку, раздался новый звонок.

— Митя, — послышался тот голос, который все эти месяцы был один в силах обрадовать его. Но странно, сейчас этот голос не принес ему утешения.

— Марина, мне сейчас трудно говорить, я жду звонка.

Он положил трубку. Все спали, комната была полна мраком и тишиной.

И вдруг послышался скрип пружин, и Анисья Матвеевна проворчала: ох-хо-хо... Грехи наши...

Желая провалиться сквозь землю, сквозь все три этажа, он вернулся в свою комнату. Что, собственно, случилось? Саша получила двойку по химии. Нет, не это. Он вспомнил ее злое лицо, беспощадные слова, обращенные не только к нему — к детям. Этого никогда не бывало. Это была не она. С ней что-то случилось. Она молчала, и он ничего не замечал, не хотел замечать. Он не сумел ей помочь, даже сегодня, именно сегодня. Он не пришел ночевать. Не позвонил. Он забыл про экзамен. Забыл обо всем. Но ведь именно сегодня он всю ночь провел в редакции с этим проклятым очерком, который то снимали, то ставили, то снимали. А в последнюю минуту потребовали, чтоб он сократил очерк на шестьдесят строк! Легче написать новый очерк, чем сократить шестьдесят строк. И он сидел, и ломал голову, и ругался. Неужто так трудно понять? Он не по улицам шатался, он дело делал.

Но ведь он очень хотел помочь, он примчался туда, на Пироговку, сказал ей, что все это — пустяки, что она пересдаст. Хотел помочь, она не разрешила. Право помочь дается только тому, кто любит. А разве он не любит?

Женщины этого не понимают. Они смотрят на все это иначе. Им легче. Всем, всем сегодня было легче, чем ему. И Саше, и Марине, которая весь день напролет ждала его звонка. Я позвоню около трех, — сказал он, уходя из редакции. А сколько сейчас? Где же Саша, куда она девалась? Они не понимают, обе не понимают и не желают понять. Почему Саша молчит? Почему она не хочет понять, что то — все другое, совсем другое. А что же там? Что же?

Даже нянька и та не желала его понять. И осуждала каждым взглядом.

Недавно он зашел к Марине и застал у нее шефа, бывшего редактора их газеты. Тот сидел как у себя дома. В желтом кувшине стояли свежие, видно только что принесенные цветы. Марина была приветлива и любезна. Она смеялась его дурацким остротам и даже сказала по какому-то поводу:

— Отлично! Отличная мысль, подарите ее мне!

Какая могла быть отличная мысль у человека, который не способен связать двух слов, не способен вылезти из «м-м-м...» и «э-э-э...»?!

Когда шеф ушел, Поливанов свирепо спросил:

— Он что тут — завсегдатай?

— Это не существенно, — уклончиво ответила она.

— Я не хочу, чтоб он здесь бывал.

— Ого, мой друг! — сказала она насмешливо. И прибавила: — Ну что ж... Если хотите...

— Что? — спросил он, похолодев.

— Все очень просто...

— Нет! — сказал он неожиданно для себя. Что она хотела сказать? На что он ответил «нет»? Ничего не было названо, но они поняли друг друга, и оба испугались. Впервые они попытались заговорить о том, что не могло не тревожить их, но он, не дослушав, сказал «нет». Он

не знал, что в ту минуту ей захотелось выгнать его, сжать кулаки, заплакать. Но она сдержала себя.

Улыбнувшись, будто не было сказано то, что было только что сказано, она включила радио и, взяв книгу, села с ногами на диван:

— Я устала нынче. И хочу побыть одна.

Она больше не возвращалась к тому разговору. С тех пор она больше не говорила, что «все очень просто...».

Звонок! Наконец-то! Саша вошла тихо, прикрыла за собой дверь, провела рукой по влажным волосам — на улице накрапывало. Господи, какое счастье. Она пришла! Она здесь!

— Где ты была? — спросил он сердито. — Дети плакали, я волновался.

— Неужто? — спросила она.

— Я целый вечер как дурак жду тебя. Маюсь, волнуясь.

Она ничего не ответила. Сев на стул, чтобы скинуть туфли, она молча и медленно подняла глаза. Чем он мог ответить на этот взгляд? Ничем. Одним лишь словом. Но этого слова он не сказал.

— Ну как? — спросила Прохорова, улыбаясь. — Говорят, у вас неприятности?

Она только что вернулась из отпуска, и это были первые слова, с которыми она обратилась к Саше. Саша молчала. Но Прохорова, видно, и не ждала ответа.

— Да, ходил такой слух, что вы в доктора решились податься. Ну что ж, большим кораблям большое и плаванье. Так как у вас там с экзаменами? Ах, срезались! Да,

да, я слыхала, слыхала. Ну, может, еще ничего. Еще годок, другой в запасе есть. Как же это доктор Королев недосмотрел, не помог. Небось у него там знакомые есть, свояки. Он и характеристику вам выписывал, ему бы и помочь. Ах, мужчины, мужчины... Никогда дела до конца не доведут... Слыхала, у вас все троечки и одна только двойка. Ну конечно, где ж вам готовиться... Дети, хозяйство.

Дверь отворилась, и вошел Королев. С таким видом, словно в комнате не было никого, кроме него и Саши, он сказал:

— Дайте глюкозу Коле Гулину, Сашенька. А про Олю Шатырян вы не забыли? Да, кстати, что вы делаете сегодня вечером? Ко мне Федя приехал. Загляните познакомиться. Я давно хотел его вам показать. Жду с мужем, если свободны. А если с детьми — так уж Федору такой праздник будет! Приходите! И надо же мне наконец познакомиться с Дмитрием Александровичем, как-никак тезки!

Королев рассмеялся: он, видимо, и в самом деле забыл о Прохоровой.

— Видите ли, — ответила Саша, — муж по вечерам в редакции. А девчонки мои лентяйки. Днем бегают во дворе, по подругам, а вечером готовят уроки. Но я-то приду непременно. Спасибо. Я очень хочу посмотреть Федю.

Говоря все это, Саша тщательно мыла руки. И вдруг, положив щетку на полочку и подняв глаза, она увидела в зеркале над умывальником лицо Прохоровой. Бледное от внимания, оно превратилось в блин. Губы были растянуты в ниточку, будто она прислушивалась к их разговору губами. И Сашу что-то ударило в сердце от выражения этого чужого, ненавистного лица.

...Давно они не обедали вместе с Митей. Он теперь не старался, вырвавшись из редакции, вдруг забежать к

обеду. Вот уже скоро полгода, как не слышно было в обеденный час Катиного крика: папа, папа пришел!

Вот уже скоро полгода, как Катя не лезла под диван за Митиными тупфлями и не вытаскивала их оттуда под Митин смех.

Вот уже скоро полгода... «С мужем, с детьми», — вспомнила Саша. Уже семь, надо одеваться.

В комнате девочек, шумно охая, Анисья Матвеевна собирала со стола посуду. Аня плаксиво приговаривала, совсем не рассчитывая, что Саша ее услышит:

— Мама, я из-за этой Катки кляксу поставила. Скажи ей!

А может, взять их с собой? Бог с ними, с уроками! И вдруг раздался звонок. Не поверив себе, Саша услышала Катю: ой, папа! Папа!

Он вошел в комнату в мокром от дождя плаще.

— Саша, — сказал он, — я взял билеты в кино. Ты как? Свободна? Махнем? В «Повторном» «Юность Максима», я билеты с бою взял.

— Нет, я иду в гости. К Королеву. Он приглашал и тебя, но я ему объяснила, что вечерами ты в редакции.

Митя прошел по комнате, вздохнул, подумал.

— Ну что ж, пускай билеты пропадают. Черт с ними! Королев так Королев.

Они шли под дождем и молчали. Не то чтобы его тяготило молчание. Прежде молчать с Сашей ему было легко. Но теперь, когда ему хотелось сделать вид, будто все по-старому и ничего не произошло, он искал веселых, легких слов и не находил.

Давным-давно он ничего не рассказывал ей о редакции, о шефе, о Петре Петровиче, который так помог им когда-то с ремонтом. Давно не повторял Саше философских изречений Петра Петровича.

— Сегодня Петрович... — начал он было и умолк.

Что ж «Петрович сегодня»? А Петрович вчера? А месяц назад? С мужеством отчаяния он все же попытался закончить:

— Сегодня Петрович заявил... — и опять умолк.

Она вздохнула с облегчением. Она слишком знала звук его правдивого голоса, чтобы спокойно слушать этот новый, притворяющийся голос.

А дождь все хлестал.

— Не очень-то подходящая погода для выхода в свет, — пробормотал он и вдруг остановился, подняв руку. Машина с клетчатым поясом резко затормозила у самого тротуара. Митя распахнул дверцу, и они сели в такси.

Здесь молчать было легче. «Дворники» неумоимо сновали по стеклу — влево, вправо, влево, вправо, но стекло все равно заливало дождем.

Оба напряженно смотрели на узкие снующие палочки, смотрели так пристально, словно от этого зависела их судьба.

Когда они поднимались по лестнице, Саша вдруг сказала задумчиво, своим обычным, не напряженным голосом:

— А знаешь, отчего мне здесь все знакомо? Тут живет мой прежний подопечный, Тонин сынишка.

— Я помню, — обрадованно, словно хватаясь за соломинку, сказал Митя, — он еще болел корью и коклюшем!

— И воспалением легких! — сказала Саша, и оба они говорили это весело, как если бы прошлые болезни мальчика были точкой опоры и, причинившие когда-то столько забот, вдруг теперь перебросили шаткий мостик между нею и Митей.

Саша уверенно идет по знакомому коридору прямо к двери Дмитрия Ивановича и, нажав ручку, открывает дверь.

На большой, широкой тахте сидит мальчик лет пяти. Оттого что тахта большая и покрыта яркой тканью, ребенок кажется на ней одиноким и очень маленьким. Он посмотрел на вошедших вопросительно и застенчиво, пожалуй даже чуть испуганно. Саша молча протянула к нему руки. Секунду поколебавшись, он сполз с тахты и, минуя Митю, пошел к ней навстречу: светловолосый, худенький, и левый глаз косит. Она взяла Федю на колени, и он спросил:

— Как тебя зовут?

Она крепко обхватила его — ее руки уже соскучились по таким маленьким и слушала его, не слушая.

— Ты умеешь рисовать? — спрашивал он. — А ты умеешь лепить из пластилина? Наташа — ты знаешь Наташу? Это моя тетя — она мне купила пластилин, я привез. Хочешь, покажу?

Косина делала его лицо то ли испуганным, то ли жалким. Он походил на зайчонка — и косым глазом, и тем, что был такой беленький и худой.

Поливанов, присев к столу, разговаривал о чем-то с хозяином дома. Королев был совсем не такой, каким его представлял себе Митя. Он был гораздо моложе: Сашин сверстник. Янтарные глаза, на носу веснушки, большой выразительный рот. Он был очень прост, этот Королев. И Поливанову было с ним легко.

...Славный ты парень... Саша недаром все толкует мне про тебя... Толкует... Толковала...

Оба, переговариваясь, поглядывали на Сашу. Митя давно не видел ее такой веселой. И вдруг ее лицо осветилось не то что радостью, а счастливым удивленьем.

Взгляд ее полетел над головой ребенка к дверям. Митя тоже посмотрел туда. На пороге стоял человек с портфелем в руках. Он смотрел на Сашу, и лицо его выражало безграничное удивление. Но он тотчас захлопнул, за-

крыл свое лицо, оно стало чуть надменным. Он перевел глаза на мужчин и выжидающе посмотрел на Королева.

— Познакомьтесь, — сказал хозяин, — это мой товарищ. Мы росли вместе. Андрей, а мы с Александрой Константиновной вместе работаем. Мой первый помощник, правая рука.

— Поливанов, — сказал Митя.

— Репин, — ответил вошедший.

На минуту стало тихо.

— Так вот он — Федя! — сказал Репин, отвернувшись от Мити. — Здорово вырос. И становится все больше похож на тебя. И раз так...

Он вынул из портфеля заводной автомобиль, извлек из кармана ключик, завел грузовую машину и пустил ее в путь. Маленький зеленый грузовичок бежал почему-то не по кругу, как ему полагалось, а мчался по прямой, потом вдруг сворачивал, начинал кружиться, почти танцевать. Все смеялись.

— Нет на тебя милиционера! — сказал доктор, обращаясь к машине.

Федя замер от счастья.

Едва грузовик останавливался, он умоляюще просил:

— Еще! Еще!

Репин послушно крутил своим волшебным ключиком, и грузовик снова мчался по прямой, по кругу, сворачивал, вертелся и вдруг, наткнувшись на стенку, растерянно останавливался. Первым опомнился Королев:

— А теперь спать! Скажи дяде спасибо, об этом мы в горячке забыли, и спать!

— Нет, нет, еще! — повторял Федя. — Ну, пожалуйста! Еще один маленький разочек!

— Машина ляжет вместе с тобой, — сказала Саша, и он тотчас смирился, прижал машину к груди.

Доктор увел его к соседке и, уходя, сказал:

— Андрей! Действуй!

— Действовать, по-видимому, означает вот что...

Он взял водку, быстро откупорил ее и тотчас наполнил рюмки.

— За что же мы пьем? — задумчиво спросил он.

— За счастье! Его всем надо много! — сказал хозяин, возвращаясь.

— Или хотя бы чуток, каждому понемногу! — улыбаясь своей странной улыбкой, сказал Репин.

Они чокнулись. «Когда чокаешься, надо смотреть в глаза», — вспомнила Саша и посмотрела в глаза Репину. Его глаза, не изменив выражения, вспыхнули улыбкой приветствия.

— Здравствуйте, Саша, — сказали эти глаза.

— Здравствуйте! — ответили глаза Саши.

Поливанов закашлялся над своей рюмкой.

— Ну и ну! — сказал Королев. — Не ожидал! Поперхнуться первой рюмкой. Это я виноват! Не предупредил, какие есть установки на этот счет. Первое: не пей натошак. Второе: пей и закусывай! Саша, будьте за хозяйку, угощайте! А последнее правило самое трудное: пей и знай меру! Андрей, у тебя какая мера?

— Я — без меры.

— А вы, Саша?

— Без меры!

— Ну, а вы, Дмитрий Александрович?

— Видимо, для оригинальности мне надо сказать, что я знаю меру, и я ее действительно знаю. А вы, доктор?

— Мне полагается знать. Я — руководитель! Я — начальство! Сашенька, сделайте милость, изобразите Прохорову!

— Господи, что это она вам на ум пришла? В такую хорошую минуту!

— Она мне всегда говорит: «Вы — начальство, вам лучше знать!» Ну, изобразите!

Саша секунду подумала, нахмурясь. Потом растянула губы в улыбке — и эти улыбающиеся губы при хмурых глазах вдруг и в самом деле напомнили Прохорову.

— Зачем мне дети? — сказала Саша наставительным голосом. — Вырастут хулиганами. Или пьяницами. Знаем мы теперешнюю молодежь. Я никогда ни у кого не занимаю, вот и у меня не просят. Жить надо по средствам. Вы, Дмитрий Иванович, начальство, вам лучше знать. Вы вот все привечаете сестру Поливанову, а что вы в ней нашли? Грубиянка и чересчур о себе воображает.

Все смеялись. Не меня выражения лица, тем же сладким и наставительным голосом Саша продолжала:

— Здравствуйте, Александра Константиновна! Ходят слухи, вы во врачи решили податься! Ну что ж, большим кораблям, как говорится, большое и плавание! Ах, срезались? Да, да, слыхала! У вас, говорят, все троечки и только одна двойка? Так уж надо было руку найти, похлопотать. Уж разве некому похлопотать?

— Не надо! — сказал Репин. — Будет вам!

— Нет, но ты не понимаешь, до чего это похоже! Вылитая Прохорова.

— Я понимаю. Но я не могу, когда Саша... Александра Константиновна говорит этим голосом и улыбается этой улыбкой.

— Саша, успокойте его и придите в себя! — сказал Королев.

Саша засмеялась.

«Кажется, пора домой», — подумал Поливанов. Репин встал, подошел к радиоприемнику и стал что-то искать. Королев повернулся к Мите:

— Мы с Андреем вместе росли. Ну, и чего скрывать, вот Саша знает, сначала были в детдоме для трудных.

Он говорил с Митей так, будто век его знал. Да, было, было, все было! Ненавидели друг друга, врагами считались. А потом... Да разве расскажешь! А теперь, пожалуй, у него здесь, в Москве, нет человека ближе, чем Репин.

Саша слушала жадно. Она очень хотела спросить — как это было: сначала враги, потом друзья? Ей хотелось спросить, она подняла глаза и споткнулась о Митин взгляд: внимательный, злой, испытующий.

— Нам пора! — сказал он. — Завтра вставать чуть свет. Я еду в командировку.

Поливановы шли по улице и опять молчали. Но это было новое молчание, у каждого свое. Саша думала: какое чудо! Разве бывает так? Думать — никогда больше не увидишь человека, и вдруг! Нет, бывают, бывают чудеса. Нет, открылась дверь — и вот...

— Ты знала прежде этого Репина? — ворвался в Сашины мысли Митин голос.

— Знала! — счастливо ответила Саша.

— Так почему же он представился как незнакомый? К чему этот маскарад?

— Какой же маскарад? Он просто назвал свою фамилию, а я ее прежде не знала.

— Ах, вот как! — словно обрадовавшись, подхватил Митя. — Прекрасно!

— Митя, — сказала Саша, останавливаясь, — ты сказал нынче, что у тебя есть мера. А юмор?.. Юмор у тебя есть?

Молча, нахохленный и злой, он шел рядом с ней по улице. Молча вошел он в их общую комнату, молча глядел, как она расставляет свою раскладушку, призывал на помощь юмор, но юмора не было: исчез бесследно, ушел, как вода в песок.

Где его возьмешь, этот юмор, который позволил бы все стерпеть? И все понять — в себе и в другом?

Почему я молчу? — думала Саша. Потому, что он молчит. Ведь мне нечего ему сказать. Я могу только спросить — что случилось? Но зачем я буду спрашивать — разве я не знаю, разве не вижу?

Нет, неправда. Я молчу, чтоб не услышать страшного слова. Пока я не спросила, еще есть надежда. Я еще могу верить, будто это ошибка, и если бы он пришел сейчас и сказал: — я не могу без тебя, я бы все забыла. Пусть войдет и скажет: я люблю тебя... Нет, даже не так. Пусть скажет: я соскучился... Пусть ничего не скажет. Пусть войдет, поглядит... и я все пойму, и все забуду, и никогда ни о чем не спрошу. Где же твое самолюбие? Помнишь, как ты сказала Оле: плюнь, забудь, уйди. Ох, как легко советовать! Что она ответила? Она ответила: а ты знаешь, как возвращаться в пустую комнату? А ты знаешь, как оно — идешь по улице, глядишь на свое окно, а там темень... Но ведь в моем окне — свет. За моим окном — дети.

Но зачем же врать себе, ведь ты знаешь, он больше тебя не любит, потому что нельзя любить двоих. Ты это знаешь. Уйди. Забери детей — и уйди. Чего ты ждешь? Ведь это унижительно — ждать. И чего? А почему он не уходит? Жалеет? Кого — меня? Детей? Нас? Как страшно додумывать.

Эта боль не похожа ни на какую другую. Ее нельзя ни с кем разделить, ни один человек на свете не может тебе помочь. На минуту тебе покажется, что прошло, — а потом все сначала.

А может, я все это придумала? Он рассердился на меня тогда, в театре, и поэтому молчит, потому что в самом деле... Ах, как хочется утешить себя любой ценой: обманом, бездумьем! А если то, что у него с ней, — дружба?

Почему ты этого не можешь понять? Не могу. Наверно, другая, умная, великодушная, поняла бы. И не страдала бы. Но я не умею.

Но что бы ни было, что бы ни было, разве могла бы я когда-нибудь поверить, что он может быть таким? Почему он не освободил меня, не сказал мне сразу? Вот любила бы я кого-нибудь. Ведь я бы ему сразу сказала. Я не могла бы глядеть, как он мучается, пожалела бы и сказала.

А может, он жалеет и поэтому не говорит? Вот он вернется сегодня — и я спрошу. И мы поговорим как люди. Потому что так, как сейчас, я больше не могу.

— Чего ты там ровно маятник? — доносится из соседней комнаты голос Анисьи Матвеевны. — Ходит, ходит — взад-вперед, взад-вперед... Пошла бы сюда, напилась бы с детьми чайку.

— Мама! — зовет Катя. — Мама, иди к нам!

Они сидят за столом и ужинают. Перед Катей тарелка с оладьями. Анюта уже пьет чай.

— Мама, — говорит Катя, — давай рассуждать трезво, если Бог есть, то где же он находится, на Марсе, что ли?

— Замолчи, балаболка, Бога не трогай, — сердито ворчит Анисья Матвеевна.

— Мама, — говорит Катя, — я сегодня была в Серебряном переулке. Там ужасная новость: тетя Леля и дядя Юра разводятся. Ты подумай, подумай, тетя Леля уехала и забрала Толю и Петю с собой. Как же дядя Юра один? Разве можно так делать. Я ее не люблю, она злая.

Саша поднимает глаза и встречается с Аниными глазами — испуганными и испытующими.

Почему, — думает Саша, — если у тебя что-нибудь болит, все так и норовят ударить по больному месту?

Она отрезает себе кусок хлеба, долго мажет его маслом и потом говорит:

— Но ведь ты знаешь, тетя Леля и дядя Юра плохо жили — ссорились, даже дрались. Зачем им жить вместе?

— А зачем детей забрала? Зачем?

— Но как же мать может без детей?

— А отец может? Может? Нет, если вы с папой разойдетесь, я просто умру. А если не умру, то останусь с папой, потому что нельзя, чтоб у тебя было двое детей; а у него — ни одного ребенка. Ты только не думай, что я его люблю больше. Но я не могу, чтоб он остался один. А у тебя Анюта.

— Катя, мне надоели эти глупые разговоры.

— Нет, я просто так, на всякий случай.

Аня отодвинула чашку и встала.

— На всякий случай замолчи! — говорит она сурово.

— Почему? Почему вы всё говорите мне: замолчи? У нас дома стало плохо! У нас дома стало скучно!

Она смотрит на мать, и в глазах у нее — слезы.

— Поди сюда! — говорит Саша. — Поди сюда, глупая! Ну, чего ты реवेशь? И чем тебе плохо?

Я думаю о себе. А думать надо о них. Мы сегодня же поговорим с Митей. И что бы ни было — мне станет легче. И легче — детям.

— И почему они у тебя во все мешаются? — говорит в сердцах Анисья Матвеевна. — Ну что ей за дело до этой Лельки, до ее ребятишек? Я с этой Катериной никуда больше ездить не стану. Совсем ошалела, до всего ей работа, во все ввязывается.

— Да что еще случилось?

— Едем в трамвае. Ну, к твоим, в Серебряный. Ну, пьяный сидит, орет. Женщина одна ему замечает — не безобразничайте, мол. А он ей — ну, обозвал, как евреев обзывают. А Катерина — да на весь вагон: «Вы не советский».

— А что же ей было — молчать? — спросила Аня.

— Бывает, и помолчать не худо.

— Да разве я одна ему сказала? — воскликнула Катя. — Я только первая сказала. А потом еще дяденька сказал: девочка совершенно права. Тогда пьяный ему: как твоя фамилия, наверное, Рабинович? А я говорю: а ваша фамилия Гитлер! Вот как я сказала! Мама, как я рада, что ты с нами сидишь! — воскликнула Катя. — Ты давно с нами не сидела. У меня столько всего накопилось!

— Ну, давай выкладывай, что у тебя там накопилось?

— Мама, ты знакома с писателем Пантелеевым?

— Нет, а что?

— Мне очень надо про него узнать, все ли правда, что он пишет про свою жизнь. Мне он очень нравится, и я хочу, чтоб все счастливое было правда, а несчастливое — не правда.

И в эту минуту раздались два звонка.

— Кто это к нам? — нараспев сказала Анисья Матвеевна. — Димитрию — рано. Кого это бог несет?

— Здравствуйте, здравствуйте, приятного аппетита! Не узнали? Вы к нам в редакцию приходили на елку. С детками. Вот с ними. Как выросли, не узнать! И в прошлом году были на первомайском вечере, еще Райкин выступал, помните? Вы с супругом во втором ряду сидели. Чайку? С удовольствием, на улице прохладно. Осень нынче какая холодная, верно? А где же ваш папочка? В редакции? Да сегодня по их отделу как будто ничего не идет!

У нее были голубенькие стеклянные глазки, и розовые фарфоровые щечки, и розовые ногти на толстых пальчиках. Кофточка на ней тоже была розовая, а под этой прозрачной розовой кофточкой виднелась голубая комбинация и белые лямки лифчика на белых полных плечах.

Катя и Аня глядели на нее во все глаза — Катя с веселым любопытством. У-у, какая ты толстая, — говорил ее взгляд. Откуда ты, с чем ты пришла? — спрашивали Анины глаза. Да, с чем ты пришла? Ты круглая, розовая, но что-то недоброе вошло с тобою, — подумала Саша.

— Что ж в такой-то холод в такой-то кофте гуляете? — сказала Анисья Матвеевна, поставив перед гостьей стакан горячего крепкого чая.

— Мода, мода, мода! Что ж отставать? Одеваться надо по моде. Вы нашу очеркистку Лаврентьеву знаете? Ну как же, Марину Алексеевну, ее все знают! Так она одевается — ну всем на зависть. Я всегда смотрю, что на ней. Она лучше всякого модного журнала. Еще в Париже каком-нибудь все зевают, а она, пожалуйста, всех обскакала. Правда, есть в ней оглядочка на заграницу, есть, есть немного! Но есть такая иностранная пословица: победителя не судят! Поглядишь на нее — и осуждать не можешь: блеск! Ах, какая у вас ватрушка! Сами пекли? Я попробовала по книжке испечь — ничего не вышло.

— Я тоже читала поваренную книжку, — сказала Катя, — там говорится, что молоко надо подавать в желтых чашках, тогда оно будет похоже на сливки. Курица с рисом любит синюю посуду. Вот только я забыла, что надо подавать в коричневых тарелках. Я спросила у папы, а он говорит: реплики.

— О, у вас папочка остроумный! Это по всей редакции известно, уж если Поливанов скажет, так уж скажет!

Ее не надо было занимать. Она говорила, говорила, и пила чай, и ела клубничное варенье, восхитилась ватрушкой, осудила копченую колбасу — и сыпала, сыпала словами.

— Катерина, поди-ка на кухню, вымой посуду! — сказала вдруг Анисья Матвеевна. — Анюта, ты за хлебом

сбегай. И масла надо и сыру докупить. А ты, Александра, приглашай гостью к себе.

И Саша, пока не вставившая в разговор ни слова, молча раскрыла дверь в другую комнату.

— Ох, до чего же уютненько! Ну прелесть, прелесть! А вы не видели, в Мосторге бархатные розы продают? От настоящих не отличишь. Все-таки научились, научились у нас делать изящно. Я купила и весь буфет устала. А вы бы вот сюда, на полочку. Дорожку беленькую и вазочку с цветами. Хорошо, если дорожка вышитая гладью или болгарским крестом. Вы вышивкой не увлекаетесь, нет?

— Ваша фамилия — Прохорова? — чуть было не спросила Саша.

— Куда-то пропало ленинградское мулине. А без него хоть за вышивку не садись. У нас многие женщины в редакции увлекаются.

Саша не могла понять: зачем она пришла? Что ей надо? Она слушала, слушала сыпавшиеся горохом слова, и смутно ей было. И, словно отвечая на ее немой вопрос, гостья сказала:

— Ну вот, Александра Константиновна, можно, я буду вас попросту — Шурочкой? Так вот, Шурочка, я пришла поговорить по душам. Мы знаем вашу беду и хотим помочь

— Какую беду? — спросила Саша.

— Ну, какую! Известно какую: поведение Дмитрия Александровича обратило внимание. Что ж, не слепые. Но давайте поправлять, пока не поздно. Напишите нам кратенькое заявление, — мы действовать не можем, если нет официального заявления.

— Послушайте, что вы такое говорите? Какое вам до меня дело?

Розовые щечки побагровели, глаза стали как голубые стекляшки.

— Зачем же так грубо, если к вам от всей души? Мы не за то, чтоб семья разваливалась, мы...

— Мы? Кто это мы?

— Коллектив. Общественность.

Как это там говорится в художественной литературе, — подумала Саша, — «подите прочь»? или «пошла вон»?

— Вот Бог, а вот и порог! — сказала Анисья Матвеевна, появляясь в дверях. — Не молоденькая, а такой глупостью занимаешься! Вот пальтишко твое, вот шляпочка. Ботики в коридоре.

— Ну что ж... Если нравится, чтоб муж бегал... бегал по бабам... то, конечно... Дело хозяйское...

— Вот то-то что хозяйское... Прощай, прощай, дорогая. Следи за своим мужиком, если еще не сбежал... Будь здорова. Не обессудь...

Вошла Катя с горкой чистых тарелок и едва не выронила их, наткнувшись на гостью.

— Вы уже уходите? — воскликнула она. — Как жаль!

Да, не скрыться, не спрятаться. Скорее на улицу. Шагать, шагать, среди людей, которые тебя не знают.

Что же теперь? Все, что прежде было горем, тайной, стало постыдным, смешным и нелепым. «Ну что ж, если нравится, чтоб муж бегал... дело хозяйское...» Она никому ничего не рассказывала — ни отцу, ни Леше. А тут «поведение Дмитрия Александровича обратило внимание». Почему он не уберег ее хотя бы от этой встречи, от этих стеклянных глаз и розовых ноготков?

Еще сегодня, еще недавно — какой-нибудь час назад — она хотела поговорить с ним, готовилась услышать самую страшную правду и принять непоправимое решение. А теперь она ничего не может. Не может видеть его, думать о нем.

Холодно. Ветер дует в лицо, прохожие идут торопливо, у каждого — дело, у каждого — дом.

А она? Куда она идет? И вдруг Саша видит, что она у дверей Королева. Лукавя сама с собой, она притворяется, что не знает, постучит ли в дверь. Однако торопится, все ускоряет, ускоряет шаг. Этот человек заметил первую тень на ее лице, Он первый догадался, что у нее горе. Она придет, сядет, ничего не скажет. Она посидит с Федей, напьется чаю, она знает: здесь ей обрадуются и ни о чем не станут спрашивать.

Сдерживая дыхание, Саша нажимает на кнопку звонка, Ей открывает военный.

— Вы к кому, гражданка? — очень вежливо спрашивает он.

— К доктору Королеву... К Дмитрию Ивановичу...

— Пройдемте.

«Опять гости?» — думает Саша.

Военный провожает ее до самой комнаты Королева, больше того — распахивает перед ней дверь. Королев стоит около дивана, рядом с ним еще один военный.

— Здравствуйте, сестра! Что-нибудь случилось в больнице? — сухо, отрывисто спрашивает Королев.

— Нет, я просто так! — удивившись этим словам, отвечает Саша.

И вдруг она видит Репина. Он стоит у окна и смотрит какими-то не своими, отчаянными глазами. И в них: что ты сделала? Зачем ты пришла?

— Присядьте, гражданка, — говорит военный и придвигает к ней стул. И лишь тогда она все понимает.

Саша смотрит на Дмитрия Ивановича, она ищет его взгляда, но он смотрит вниз... «Я с вами не знаком, — словно говорит доктор. — Вы тут люди случайные, вы за меня не в ответе и никогда в ответе не будете...» Потом

его уводят, и начинается обыск. Обыск длится долго. Саша с ужасом смотрит на часы. Наконец она говорит:

- Разрешите, я позвоню домой, там дети.
- Дети спят, — отвечает военный.
- Я должна предупредить няню... мужа...
- Ничего, люди взрослые. Подождут.

— Нянька! — сказал Митя, расталкивая Анисью Матвеевну. — Саша не сказала, куда пошла?

— А час-то который? — спросила Анисья Матвеевна, просыпаясь.

— Третий час ночи!

— Да будет тебе! — Старуха села на кровати и перекрестилась. — Господи, довел, довел. Загубил. Терпела, да не стало мочи терпеть.

— Не болтай! Молчи! — страшным шепотом закричал Митя, наклонившись к знакомому с детства лицу, и, схватив Анисью Матвеевну за худые плечи, повторил: — Вспомни лучше, когда она вернулась с работы? Когда ушла? Попрошалась или нет? Может, ее вызвали на ночное дежурство?

— Батюшки светы! Не вызывали ее. Дома была. Тут приходила одна... С работы твоей... Дула ей в уши...

В темной комнате зашлепали босые ноги. Аня в темноте шарит по стене, отыскивая выключатель. У нее дробно стучат зубы, и, не найдя кнопки, которая у нее под рукой, Аня начинает одеваться в темноте.

— Куда ты?

— Искать маму.

— Не смей! На дворе ночь! Я сам! Я сейчас вернусь!

— Нет! — слышится короткий ответ.

Тогда он кое-как натягивает пальто, срывает с вешалки кепку и, не вспомнив про перчатки, бежит по лестнице следом за девочкой.

— Аня, погоди! — кричит он.

Но она не слышит. Она бежит по улице, не разбирая дороги, не оглядываясь и не отзываясь, как будто она знать его не знает. А он идет рядом, не решаясь сказать ей ни слова, и видит только сверху сползший на затылок платочек и светлые косы.

Что я наделал? — думает он. — Где она? Что с ней? Что с нами будет?

Он хочет остановить Аню, подойти к автомату, позвонить Саше на работу, он хочет понять, опомниться, что-то предпринять, но Аню не остановишь. Он испуган этим оголтелым бегом, руку его она отталкивает и не хочет откликнуться на его призыв: Аня! Анята!

Аня бежит, не оглядываясь... И вдруг, когда, казалось, нет больше сил терпеть, нет сил бежать — из-за угла показались трое: Саша, какой-то малыш и Репин. Они шли неторопливо, устало, держа малыша с обеих сторон за руки. Мальчик спотыкался.

— Саша!

— Мама!

Оба эти крика слились. И тут Митя впервые почувствовал, что его руки обжег ночной осенний холод.

— Мама, это правда, что Федин папа болен?

— Нет, неправда.

— А что же?

— Его арестовали, Анята.

— Мама! Он сделал плохое?

— Нет. Он ничего плохого сделать не мог.

— Мама, — сказала Аня, и в голосе ее звучало отчаяние — ведь у нас это не может быть, чтоб невиноватого, у нас так не бывает! Значит, он...

— Скажи... ты поверила бы, что я сделала плохое?

— Нет!

— Ну вот. А я верю ему. Как себе. Понимаешь? Я работала с ним. Я видела, как он с больными, как он с людьми. Я очень дружила с ним. Он ни в чем не виноват.

— Как же тогда?

— Я думаю, это выяснится.

Молча, крепко сжав губы, Аня ходит из угла в угол. На Катиной кровати спит Федя. Аня останавливается над ним и долго, пристально смотрит на бледное личико.

Анисья Матвеевна с сердцем дергает клубок, закатившийся под диван, и, звеня спицами, произносит громко:

— Больно свободно с девчонкой разговариваешь. Мала она еще такие вещи знать. Сказала бы — в командировку уехал, и дело с концом. А то начнет болтать подружкам...

— Не начну, — отвечает Аня, не оборачиваясь. — Тише! Катя идет!

Катя входит умытая, с полотенцем через плечо.

— Я рада, что этот Федя у нас поживет!

А Саша мысленно повторяет минувшую ночь.

— Сестра, — сказал Корольев, оборачиваясь к ней напоследок уже в дверях, — особое внимание обратите на Добровольского. Я боюсь осложнения. — Потом, взглянув на Репина, произнес одними губами: — Федя...

Он сказал «сестра». Он не сказал «сестра Поливанова», не сказал «Александра Константиновна». Он сказал: «сестра»...

...Саша подходит к привычному, как родной дом, зданию и не знает, что будет делать в этом опустевшем доме. Всё

по-прежнему — палаты, больные, врачи и сестры, не стало только одного человека — и дом опустел. Она еще не может справиться с тем, что случилось, голова гудит от бессонной ночи, и единственное, что остается на первых порах: не думать. Сстиснуть зубы. Собрать внимание — не перепутать, не забыть, сделать все, как сделал бы он.

Первый, к кому она подошла, был Добровольский. Юноша уже проснулся и встретил ее улыбкой.

— Мне легче. Гораздо легче. Скоро доктор придет?

Саша не ответила. Она посмотрела температуру: нормальная.

И день завертелся, привычный день: уколы, перевязки, терпеливый разговор с больными: «Не волнуйтесь... пройдет... Рука будет здорова...»

Почему же они глядят так тревожно? Почему Добровольский спрашивает:

— У вас что-нибудь случилось?

Баба, баба, не умеешь держать себя в руках, ничего не умеешь скрывать.

— Нет, Коля, ничего не случилось. Я просто не спала сегодня. И устала.

— Сестрица! — весело говорит толстый продавец специализированного винного магазина. — Вот какое я открытие открыл, медицине полезно знать: промочишь горло — ноги не ходят, промочишь ноги — горло болит. А? Могу я быть доктор наук?

— Сестрица! Мне от этого лекарства хуже! — говорит больная из четвертой палаты. Ей все время кажется, что все лекарства отравлены.

— Александра Константиновна, по-моему, этот градусник неверно температуру показывает. Он испорчен, взгляните!

— Дочка, поди-ка сюда, посмотри, красное вокруг — это к чему же?

— Вот придет доктор, спросим его про лекарство... Градусник в порядке, Юрий Петрович... Краснота пройдет, это всегда так бывает сначала...

Нет, она ничего не перепутала, все сделала как надо.

— Королев не явился! И не удосужился позвонить! Это уж ни на что не похоже! — услышала она голос Прохоровой.

День кончился. Только сейчас она поняла, как устала. Домой. Уснуть. Да, она уснет, уснет, едва опустит голову на подушку. А завтра... Завтра она все обдумает и поймет.

Кто это там, на той стороне улицы? Да, это он. Она совсем не вспоминала, не думала о нем сегодня. Зачем же он пришел?

— Бедная моя, — говорит Митя, беря ее под руку. — Ты очень устала?

— Очень.

— Хочешь, пройдемся немного, подышим?

— Нет. Я хочу домой. Спать. Ты из дому?

— Да.

— Как малыш?

— Девочки от него не отходят. А он возится с машиной. Ко мне пошел сразу. Сидел у меня на руках, беседовал о жизни.

Лучше бы он не приходил. Нет ей, как прежде, облегчения от его голоса, от тепла этой руки. Она теперь привыкла быть одна или с детьми. Ей с ним неловко, непросто. Весь день — когда она о нем не помнила — было легче. Вот все, что она понимает.

— Тетя Саша, ты моему папе сестра?

— Да.

— Ты по нему скучаешь?

— Очень.

И больше ни слова.

На днях он сказал Аняте:

— Аня, большие не скажут, а вот ты скажи: скоро мой папа придет?

Он ходит за Анятой следом и сейчас сидит у нее на коленях, прислонясь головой к ее плечу. Катя маячит тут же, вздыхает: то ли ей самой хочется поближе к Феде, то ли ей досадно, что не она на коленях у Ани.

— Катя, — говорит Аня, — давай возьмем Федю в братья! Федя, хочешь к нам в братья?

— Хочу! А ты отдашь мне это перышко?

— Вот ты какой! Сразу и перышко!

— Анята, отдадим, отдадим! Федя, нравится тебе эта коробочка? Хочешь, я тебе ее подарю?

— Хватит у него барахла и без твоей коробочки! Давай, Федор, спать ложись. Уже девятый час.

И пока Анята раздевает малыша, Катя переносит тетради и учебники в другую комнату — здесь погасят свет, чтоб Федя поскорее уснул.

И вот они втроем, каждая занята своим делом: девочки делают уроки, Саша читает.

— Мама, — говорит Аня, оторвавшись от задачи, — послушай, мы говорим Ольге Васильевне, нашему завучу: можно мы вместе с мальчиками из девятьсот восьмидесятой школы организуем фотокружок? А она отвечает: нет, нельзя. Думаете, я не знаю, как фотографировать? Мы говорим: как? Обыкновенно! А она усмехается и говорит: да, а проявляют в темноте. Ты подумай только, мама!

Катя удивлена:

— Мама, а что она хотела этим сказать?

— Грязный она человек, вот что я тебе скажу, мама... Ты всегда защищаешь учителей, а тут ты не можешь ее оправдывать! А, мама?

— Верно, не могу!

Катя раскрашивает географическую карту. Она очень старается, наклонила голову набок и чуть высунула язык.

— Вот читаю я книги, — говорит Аня, — возвращаются человек с войны — слепой там или без ног. И жена его принимает, и писатель говорит: вот какая хорошая женщина, какая героиня. Мама, что ж тут такого? Вот Семен Осипович с молодости слепой, и Антонина Алексеевна с ним рядом всю жизнь. Нет, когда любишь, ничего не трудно!

Тихо скрипнув дверь, входит Анисья Матвеевна.

— Говорила я тебе, — обращается она к Саше, — вот, пожалуйста, уже и Катерина все про Федю знает. Сегодня на кухне Нина Георгиевна спрашивает: а вот у вас мальчик живет, где же его родители? А Катерина: мать умерла, а отец далеко... Но он ни в чем не виноват, и его скоро выпустят.

— Катя, как же так... Зачем же ты?!

— Мама, но это же правда! Почему же нельзя говорить, если правда?

— А почему ты знаешь, может, он виноват, отец его? — с сердцем говорит Анисья Матвеевна. — Что вы всем верите без разбору? Не станет народ зря говорить. А мне вчера в магазине сказали: в аптеку на Тверской-Ямской привезли отравленные бинты и вату отравленную.

— Глупости все это, глупая, черная ерунда, — в тоске говорит Саша.

— Откуда ты можешь знать? А в родильном доме на Соколе всем мальчишкам, что родились, смерть всприс-

нули. Это тоже, скажешь, ерунда? И помалкивай ты за ради Христа перед девчонками.

— Когда я буду учительницей, — говорит Аня, — я никогда не буду врать детям! Нет, я всегда буду говорить им правду, о чем бы они ни спросили!

Она отодвигает тетради. Катя, застыв с красным карандашом в руках, не мигая глядит на сестру.

— Я так буду ребят воспитывать, — говорит Аня, — чтобы они ничего не боялись! Чтоб никого не боялись! Чтоб своего добивались!

На столе, покрытом зеленым сукном, стоит графин. И стакан... За столом сидят доктор Темкин, доктор Федоровская, доктор Аверин. Он председательствует, а сестра Левашова ведет протокол.

На повестке дня — состояние политмассовой работы в третьем хирургическом отделении. С докладом выступает старшая сестра Алевтина Федоровна Прохорова. Да, она уже не ночная, она старшая.

Саша сидит почти в углу небольшого зала, в котором обычно устраиваются собрания. Рядом окно, за окном черный сентябрьский вечер. Саша смотрит на Прохорову. У нее белое, плоское как блин, непреклонное, непоколебимое лицо. Оно, пожалуй, вдохновенное, это лицо, глаза блестят, и рука поднята.

— Мы потеряли бдительность, рядом с нами орудовал враг, а мы его не разглядели. А разглядеть при бдительности было нетрудно. Доктор Королев унижал все наше, все советское. Он жил с оглядкой на за границу. Он говорил, что в Копенгагене больницы лучше, чем в Москве. Все это слышали. А кто дал ему отпор?

Прохорова делает паузу. Из глубины зала раздаётся чей-то голос:

— Только вы, Алевтина Федоровна.

— Я не о себе говорю. Я говорю про весь наш коллектив — мы были недостаточно бдительны. Операционная сестра Ветлугина сможет подтвердить, что Королев в некоторых, нужных для него случаях давал ей неправильные указания. Например, в конце этого года во время реzeкции легкого...

За окном урчит гром, вспыхивают молнии — беснуется поздняя осенняя гроза.

— Я предпочел бы обойтись без этих дешевых световых эффектов, — говорит за спиной Саши молодой доктор Коля Великанов.

Правда. Как в плохой пьесе: глухой гром, стремительные голубые молнии. В зале полутемно, в бедной люстре под потолком из шести лампочек горят только три.

Ветер вдруг изо всех сил толкает окно. Оно распаивается, повалив на пол цветочные горшки с бегонией и кактусами. Высокий лимон в маленьком, не по росту горшке собрался было рухнуть, покачнулся, но раздумал и остался на месте. Саша хочет закрыть окно и долго не может справиться: рамы рвутся у нее из рук. Встает Коля Великанов и на своих длинных ногах идет на помощь. Он обуздал окно, но уронил горшок с лимоном — на подоконнике и на полу у окна целое побоище.

— Так плохо дело, что хоть пляши, — говорит он шепотом.

Да, плохо. Так плохо, что хоть пляши.

— На трибуну должны выйти товарищи и прямо, честно признаться в своих ошибках, признаться в своей слепоте и попустительстве. Сестра Поливанова всегда потакала Королеву, пускай она перед всем коллективом скажет без утайки, как она помогала ему...

За окном творится нечто несусветное. Дождь хлещет изо всех сил. Переведет дух и снова потоками обрушивается на землю. Кажется, он хлещет по всей земле.

— Господи, — с отчаянием говорит доктор Филиппова, — а я без калош и без плаща. Только-только вылезла из гриппа.

Перед Сашей сидит доктор Ткач. Отличный хирург. Ему лет шестьдесят, наверно. Втянув голову в плечи, он слушает Прохорову.

А, вот:

— Доктор Ткач, а вы что скажете? Вы работали рядом с Королевым, почему вы не сигнализировали?

Что мне делать? — думает Саша и смотрит в окно, за которым буйствуют световые и шумовые эффекты. Что мне делать? Лучше всего промолчать. Но промолчать не дадут. Вызовут к трибуне и потребуют: говори. Надо придумать, что сказать. Думай не думай, тут выбора нет... И будет ночь. В дверь позвонят, и войдут двое военных, тех самых, что она видела у Королева. Аня проснется, сядет на кровати, взглянет с ужасом. А они скинут на пол книги, выбросят из шкафа белье. Нет, ты этого не увидишь, тебя уведут. И Катька будет цепляться за твое платье и реветь в голос, ничего не понимая. Так. Что же она скажет? Что бы она ни сказала, Дмитрий Иванович ее не осудит. Он поймет, что она делает это ради детей. Но она, как она будет жить после этого? «Говори, что знаешь, делай, что должно, а там будь что будет». А что должно?

Говори, что знаешь...

Тяжелой поступью идет через зал доктор Ткач. Он идет, шумно и страшно задыхаясь, как тот старик из Сухуми. Следом идет тишина: все знают, что Королев спас его внучку. Случай был почти безнадежный. У Ткача дрожали руки, он не мог оперировать. Дмитрий Иванович взял нож у него из рук и сменил Бориса Львовича у опе-

рационального стола. Девочка выжила. Доктор Ткач долго стоит, не говоря ни слова.

— Мы ждем. Вы что, онемели? — спрашивает Прохорова.

— Я уверен... что суд разберется... и вынесет справедливый приговор... Надеюсь, что...

— Это не ответ, а уловка! — повышает голос Прохорова.

— Вы заодно с врагом! — кричит Ветлугина.

Как Дмитрий Иванович говорил о Прохоровой? «Она любит начальство и всегда лает в указанном направлении». Но о сестре Ветлугиной он говорил иначе: «Когда на операции нет моего друга Марии Петровны, я как без рук. Быстрота, находчивость, четкость — ну, прелесть!»

— Вы заодно с врагом! — повторяет Ветлугина. У нее красные, воспаленные веки, и губы пересохли.

— Я надеюсь... что суд... разберется, — говорит доктор Ткач.

Слово найдено, — в тоске думает Саша, — суд разберется. Я надеюсь, что суд разберется. Она скажет: я согласна с Борисом Львовичем. Мы должны подождать, суд разберется. Ах, как бы хорошо вдруг открыть глаза и понять, что все это был сон. А если уйти? Вот встать и уйти, и все.

— Даже зонтика не захватила, — говорит доктор Филиппова. — Дождь прямо как из ведра.

Тяжело опираясь на палку, встает Аверин. Он был с Королевым на фронте. Он знает его, как себя. «Мы с Авериним пуд соли съели», — говорил Дмитрий Иванович.

Сейчас Аверин скажет что-нибудь такое, от чего все придут в себя. Очнутся. Вот сейчас он скажет: мы вместе воевали...

— Я должен признать, что виноват перед своими товарищами, — говорит Аверин. — Это я вызвал Королева в нашу больницу. Я верил ему, как другу, а он оказался врагом...

Как бы хорошо проснуться, — в тоске думает Саша. Как бы хорошо проснуться и понять, что ничего этого не было. Вчера больная из третьей палаты сказала ей:

— Что ты такая скучная? Давно вижу: горюешь. А ты не горюй. Помни: это все облака... Вспомни, что было десять лет назад, — ведь прошло? И пять лет назад, и два года... Прошло. Проплыло. Говорю тебе: облака...

Да, и это пройдет. Проплывет, забудется. Облака... Нет, не забудется, не растает...

— Сестра Поливанова! Мы ждем, мы хотим услышать, что вы скажете.

Что она скажет? Что она скажет? Что бы она ни сказала, Дмитрий Иванович ее не осудит, простит. Суд разберется, — скажет она, больше ей ничего не остается...

Саша встает. Зачем-то проводит рукой по грязному подоконнику. Поднимает голову, встречается глазами с Авериным, с Прохоровой и говорит:

— Он не виноват. Я работала с ним и видела, как он с больными, как он с людьми. Я знаю: он ни в чем не виноват...

— Что ты делаешь, Саша?

— Как видишь: укладываю чемодан.

— Что это значит?

— Это значит, что я уезжаю. Меня уволили.

— То есть как уволили?

— Обыкновенно: взяли да и уволили. Предложили подать заявление об уходе. Я, конечно, не подала. Зачем

мне подавать? Я ни в чем не виновата. Ну вот. Тогда взяли и уволили.

Он не стал спрашивать, почему она ничего ему об этом не сказала. Он только спросил:

— Ну хорошо, все это очень горько, не спорю. Но при чем же здесь чемодан?

— А при том, что в Москве мне теперь работы не найти. А раз так — я нашла ее на периферии. Мне помог Андрей Николаевич. Списался с одним своим товарищем. Он фельдшер на селе, и ему нужна медсестра. Я к нему и еду. Белоруссия. Село Ручьевка... Вот таким путем...

— Ты с ума сошла! — сказал он твердо. — Ты просто сошла с ума. Тебе помог Андрей Николаевич! Прекрасно. А я, дети — как ты собираешься поступить с нами?

— Очень просто. Дети пока будут здесь, с Анисьей Матвеевной. А Федю я возьму с собой, раз она не хочет, чтоб он оставался. Ну, а ты... Ты, я надеюсь, без меня не пропадешь...

— Саша, позволь. Нельзя же так... Это безумие, это глупость, ребячество!

Саша чуть отодвинула чемодан, положила руки на колени. Лицо ее не выражало ничего, кроме глубокой усталости.

— Ты сейчас сказал, Митя, что мы не дети. Это верно. И моя ошибка только в том, что я сразу не дала тебе свободы... Это так, кажется, называется: свобода. Разве дело в том, что мы продолжаем жить под одной крышей? Ты, наверно, делаешь это для детей. А разве им хорошо сейчас? Ты сам видишь, что тебе объяснять. Так вот, теперь ты свободен. А потом... Потом я заберу девочек.

— Прикажешь подавать заявление в «Вечерку»?

— Я об этом не думала. Но ты прав — все надо додумывать до конца. Вот именно: в «Вечерку»...

— Ты с ума сошла! Постарайся понять. Я давно уже знаю: я без тебя не могу. Что бы ни было, я не могу без тебя. В ту ночь, когда мы с Аней бегали по улицам, я думал — умру. Ты слышишь? Ты понимаешь? Я давно хочу с тобой поговорить, но ты стала как каменная, ты стала глухая. Я не могу без тебя. Ты слышишь?

Еще так недавно эти слова исцелили бы ее. Тогда боль была острой, и от этих слов, наверно, утихла бы. Сейчас она была тупой, постоянной, и ничто не могло ее излечить, даже эти слова. Может, он прав, и это нелепость, ребячество, что она уезжает. Может быть...

— Ты понимаешь? — снова донеслось до нее.

— Я понимаю только одно: без тебя мне легче. Вот это одно я только понимаю, и, может, это к лучшему, что меня уволили. Хочешь не хочешь, надо уезжать.

— Но мне так невозможно. Я без тебя не могу!

— А я могу...

Голос ее звучал устало, руки были опущены, и угасший взгляд устало повторял: а я могу. Без тебя. Без любви. Без всего.

Мои дорогие!

Ну вот я и устроилась на новом месте. И сейчас расскажу вам, как все было. От Гомеля до Чернолесья мы с Федей ехали на автобусе, в Чернолесье нас встретил заведующий медпунктом фельдшер Стеклов и отвез в Ручьевку. Забегая вперед, скажу, что мне повезло. Он очень умный человек, очень настойчивый и свое дело знает хорошо. Мне есть чему у него поучиться. Тут говорят, что, если Ручьевка чего добивается для своего медпункта, так только

потому, что Сергей Антонович не дает начальству ни отдыха ни срока и спуску никому не дает. Недавно сельсовет решил занять баню под молочный пункт: он поднял шум, дошел до обкома, а баню отстоял.

Сергей Антонович рос с Андреем Николаевичем в одном детском доме. Он все говорил, чтоб мы с Федей остановились у него. Но я попросила отвести меня в правление колхоза. Председатель здесь очень хороший. Он здесь вырос, здесь окончил школу. Отсюда ушел на фронт, сюда вернулся, отвоевавшись. У него нет одной руки, потерял на фронте...

И вот мы сидим с Федей на чемодане, а председатель и Сергей Антонович раздумывают, у кого бы нас поселить. И тут вошла Варя Ганюк. Лицо открытое, лоб большой, как я люблю. Говорит быстро, приветливо. Так вот, зашла она в правление, посмотрела на нас с Федей. Выспросила — откуда? Почему из дому уехала? (Я не стала говорить про увольнение, я просто сказала — так уж получилось.) А Федя кто — сын? Я сказала: племянник. И вдруг она говорит: «Пойдем ко мне жить. Будешь платить полторы сотни. За еду платить отдельно, если вы, конечно, согласны кушать с нами».

С этой минуты я боялась только одного: как бы она не раздумала. Но Варя тут же подхватила чемодан, я вскинула на плечи рюкзак, Федю мы взяли с двух сторон за руки. И пошли на край села в Варину избу. У Вари муж тихий, покладистый, зовут Николай. Он становится словоохотлив, только когда выпьет. Тогда он начинает командовать, покрикивать на Варю и дочку, а Варя его слушает и, посмеиваясь, делает, как он велит.. Варина дочка Оля — очень хорошая, в мать: ласковая и быстрая. Она

тоже зеленоглазая и светловолосая. Тут все светлоглазые и светловолосые, недаром белорусы. Оле десять лет. Ты бы с ней подружилась, Катенька. Оля учится во вторую смену. Когда она уходит, Федя остается дома один. Он привык: рисует, строит дома из кубиков. А то выйдет к калитке и ждет, ждет, пока кто-нибудь не вернется домой.

Иногда по вечерам мы поем: Варя с Олей свои песни, а мы с Федей свои, городские. Я очень скучаю по вам. Так скучаю, что и рассказать не могу. Пишите нам, почаще пишите нам.

Мы с Федей.

Вышла Митина книга, та, что они писали вместе с Мариной. Казалось, еще так недавно они получили рукопись с машинки. Потом были гранки. Верстка. Сверка. И вот их книга лежит перед ними на письменном столе.

Книга... Признак того, что он не утерял себя, как боялся когда-то. Она тихо лежала на столе и как бы говорила: неуверенность, колебания — позади. Но с книгой случилось то же самое, что с той давней полосой: из нее что-то ушло. Как вода сквозь пальцы. Горечь ушла. То одно убрали, то другое: это слишком темно, это чересчур остро. Как он согласился на это? Но ведь все, все, что они писали в своей книге, правда: и замечательный рекорд рабочего, и открытие ученого, и прекрасный талант артиста — ведь все это тоже правда, все это тоже есть в жизни.

И ни он, ни Марина не соврали, написав о колхозе-миллионере. Они просто умолчали о другом. Нет, молчание — тоже вранье.

— Вы недовольны? — сказала Марина. — Я вижу, вас что-то гложет.

Он молчал. Сейчас он охотнее всего молчал.

Но все хвалили книгу, в нескольких газетах даже появились рецензии, очень лестные. Книгу обмыли. Их с Мариной заставили устроить банкет, было много выпито, много сказано хороших слов. Книге очень обрадовалась Катя. Увидев ее, она воскликнула:

— Эм. Лаврентьева? Это которая — пока в Париже еще зевают, она уже всех обскакала?

Книге очень обрадовался Константин Артемьевич, он гордился ею, понес ее на работу и, небрежно вынув из портфеля, сказал коллегам:

— Растет молодежь. Мой зять, между прочим.

Поливанов послал книгу Леше и получил от него поздравительную телеграмму. Но праздника не было — все вокруг было тускло.

— Поливанов, ты что ходишь как в воду опущенный? Или денег мало получил? — спрашивали друзья.

Нет, и деньги появились. И были куплены подарки: детям — по новому платью, и зимнее пальто Анисье Матвеевне. Но ничто не радовало. Он был свободен. Свободного времени у него оказалось хоть отбавляй. Теперь бы так просто было вообще не возвращаться домой, только приходить навещать время от времени детей. Каждый вечер — он это знал — его ждала Марина. Но он к ней не шел. Почему? Это ли не новое предательство? Еще одно.

Раньше, бывало, поднимаясь по ее лестнице или заглядывая в ее окно, он думал с досадой: неужели у нее кто-то есть? Теперь он счастлив был бы узнать, что она не скучает, что ей хорошо. Но знал: она скучает. Ей плохо. Так что же случилось? Ведь не укору же совести преградили ему путь к этой женщине? Нет, дело не в том.

Когда рядом была Саша, пусть даже на время забывтая, ему все было нужно: успех, уверенность и даже новая любовь. Но без Саши ничего ему не нужно. Иногда в темноте ночи ему казалось, что легче просто ослепнуть, чем потерять ее. Никто не задумывается над счастьем видеть, слышать, дышать. Кто радуется тому, что не родился глухонемым? Да никто! Ну, а если перестанешь слышать? По сравнению с этой болью слепоты, глухоты — не могла быть счастьем другая любовь, и ничье другое присутствие не могло его обрадовать. Он понял это только теперь. Ладно. Он это понял. Но как же быть с Мариной...

Крушение Сашиной жизни — это крушение его собственной жизни. Когда он думает о Саше, слово «вина» не приходит на ум. Тут другие слова: «боль». «Горе». Когда он думает о Марине, только одно это слово и приходит в голову: «вина». Сам не понимая, как это могло случиться, ибо каждому человеку он хотел добра, шаг за шагом он шел по дороге вины и зла — стоило ему оглянуться в прошлое, как он видел это отчетливо, беспощадно.

Когда же это случилось? Когда он впервые поцеловал ее руку, которая легла на его плечо? Нет, гораздо раньше. Когда он впервые пришел к ней в дом? Когда впервые услышал от нее слово участия?

Что же, не может женщина быть другом? Товарищем? Может, но он видел в ее глазах другое, и желал этого, и радовался этому, а перед собой притворялся, будто не понимает,

Так он думал на работе, и ворочаясь в кровати без сна, и долгими ночами в поезде. Ничего уже нельзя было исправить, а он все разматывал и разматывал клубок. Что за пустые мысли? Зачем я об этом думаю? Столько дела, забот, а я, точно баба, копаюсь в каждой мелочи. Как будто это может что-нибудь изменить.

И сколько он ни думал, а додумать этой мысли до конца не мог.

В те дни его утешением была Катя. Аня много времени проводила в Серебряном переулке. Казалось, для нее не только он сам, но и воздух вокруг него стал чужой. Даже то место, где он был — стоял, сидел с книгой и за работой, вызывало у нее неприязнь. Ее глаза скользили мимо, никогда не встречаясь с его глазами.

В черных Катиных глазах укора не было. В них была любовь. Большущие, словно всегда удивленные, они казались круглыми.

Однажды вечером он пришел с работы пораньше — теперь это удавалось ему часто. Дети были дома. Аня куда-то собиралась.

— Ты куда? — спросил он чуть неуверенно.

— К подруге, — и, не взглянув на него, прошла мимо. Он посмотрел ей вслед, увидел прямую спину, подросточьи длинные ноги и светлую косу.

— Катя, — сказал он, — давай-ка сыграем в шахматы.

Вместо ответа она запрыгала.

— У, лентяйка! — сказала Анисья Матвеевна. — Лишь бы уроков не готовить. Чуть ли не с отца вымахала, а скачет, как малый ребенок.

Платье ей было коротко. Она росла так быстро — не напасть на нее. Кроме того, она вечно протирала локти. Все учатся, все кладут локти на парту, но все люди как люди, рукава целы. А у Кати...

— Матери нынче нет тебе локти латать. А у меня работы и так хватает...

Анисья Матвеевна теперь все ворчала, ворчала без роздыха,

— Папа, — сказала Катя шепотом, — пойдём к тебе, а? Тут тетя Анисья нас заговорит.

И они перешли в Митину комнату.

— Я сяду на мамино место, — сказала Катя. — Если бы ты знал, как я скучаю. А ты, ты очень скучаешь?

— Очень...

— Папа, ты проворонил слона. Но я прощаю тебе, возьми ход обратно. Папа, я и по Феде скучаю. Я к нему так привыкла, как будто он и вправду мне брат. Папа, мы летом поедem к ним, да? И привезем маму сюда. Нет, летом мама сама к нам приедет! Папа, твой ход!

Раздался телефонный звонок. Могли звать Аню, Катю, Анисью Матвеевну. Но он вскочил, потому что почувал: звонят ему. И не ошибся.

— Дмитрий Александрович? Здравствуйте, — сказал по ту сторону провода спокойный женский голос, — приходите ко мне сегодня вечером. Я не спрашиваю, заняты ли вы и хотите ли быть у меня. Я жду вас. В десять.

Раздались короткие гудки. Голос погас, не дав ему времени ответить.

— Ты уходишь? — спросила Катя. — Сдаешься?

— Сдаюсь, — сказал он, надевая пальто.

Анисья Матвеевна убирала со стола. Взглянув на него, она сказала тихонько:

— Опять за свое, горе ты наше, эх, за ум было взялся!

Он уже не слушал. Он надел пальто, прошел по коридору, сбежал по лестнице и, схватив такси, помчался к ее дому. Он замедлил шаг только у ее дверей, как школьник, приносящий матери двойку. Но другой дороги сейчас не было. Подняв руку, он позвонил и услышал ее шаги. Сколько раз он им радовался, а сейчас что-то внутри у него испуганно похолодело.

— ...Я, как и вы, не люблю выяснять отношения, — говорила она, стоя у окна спиной к Поливанову. — Я не верю, что с помощью слов можно что-нибудь выяснить. Но есть обстоятельства, которые надо назвать словами... И

поступки такие тоже есть... Я не хочу задавать лишних вопросов, я только хочу спросить, что случилось?

Он молчал. И она обернулась к нему.

— Митя, — сказала она, — вы теперь один, я правильно поняла? Саша уехала?

Он молчал.

— Так что же случилось? Отвечайте. И не смотрите, пожалуйста, как провинившийся школьник. Я позвала вас сегодня не к ответу, Впрочем, к ответу... Я помогу вам... назову все своими именами. Вы... Вы любите свою жену?

Он молчал. И она сказала:

— Ну, вот видите, я вам помогла. Я никого никогда не держу, я не держу человека ни за руку, ни за слово. Но о чем вы думаете, когда говорите «люблю»? Не знаю! Вам оно легко дается, это слово!

— Нелегко, — сказал Поливанов.

— А я думала... — продолжала Марина Алексеевна, — впрочем, я не о том. Скажу про себя... Хотя сейчас не время говорить о себе. За моим «люблю» стояло настоящее... И... я, кажется, говорю чересчур высокопарно... Но я не хочу выбирать слов. Когда человек любит... Хорошо, я знаю, я смешна...

— Да что вы! — сказал Поливанов.

— Молчите! — вдруг закричала она, забыв, что минуту назад призывала его к ответу. — Я не прошу вашей снисходительности. Вот уж чего мне не нужно! Воистину! Я хочу только знать: зачем, зачем все это было? О чем вы думали? Что вы сделали? Ваша жена...

— Не будем о жене, — сказал Поливанов.

— Ах, вот как! «Не будем о жене!» Как вы все забываете о своих женах, как топчете их, пока добиваетесь победы на стороне. И как ничего не щадите тогда... Тогда ни дети, ни жена...

Ему очень хотелось встать и уйти, но он решил дослушать до конца. Она не могла сказать ему ничего такого, чего бы он о себе не знал. Все горькие слова, какие только есть на свете, он уже сказал себе, и принял их, и повесил себя, и растоптал, и уже поплакал на своей могиле, и плюнул на нее, и отошел в сторону, и сказал себе все с самого начала. Он так знал каждое слово, которое она скажет, что почти перестал слышать. Но это только так кажется, будто все предвидишь и знаешь наперед. Нельзя знать другого человека, как себя, потому что и себя не всегда до конца понимаешь. И вдруг из потока ее раскаленных слов, в которых слышались слезы, вырвалось одно железное, твердое:

— Уйди, — услышал он.

Под ударом этого слова он поднял голову и встал. И увидел ее ненавидящее лицо.

15 февраля 1953 года.

Дорогая мамочка!

Со мной произошел такой случай! Иду я из школы, и подходит ко мне Пашка Соколов и держит в руках очень красивую птицу, у нее желтые, красные и зеленые перья. Я даже загляделась. А Пашка помолчал и говорит: хочешь, продам тебе этого попугая?

Мне очень захотелось его купить. Я спросила: что же ты держишь его на морозе? Ведь он привык к жарким странам.

А Пашка отвечает: этот попугай закаленный.

Я спрашиваю: а он умеет говорить?

— Конечно, умеет. И не отдельные слова, а целые фразы. Это порода такая особая. Бразильский. Так по рукам.

Я говорю: у меня накоплено двадцать рублей. Но это на подарок маме к Международному женскому дню.

А он говорит: вот и подаришь попугая.

Я подумала, что это будет очень интересно: поеду к тебе летом и привезу такую красивую птицу. Ладно, говорю, по рукам. Зайдем ко мне, я отдам тебе деньги. Нет, говорит, я к вам не пойду, я не люблю вашу Анисью. Она у вас чересчур горластая. (Мама, ты этого тете Анисе не рассказывай!)

Ну, зашла я домой, взяла деньги и вынесла их Пашке. И получила взамен попугая. Взяла его в руки и думаю: какой странный все-таки попугай. Попугаи худенькие и вертикальные, а этот круглый, толстый и горизонтальный. Пашка говорит: чего смотришь? А сам убегает.

Ну, ты, верно, уже догадалась: это был голубь. Самый обыкновенный, только раскрашенный. Тетя Анися сказала мне, что я натуральная дура. Папа сказал: этот Пашка далеко пойдет. Аня сказала: не реви.

Дедушке и бабушке я не стала рассказывать, они огорчились бы. Я тебе пишу потому, что я обещала писать тебе про все. Я по тебе очень скучаю и каждый день вычеркиваю из календаря одну клеточку. Как только кончатся занятия, мы сразу к тебе. А лучше — ты к нам. Целую тебя и Федю.

Катя.

Пашку я с тех пор видела два раза. Он смотрит с любопытством, а я отворачиваюсь. Но ничего ему не говорю.

Катя.

Мамочка!

На днях Митю вызвали в школу насчет Кати. Вместо него пошла я. Классная руководительница говорит: ваша Катя ведет себя безобразно. Привязала косу своей соседки к парте. Потом смеялась на арифметике, болтала на истории. А потом крикнула учительнице: неправда!

Я спросила: по какому поводу она так крикнула? Прасковья Павловна ответила: это не важно. Важно, что она ответила учителю грубо.

Дома я спросила у Кати, зачем она ответила Прасковье Павловне так грубо?

— Прасковья Павловна сказала, что Галя списывала, а она никогда не списывает,

— А ты не могла сказать вежливо?

— Аня, ну как я могу сказать человеку вежливо, что он врет?

— Она не врала, она ошиблась. Она просто так подумала, и вы с Галей должны были по-человечески ей объяснить.

Тогда Катя говорит: ладно, я сказала грубо. Если ты велишь, я извинюсь. Но я думаю, и она должна перед Галей извиниться. Ведь она ее тоже оскорбила.

Тут очень рассердилась тетя Анися. Она сказала: «Много на себя берешь. Она взрослая, а вы девчонки и дуры».

А Катя ей отвечает: мы девчонки, и, может, мы дуры, но мы тоже люди, и мы не списываем.

Я с ней согласна. Я понимаю, что говорить ей этого нельзя, но я с ней согласна.

Теперь я расскажу про себя. Занимаюсь с утра до вечера. Бабушка и дедушка здоровы, только очень скучают по тебе и Леше. Мы с Катей часто ходим в Серебряный, чтобы они не тосковали.

Митя целыми вечерами играет с Катей в шахматы, а я этой игре никак не могу научиться. Ходы знаю, а играть не могу. Очень надо с тобой поговорить, вопросов обо всем на свете накопилось — гора. А писать трудно. Летом наговоримся, Целую тебя.

Анюта.

ПЕРВОЕ НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Саша, я все не пишу тебе, точно жду твоего звонка, а ты где-то там, и тебе там плохо. Не знаю, захочешь ли ты читать мое письмо, но мне его надо написать. Я пишу не для тебя, а для себя. Так я все время поступал: все у меня было не для тебя, а для себя.

Саша, милая, это письмо — не в оправдание, потому что оправдываться бесцельно. И не для того, чтобы сказать тебе, что я не могу без тебя жить: это было бы вранье, я жил раньше без тебя, проживу и теперь без тебя как-нибудь: человек — существо живучее. Удивительно, как он может жить без всего, и все-таки живет. Вот и ты вычеркнула меня и живешь сама по себе, и тебе плохо, а все-таки, видно, лучше, чем со мной.

Я много передумал за это время и, кажется, понимаю свою вину даже лучше, чем ты ее понимаешь. Не в том я себя виню, что, как это говорится, изменил тебе. Да я и знаю, что не этот грех ты мне ставишь в вину, и не в этом на самом деле моя действительная вина.

Из скорлупы, куда меня загнала моя судьба неудачника, я редко выходил, чтобы облегчить твою жизнь, твои заботы, твои огорчения, твою неуверенность в себе — весь груз нелегкого прошлого и все

грубые толчки настоящего. Уже тогда, и по моей вине, мы не были ни «единой плотью», ни единой душой. А ты все-таки прощала мне мой эгоизм и прощала меня.

А что же такое, как не тот же мой эгоизм, была и вся история с Мариной? Я могу сказать о ней только хорошее. Когда мне было трудно, она подала мне руку. Поверила в мои силы и тем самым дала мне веру в себя (опять в себя!). Рядом со мной была ты — настоящий друг, человек, который тоже верил в меня и в мои силы, — но ты, Саша, была для эгоиста так привычна. И к тому же ты была свидетельницей моих неудач, видела меня в неприглядном виде, — а нашему брату нужно иметь перед кем явиться в полном параде, распутив павлиний хвост. И постепенно она стала для меня необходимостью. Но не она сама по себе. Не с ней я изменял тебе, а с самим собой, как делал и все эти годы. Душевной измены, той самой, из-за которой как будто ты ушла от меня, — не было. Для меня во всей этой истории был только я сам: не ее я любил, а себя.

Это не оправдание, совсем напротив. Но ведь таким, сосредоточенным только на себе, я был не только в этой истории, и ты прощала мне. Прости и теперь.

Я не прошу тебя вернуться ко мне, если ты не можешь. Чтобы не видеть меня, ты оставила даже детей. Я Катю люблю больше жизни, и Аня тоже давно стала частью моей души. Но я отдам тебе детей, если ты велишь мне, и исчезну из твоей и из их жизни. Я знаю, сейчас без них ты не живешь, это не называется жизнью. А теперь наконец твое счастье — или хотя бы душевное спокойствие — мне

стало дороже меня самого. Приезжай к Ане и Кате, они истосковались без тебя. А если можешь — тогда возьми к себе вместе с ними и меня. Ангелом я не стал. Но, кажется, стал умнее. Если же не можешь — скажи.

Твой Митя.

ВТОРОЕ НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Помнишь, ты учила меня писать мою первую статью? Ты уверяла, что это очень просто — надо вообразить, что я пишу письмо тебе. Это было единственное письмо, которое я тебе написал за последние десять лет. И то потом пришлось убрать «Дорогая Саша». По твоему же приказанию.

Вот эти зачеркнутые слова я бы писал и писал теперь. Дорогая Саша. Дорогая Саша. Дорогая Саша.

Я не умею писать писем. Я не Тургенев. Но мысленно я пишу тебе все время. Каждую минуту моей жизни. Наверно, когда я сплю, я все равно продолжаю писать тебе. И письмо это такое: дорогая Саша...

ОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Дорогая Саша! Дома все благополучно. Это значит: нянька ворчит, я работаю, Катя задает вопросы, Аня сидит над книгами и решает для себя какие-то сверхтрудные задачи. В этой четверти она меня удивила: оставила свой табель у меня на столе, словно бы ненароком. Посылаю его тебе. Как видишь, все довольно однообразно: пять, пять, пять... Только по-английски четыре. Я — за такое однообразие. Может, это Женино влияние? Он ходит часто, по мнению няни, даже слишком часто.

Сейчас он ушел. Дочки спят. А я пишу тебе. Если можешь, напиши мне.

*Целую тебя.
Митя.*

Вытянув ноги, Поливанов сидел за столом в пустой комнате. Зазвонил телефон.

— Да? — сказал Поливанов.

В трубке дребезжал старческий голос:

— Старушка у нас. Выселили. Незаконно...

— Редакция жилищными делами не занимается, — ответил Поливанов и положил трубку.

Через секунду звонок раздался вновь, и тот же голос задребезжал:

— Товарищ, послушайте, дело-то незаконное. Старушку у нас...

— Я же сказал вам русским языком: газета жилищными делами не занимается!

Едва трубка легла на место, раздался новый звонок. Услышав: «Старушку... незаконно...», Поливанов молча брякнул трубку на рычаг и вышел из комнаты. Вслед ему тотчас полетел новый пронзительный звонок. Он забыл о настырном старике. Просто он зашел перед уходом в секретариат, чтоб проститься с Савицким.

Там надрывался телефон. Поливанов снял трубку.

— Да что вы — не люди? — услышал он дребезжащий голос. — Есть у вас совесть?

— Где она живет, ваша старушка? — свирепо спросил Поливанов. — Я записываю адрес.

Старушка жила в густонаселенной квартире: двери, двери, закоулки, снова двери — ее дверь в самом даль-

нем углу длинного коридора со множеством поворотов.

Ей восемьдесят, она слепая, и, видимо, у нее какой-то нервный тик: руки все время в движении. Кажется, что она учится плавать или делает зарядку: сводит руки, резко разводит их. Они у нее ходуном ходят: подняла руку поправить косынку на голове, а рука рванулась вбок и ударилась о стенку.

— Вот такая я танцорка, уж вы простите, — говорит старушка. — В войну после бомбежки такое со мной случилось. Ноги не ходят, руки танцуют, глаза не видят. Велье!

Она жила в пятнадцатиметровой комнате в другом конце коридора. Жила с внуком, он ее не обижал, напротив, с полочки всегда приносил ей из буфета сладкий сырок и рулет. Фруктовый рулет — его и без зубов есть можно. А потом внук пошел в армию. Осталась она одна, живет на пенсии. Она до войны преподавала вышивание в школе для умственно отсталых детей, и вот теперь получает пенсию сто двадцать рублей. Конечно, на такие деньги не проживешь. За комнату надо платить? Есть-пить надо? А лекарство? Пипетки, которыми в глаза капать, — по сорок пять копеек штука, а она каждый день теряет пипетку. Ну и в полгода раз чулчишки какие-никакие нужны?

— А мой «капрон» стоит восемь рублей пара. Вот и посчитайте. Спасибо, соседи хорошие. Заходят, спрашивают, как, мол, и что. Иной раз доктора зовут.

Поливанов слушает терпеливо, но, дождавшись в рассказе заминки, спрашивает:

— А с комнатой, с комнатой что произошло?

Ах, с комнатой? Очень просто. Ночью пришла соседка со своим гостем, подняла с постели и привела ее сюда, в свою восьмиметровую, а сама поселилась в большой. Тебе, говорит, бабка, все равно помирать.

— Вещи все аккуратно собрали, ничего не скажешь, все сюда снесли. Только шкаф не поместился и диванчик. Стоит в коридоре шкаф-то? А диванчик с кожаной такой обивкой стоит?

Она бы ничего, ей и правда скоро помирать. Но как же внук-то? Вася как? Ведь он отслужит, вернется. Он, может, жениться захочет. Ей в этой восьмиметровой тоже не больно хорошо — она тут сослепу ничего не разберет, там она все наизусть знала, где что, а тут то и дело спотыкается, стол не там стоит, непривычно. Но это бы ничего. А вот Вася как же? Внук, Вася?

Она попросила Поливанова открыть кованный сундучок (под кроватью, под кроватью, ну, нашел?) и вынуть оттуда пакетик, перевязанный ленточкой. Пляшущими своими руками она кое-как развязала узелок и рассыпала перед Митей желтые, поблекшие от времени бумажки: «Дано сие в том...», «крестьянская дочь Гореванова Варвара Герасимовна...» Тут же Васина карточка — бравый паренек в пилотке набекрень. Поливанов снова сложил справки, трудовую книжку и карточку в один пакет, снова перевязал розовой ленточкой. И пошел искать комнату, в которой Варвара Герасимовна жила прежде.

— Входите, входите. Я уж видела, как вы прошествовали к нашей старушке. Ну, как она там?

У зеркала, спиной к Поливанову, стояла женщина и красила губы. Она не повернулась к нему, он в зеркале видел ее розовое лицо и крупный перманент. Женщина подмазывала рот, отставляла руку с помадой в сторону, потом, прищурясь, смотрела, хорошо ли?

Задохнувшись от бешенства, Поливанов гаркнул:

— На каком основании...

Женщина быстро и легко повернулась к нему.

— А на таком, соколик мой, что мне эта комната нравится. Окна, понимаете, выходят на восток: смерть люб-

лю встать пораньше и любоваться зарей. Опять же метраж. Бабке помирать, а мне — жить и жить.

Говоря так, она обернула шею пестрым шелковым шарфиком, и надела голубую вязаную жакетку, и сняла с вешалки пальто.

— Приглашена в ресторан, — сказала она ласково. — Не хотите составить компанию? Люблю сходить в «Арагви» и поесть купаты.

— Где вы работаете? — спросил Поливанов.

— Нигде, товарищ журналист. Зачем молодой женщине работать? Пускай мужчины работают. У меня друг. Шофер. Прилично зарабатывает. Проявляет внимание, вот помог комнатушку получить. Ну как, идете со мной? Я встречаюсь у телеграфа. Он не будет против, если мы вместе придем.

Она то и дело произносила слово «люблю». Он узнал, что кроме утренней зари она любит купаты, шашлыки, танцы, рестораны, Сандуновские бани, коньяк, Сочи, Гагры, а южный берег Крыма — нет.

— Вот что, — сказал Поливанов, — завтра я приду в эту комнату к Варваре Герасимовне. Чтоб все стояло на месте. Не забудьте взять из коридора шкаф и кожаный диванчик с валиком. Честь имею кланяться.

Она ласково засмеялась вслед и сказала:

— Легкий хлеб у вас, товарищ журналист. Пришли, велели, раз-раз, и думаете, дело в шляпе? Как бы не оступиться...

Дело было очень простое. Зарвавшаяся баба со своим шофером вообразили, что им все сойдет с рук, что за одинокую старуху никто не вступится. Как бы не так! Но писать статью не стоило. Это значило бы стрелять из пушек по воробьям.

Поливанов позвонил в райсовет. С ним мгновенно согласились:

— Да, безобразие. Проверим. Исправим.

И не исправили.

Поливанов пошел в районное отделение милиции. С ним согласились с полуслова:

— Безобразие! Наведем порядок.

И не навели.

Непостижимая история: всюду, куда бы он ни приходил, он слышал: да, конечно, беззаконие, безобразие.

Но на следующий день те же самые люди отводили глаза, обещали подумать, узнать, проверить.

— Да что проверять? О чем думать? Я был там, я видел. Пойдемте со мной.

С ним никто не шел. Нет, ни у кого не было желания идти с ним к Варваре Герасимовне.

Вот это уже статья. Да, райсовет и районная милиция, не желающие вмешаться, когда речь идет о явном беззаконии, — вот это уже статья!

Всякий раз, как ему случалось наведаться к Варваре Герасимовне, кто-либо из жильцов непременно ловил его в коридоре:

— Если нужен будет свидетель — надейтесь на меня, — сказал ему высокий парнишка лет восемнадцати, ярко загоревший на зимнем солнце. — Нет, не потому, что Васька мне дружок. А потому, что незаконно. Слышу, ночью волокут чего-то по коридору. Выхожу: здравствуйте, мебель волокут, бабушку Варю переселяют. Я им сказанул...

— Я этого дела так не оставлю, — дребезжал старик-бухгалтер, недавно вышедший на пенсию. — Ваша газета не поможет, я в Верховный Совет пойду, а правды добьюсь.

Он был маленький, сутулый, с блеклыми голубыми глазами. Но решительные слова «я этого дела так не ос-

тавлю» не звучали в его устах смешно и не казались жалкими.

— Ну как? — спрашивал он. — Будете писать статью или как иначе добьетесь правды?

— Буду писать, — сказал Поливанов.

...Он сидел за своей статьей, когда Анисья Матвеевна окликнула его:

— Встречай гостей!

На пороге стоял Петрович.

— Раздевайся, — обрадованно сказал Поливанов, — садись, пообедаем.

— Нет, я накоротке, машина с курьером внизу, мы в редакцию. Так вот, Митя, кончай эту волынку со старухой. Кончай скорее.

— Что так?

— А ты знаешь, с кем связался? Ты понимаешь, что он шофер, да не какой-нибудь. Как говорится — Федот, да не тот.

— Догадываюсь.

— Так что же ты лезешь на рожон? Ты знаешь, чью он машину водит? Он мне сам сказал: передай своему журналисту, чтоб убирался подобру-поздорову. Чтоб убирался, пока цел, понятно?

В комнату вошла Анисья Матвеевна, и Петрович тотчас же переменял пластинку:

— Ну и теща у меня! Вот послушайте, мамаша, рассудите нас: купишь ей подарок на Восьмое марта — деньги не жалеешь, беззаботный. Не купишь — обида: все зятя своих тещ одарили, один ты не одарил. Не теща, а прямо клевета на советскую власть!

Он не остался обедать. И, прощаясь, снова шепнул:

— Кончай! Не связывайся, потом не расхлебаешь.

— Ты бы мне так же посоветовал, если бы твою сестру переселили? По совести?

— Так же! Вот те крест! И сам не полез бы в петлю, и ни у кого заступы не стал бы просить. Хочешь — верь, хочешь — не верь.

Поливанов верил. К вечеру он кончил статью, и на другой день она легла на редакционный стол.

Он слонялся по комнатам, зашел в секретариат, в библиотеку — совсем как в тот день, когда была написана статья о Сереже Кононове. Как давно это было... Сколько лет прошло? Сто? Двести? Тогда он выиграл свое маленькое сражение. Он спросил Сашу: ты рада? И она ответила: еще бы!

А сейчас? Что будет сейчас? Если взглянуть трезво: стоило ли затеваться? Никто никого не убил. Старушку переселили в комнату поменьше. Что за беда? Внук Вася тоже не пропадет. Здоровый парень. Вернется из армии, начнет работать, завод добавит ему квадратных метров. Уж если давать бой — так с блеском! Пусть дело будет громкое, красивое, стоящее. А тут — старушка, метры... шкаф в коммунальном коридоре, дырявый диванчик с валиком. Чушь собачья. Он засмеялся: услужливая штука совесть человеческая. Ладно, подождем, что скажет редактор.

Редактор молчал. Он молчал день, другой, третий. Поливанов не напоминал о себе. Он уже собрался выправлять командировку в Киев, как раздался звонок:

— К редактору!

Он сразу увидел ее — свою статью. Она лежала на редакторском столе исполосованная красным карандашом. На полях стояли вопросительные и восклицательные знаки.

Редактор снял очки и долго протирал их лоскутком замиши. Может, он ждал, чтобы заговорил Поливанов. Но Поливанов молчал, задумчиво глядя на исчерканную красным карандашом статью.

— Ничего у нас не выйдет, — сказал редактор.

— Почему? — беспечно спросил Поливанов.

— Не могу! — раздельно произнес редактор. — Не в моей власти!

— Можно взглянуть? — спросил Поливанов привстав.

— Пожалуйста. Вашу статью запросили наверх. И вернули ее вот с этой резолюцией.

В левом углу стояло: «Мелкотемье. Газета не райжил-отдел. Печатать не надо».

— Хорошо, — сказал Поливанов. — Не настаиваю. Равнодушная милиция, трусливый райисполком, закрывающий глаза на незаконие, — ладно, мелкотемье. Ладно. И редакция не жилотдел. Но как быть с сутью дела? Как водворить Гореванову в ее комнату?

И снова услышал:

— Не могу.

Он уловил в этом раздельном «не могу» то же бесильное бешенство, которое душило его самого.

— Я не хуже вас понимаю: мир не станет лучше от того, что мы сделаем вид, будто все в порядке. Но я не могу.

Ответить на это было нечего.

— Возьму на память? — он кивнул на статью.

— Пожалуйста. И зайдите к Савицкому, он ждет вас.

Поливанов шел по длинному редакционному коридору мимо стрекочущего машинного бюро, мимо отдела иллюстраций, где начинал свою работу в редакции.

— Вас ищет Савицкий, — кинула ему на ходу Марина и прошла не останавливаясь.

Зачем Савицкий зовет его? Хочет сообщить, что время сложное и даже вне штата оставаться Поливанову в газете нельзя? Да, легкий хлеб у вас, товарищ журналист!

— Поливанов, — сказал Савицкий, — вы, кажется, собирались в командировку? Так вот, моя нижайшая просьба: подальше. Не в Киев, а куда-нибудь подальше. Месяца на три. И поскорее. Чтоб завтра и духу вашего здесь не было.

— К чему такая спешка?

— Состарили вы меня, Митя. Как вы мне надоели, знал бы кто. Уезжайте, говорят вам.

— Вы любите слепое повиновение?

— Немое, — грубо ответил Савицкий.

— Не выйдет. Не побегу. Я не заяц.

— Я не шучу. Зачем вы прикидываетесь, будто не понимаете меня?

— Я никуда не поеду. И в Киев не поеду.

...Он шел домой и думал со злостью: почему ее нет? Почему я один? Почему она где-то у черта на рогах, когда мне плохо?

Ночь в Москве совсем другая. И утро другое, чем в деревне. Далекий свист ночной милиции, звон запоздавшего троллейбуса. Прошуршит под окнами заблудившаяся машина. И тишина. А утром шаркает метлой дворник. Прогремит трамвай: начал свой рабочий день, свой длинный путь. Раньше ходил по бульварному кольцу, теперь загнали его на окраину. А он знай звенит: мое дело маленькое, вот передо мною рельсы, и я гроыхаю по ним и развожу людей на работу. Вон те сойдут у кладбища: в руках металлические венки, украшенные мертвыми восковыми розами.

О чем это я? — думает Саша. Почему мне припомнился двадцать третий трамвай? Потому что с его звона начиналось мое московское утро?

Заскрипела половица, встает Варя. Вот она загремела чугунами. Залаял Жук, рвется с цепи, слышав пешехода. Тикают ходики...

Варина изба на одном краю села, медпункт — на другом. Село длинное, и прежде эта прямая длинная дорога казалась Саше долгой. Но сейчас, когда она знает здесь каждую избу, эта дорога будто сократилась втрое. Саша уже издали видит мостик через узкую речку, а там поле и одинокий домик, в котором ютится медпункт.

Пациенты уже ждут: Петро Евсеенко и шестилетняя Малаша Рублева.

— Что у вас, дядя Петро? — спрашивает Саша и моет руки под краном.

— Нос распирав, дыхнуть не могу. И в грудях болить. Ноги подкосило. И знобить. И в горле царапав. Уж я перемогався, перемогався...

Закашлявшись, он умолкает. Саша выслушивает его, осматривает горло.

— Вам надо лечь, слышите, дядя Петро? И вот вам порошки. Примите сейчас, потом в обед и перед сном. Поняли? Повторите, чтоб не забыть.

— Сейчас, в обед и перед сном.

— И лежать! Завтра я к вам сама зайду.

У Малаши руки и ноги в нарывах. Она кротко молчит, пока Саша мажет их зеленкой. Терпеливая, тихая девочка, и вечно с ней какая-нибудь беда. С месяц назад она смотрела, как братишка строгаёт палочку. А он строгал, строгал и нечаянно полоснул Малаше по мизинцу: отрубил. Сейчас Малаша что-то крепко стиснула в руке без маленького пальца.

— Покажи, — сказала Саша.

Девочка разжала кулак, на ладони лежал зуб.

— Сегодня утром выпал, — говорит она шепотом.

У тети Домны Петрученковой ничего не болит. Она приходит к Саше порассказать, поговорить о том о сем. Для порядка она придумывает себе какую-нибудь хворь, но на самом деле здорова: сухонькая старушка с живыми бойкими глазками, зорко глядящими из-под низко повязанного платка.

— Константиновна, а что я тебе скажу! Приехала я к сыну Сергею в Москву. А сын говорит: спасибо, что приехала. Пойдем, покажу тебе метро. А мне под землю идти без интереса. На кой шут мне под землю? Ну, иду, гляжу — большой дом. Рынок, думаю. Нет, нигде не торгуют. Ну, я и вошла. А оно и есть — метро. Лестница як понесе, понесе. А бабка передо мной в длинной юбке — стоит, трясется, а как подъехали к низу, ее юбку как защемит! А дед, что с ней, не растерялся, схватил нож и как хряснет по юбке — отрезал. И пошли дальше как ни в чем не бывало. Я догнала: вы, часом, не с Белоруссии? А они: с Украины. А чо́го? — Ничо́го. А сама думаю: старые, а не растерялись, и я не буду теряться. И пошла себе дале.

Тетя Домна смотрит победно. Рассказы о том, как она навещала сына в Москве, у нее самые любимые.

Саша выглядывает в сени, там только один человек: почтарь Новохатний. Этот не рассказывает. Этот спрашивает. Ему все надо знать. Зачем Саша бросила Москву и приехала в Ручьевку? Замужем ли она? Развелась, что ли?

Он любопытен, как женщина. Отдавая Саше письма, он непременно спросит: от кого? Какие в Москве новости? А Саша уверена: он не хуже ее самой знает, о чем ей пишут. Письма, приходящие на ее имя, чересчур тщательно заклеены, никто в ее семье так не заклеивает конвертов.

— Что у вас болит, Павел Трофимович? — спрашивает Саша.

Новохатний садится, говорит задумчиво:

— Не можно ни пить, ни есть, очи ни на что не глядят. — И, не дожидаясь Сашиного ответа, добавляет: — Какие в газетах факты и по радио передают насчет вашего брата медработника. Так прямо и сказано: изверги.

— Давайте посмотрю вас, — говорит Саша. — Отчего у вас очи ни на что не глядят. Ложитесь на лавку.

Новохатний не ложится. Он спрашивает:

— Как же такое, народ губили? А?

— Суд разберется, — отвечает Саша.

— Расстреливать их надо, палачей таких.

— Суд разберется, — снова говорит Саша. — Вы лучше скажите, Павел Трофимович, почему у вас очи ни на что не глядят?

— А вы боитесь правду сказать, Александра Константиновна. Я ведь вижу: не верите, что эти медработники людей убивали, а?

— Так как, будем лечиться, Павел Трофимович, или у вас уже ничего не болит?

— А еще вам письмо — видно, от деток, — говорит Новохатний и вынимает из кармана конверт, надписанный крупным Катиным почерком.

...Если бы Сергей Антонович был дома, по избам сегодня пошел бы он. Но его нет. И, окончив прием на медпункте, Саша идет «по вызовам». Март, еще холодно. И ветер ледяной. Саша идет по улице, глядя себе под ноги. Да, тихий день... Тихое село... Новохатнему не так надо было отвечать. Но Саша решила никогда не жалеть о том, что уже сделано. Нет ничего бесплоднее такого раскаяния — зачем сказала да зачем сделала. Темно, так темно, что, видно, скоро уже рассвет. Ба, кто это у тех ворот колет дрова?

— Дядя Петро, вы что это? Я же вам сказала: надо лежать! Говорили: знобит, дышать не могу, а сами...

— Отпустило трохи, я и вышел. Нет дров печку топить, жинка ругается.

Дядя Петро стоит перед ней в овчинной безрукавке, штаны заправлены в дырявые валенки. Он сейчас уйдет в хату, но только Саша скроется из виду, как снова выйдет и доколет дрова. Его не устроишь. Тут почти все такие: тихие и упорные. Слушают, соглашаются, а делают по-своему.

...Бабушка Сергеичева лежит на кровати и смотрит на Сашу с мольбой и надеждой. Горница чистая. На стене ковер: замок с башнями, диковинные деревья, очень голубое небо и очень белые облака. У замка стоит женщина в пышной одежде, с цветком в руках.

— Донька, донька, ну скажи ты мне, что у меня за хвороба?

Как хорошо, что ей не надо отвечать. Она хочет услышать слово утешения, но боится не поверить в него и поэтому, не ожидая ответа, стонет:

— Ноги ные, шея ные. Пойду корову доить, а мои руки не берут. А доктор в больнице казав: рак у тебя. Или здесь помрешь, или дома. Донечка, лучше скажи мне все как есть. О-о-о!

Саша сидит рядом тихо, похлопывая ее по плечу, и старуха, убаюканная, засыпает. Высохшее лицо ненадолго застывает в покое, тревожный, мечущийся взгляд пригашен опущенными веками, обтянутый лоб отсвечивает желтизной.

Теперь надо зайти к Коваленковым, там живет Лешин тезка. Мальчишка родился в тот день, когда уходили немцы. И его назвали именем бойца, который первый вошел в избу напиться воды. Это был танкист, и звали его Алексей.

Лешиному тезке уже девять. Сейчас он лежит в жару, губы у него запеклись.

— Ноги судорога бере, — говорит он, — и мурашки по телу ползуют.

Саша ставит ему горчичники, укрывает потеплее.

— Дует у вас из всех щелей, — говорит она, проводя ладонью по стенам, по раме крохотного оконца.

— Константиновна, да ты что! — говорит Лешина мать. — Я себя от счастья не помню — в избе живем! Ведь в ямах жили, а пришли домой, глядим, ни колочка не оставил. Голая земля, все пожег. В избе оно лучше, чем в яме. Ой, только бы не война!

О войне тут говорят так, будто она была вчера. Каждое третье слово война...

В оконце глядит фиолетовое небо, уже сумерки. Саша велит почаще поить Лешу:

— Есть у вас кусок сахара добавить в воду?

— Золовка из Минска полкило прислала. Мы — богатые.

— И мне сладенькой водички, — откликается с печки Лиза. Ей четыре года. Она сидит на печке и глядит оттуда, не желает спускаться вниз. Однажды Саша делала Лизе укол, и этого она простить Саше не может.

...Ну вот, а теперь домой. Вон оно светится, окошко Сашиного дома. Кто это маленький у калитки?

— Федя!

И он бежит ей навстречу, часто перебирая валенками в калошах. Она берет его в охапку и крепко прижимает к себе.

— Ну, дождался? — спрашивает Варя. Она орудует у печки, вытаскивает чугунок с картошкой. У стола уже сидят Николай с Олей. Только Сашу и ждали.

Ночь... Федя притулился около Саши: она с детьми спит на печке. Варя с Николаем внизу.

— Я плохонький, — вдруг шепотом говорит Федя.

— Кто это тебе сказал? — шепотом отзывается Саша.

— Бабушка Арина приходила. Посмотрела на меня и говорит: плохонький ты.

— Ты просто худенький. Надо побольше есть. И станешь ты крепкий, и мускулы у тебя будут, как... как у дяди Коли.

— Я хочу, как у папы.

— Верно, давай будем хорошенько есть, и ты станешь сильнее всех ребят в Ручьевке.

— Я вышел за калитку, а ребята лают: косой! косой!

— Ну, не беда. Мы наденем очки, и глаза станут глядеть прямо. Ты на ребят внимания не обращай. Полают, полают, да и перестанут.

— Я Петьке стукну, — подает голос Оля, — будет знать, как дразниться, леший такой.

А Саша и Федя думали, что Оля спит. Стрекошет сверчок, его стрекотанье смешивается с сонным дыханием детей.

А может, он для нее играет, хочет сказать — не робей, все будет хорошо. Она лежит без сна и вспоминает то одно, то другое. Федя... Когда они с Федей приехали в Ручьевку, он долго озирался, — видно, искал глазами отца, но ни о чем не спросил. Потом пришли к Варе. Саша села на корточки перед чемоданом, стала искать полотенце. Захлопнула чемодан, подняла глаза на Федю. Он стоял, беспомощно свесив руки, и по лицу у него текли слезы. Она впервые видела, чтобы шестилетний ребенок плакал вот так: горько, молча.

Как ей было страшно, что Федя с ней. Когда свой ребенок — все иначе. Тут уж ничего не поделаешь: одна судьба. Но чужого ребенка... Да, тогда она еще думала про Федю — чужой. Не свой. А теперь? Теперь он свой: что с ней будет, то и с ним. А тогда что ей оставалось делать? Анисья Матвеевна не соглашалась на ее отъезд. И под конец сказала:

— А коли так — бери с собой парня.

Сорвала злость.

И вот они поехали вместе... Это было осенью. От Гомеля до Чернолесья ехали на автобусе. Она держала на руках уснувшего Федю и со страхом смотрела в окно. За окном все темнело, темнело, и когда в автобусе загорелась тусклая лампочка, от нее не стало светлее, только заметались, путая все очертанья, смутные тени. Где-то в Аравичах в автобус зашел гармонист, женский голос затянул песню, гармоника хрипло подыграла. Сидевшая неподалеку от Саши женщина в сером ватнике вдруг сорвалась с места и пустилась в пляс на узкой дорожке между скамейками. И оттого, что автобус зашумел, запел, заплясал, Саше стало совсем неприкаянно. Она помнит: на передней скамейке спиной к водителю сидел сухонький старичок. Опираясь подбородком на толстую суковатую палку, он пристально и серьезно смотрел на Сашу.

— Ты откуда? — спросил он вдруг.

— Из Москвы.

— О! А куда?

— В Ручьевку.

— А тебя встретят?

— Не знаю.

— Пойдешь ко мне ночевать.

Он не спросил, он сказал это уверенно, как о деле решенном.

— Зачем это она к тебе пойдет? — неожиданно откликнулась женщина, сидевшая рядом с Сашей. — Она ко мне пойдет. У меня хата рядом с магазином. Пойдешь ко мне?

И Саша поняла, что, приехав в Чернолесье, она не побредет темной ночью за семь километров в Ручьевку и не станет раздумывать, в какую дверь постучаться. Она

пойдет ночевать вот к этой женщине. И не так уж тускло светит лампочка, и гармоника не такая хриплая, как показалось сначала.

Ее встретил фельдшер Стеклов. О нем Андрей Николаевич говорил: я давно его не видел. Мы только изредка обменивались письмами. Но я голову прозакладываю: каков был в пятнадцать лет, таким и остался. Спокойный, надежный. Раз уж вы твердо решили ехать, нам всем будет спокойнее, если к нему. И Федя Стеклову не чужой: Мити Королева сын.

Он правду сказал, Андрей Николаевич, с таким человеком надежно. Большелобый, спокойный. «Приживетесь, — сказал он, — тут народ хороший. А ты, значит, Митин сын? Ну, с приездом! Жить будете у меня».

Саша поглядела: жена, четверо ребят. Нельзя. Он огорчился, но она знала: нельзя. А потом она сидела с Федей на чемодане в сельсовете, пришла Варя и тоже сказала: пойдём ко мне жить.

И у Саши появился дом.

В большом городе чужой ходит от гостиницы к гостинице и всюду слышит: мест нет, мест нет. А тут чужие подходят и говорят: пойдём ко мне. Вот какая она, эта страна, Белоруссия! Что бы ни было, — думает Саша, — что бы ни было, где бы я ни жила, а здесь тоже мой дом. Если бы мне сейчас сказали: езжай домой — поехала бы я? Нет. Правда ли это? Правда. Я не могу быть без детей, но без него могу. В Москве я была боль, мученье, я была не человек. Ты убежала сюда от боли? Ты спаслась от нее? Не знаю. Но здесь я человек. Удивительно: они с Лешей так долго жили порознь — война, Германия, — а думают и видят одинаково. Все, что мучает ее, мучает и Лешу. С Митей она была все время рядом. Почему же ей то и дело казалось, что они не слышат, не понимают друг друга? «Ты — журналист, тебе глаза песком засыпать

нельзя», — сказал ему однажды Леша. Да... Все видеть — это бывает страшно. Как хочется закрыть глаза, не думать. Страшно додумывать. А надо... Ну, а что же будет дальше? Вот летом она поедет в Москву. И тогда поймет, как будет жить дальше. Через полгода вернется из далекой экспедиции Федина тетка. Наверно, она захочет взять Федю. Такой маленький, он все теряет, теряет: сначала умерла мать, потом не стало отца. И вдруг меня не станет... Нет, не буду об этом. Уснуть бы. Почему я не сплю?.. Из темноты выплывают лица девочек — зыбкие, будто отражение в воде...

И снова утро.

— Саша! — окликает Варя. — Ты послушай, что радио говорит.

— А что такое?

— Ты слушай. Сталин помирает...

Не видя, она знала, как сейчас в Москве. Улицы, запруженные людьми, толпы у Дома союзов. Приспущенные траурные флаги. Смятение. Слезы. Речи.

А здесь? Тишина. Село словно вымерло. Все разошлись по своим хатам и притаились в молчании.

Еще минуту назад автобус не очень быстро, но упрямо одолевал дорогу, подскакивал на ухабах, и деревья подступали к самой дороге, и ветки гремели по окнам автобуса. И вдруг он встал как вкопанный. Саша подтягивает на плечах рюкзак — там два белых батона, пряники

и сахар для Феди с Олей, цветные карандаши и песенник — просил заведующий клубом, три общих тетради просил директор школы; и лекарства, лекарства, много лекарств.

— Есть кто до Ручьевки? — спрашивает Саша. Никто не откликается. Не беда, дорога знакомая, много раз хоженная — и ранним утром, и жарким полднем, и темным, прохладным вечером. Вот она перед ней, безлунная лесная дорога. Потом будет поле, а за полем сразу Ручьевка, дом.

...Идешь лесом и видишь под деревом могилу. Идешь полем, смотришь — огорожен пустырь. Тут стояла деревня. Ее спалили. И хаты, и людей. В поле осталось только это огороженное пустое место. И кажется, что деревянная изгородь молча говорит: помни. И люди помнят. И память эта вернула людей на пепелище. И снова выросли села...

Темнота, не видно ни зги, но Саша идет так, словно ярко светит солнце. Дорога сама ведет ее, привычная, знакомая дорога. И вдруг Саша слышит: кто-то идет следом. Не почудилось ли? Но нет, хруст сухих веток под ногами, мерный шорох листьев выдают чей-то осторожный шаг.

Куда идет человек? Если в Ручьевку, почему не окликнулся? Эта дорога только в Ручьевку, если ему в Иолчу, надо было у самого Чернолесья взять влево.

Ночью в лесу лучше идти в одиночку, чем слышать за собой чей-то осторожный шаг. Хоть бы женщина. Нет, женщина давно бы ее окликнула. Боишься? Боюсь. Неуютно. И словно бы еще темнее стало. Иди спокойно, забудь того, кто позади. Думай о чем-нибудь своем. Ведь есть о чем подумать... Читай стихи, вспомни все, какие знаешь... Лучше пропустить его вперед, вся тревога оттого, что он идет следом. Или

окликни, спроси: куда идет? Как зовут? Тут люди легко обо всем друг друга спрашивают. А шаги все ближе. И только Саша хочет обернуться, как слышит свист. В ночной тишине Саша узнает первые такты знакомой мелодии. Она идет, не оборачиваясь, и слушает. Первый концерт Чайковского. Уже не страшно. Уже легко, уже весело и как-то бесшабашно на душе. Умолк? Ладно, слушай. И она свистит «Осеннюю песню». А он в ответ... Что же это? Постой, постой, это вокализ Рахманинова, вот что это такое. Ладно, а теперь слушай ты — и она свистит. «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!»

Она слышит смех, оборачивается и бежит навстречу.

— Давайте ваш рюкзак, — говорит Андрей Николаевич. — Кто научил вас свистеть?

— А брат зачем? А Таисия Савва?

— Я уже два дня как в Ручьевке. Мы с Сергеем вспоминаем, вспоминаем и пьем — за Митю, за Федю, за вас, за самих себя. Хотел ехать за вами, да все в один голос говорили, что разминемся. Вот два вечера подряд вас встречаю. Я за Федей.

Саша останавливается.

— Дмитрий Иванович вернулся?

— Нет еще. Но он уже в пути.

— Господи! Какое счастье! Бывает же, бывает такое счастье!

— Так зачем же вы плачете?

— Постойте, но как же, ведь мне так хотелось самой его отдать. Я столько раз видела это во сне. Открывается дверь, он входит... Расскажите все с самого начала: что же было? Письмо? Телеграмма?

— Сначала я узнал в прокуратуре, что его освобождают... За отсутствием состава преступления. Дал ему телеграмму. А навстречу шла его телеграмма мне: еду, мол.

Но его поездка — дело долгое, дней десять, не меньше. Я к тому времени привезу Федю.

— Счастье какое! Если бы я была в Москве, мы бы с вами вместе его встретили! Но как же я тут без Феде? А вы звонили нашим перед отъездом?

— Звонил. Дмитрий Александрович в командировке. Девочки заходили, принесли письма и посылку.

— Письма сейчас с собой?

— А если бы и с собой? Как вы собираетесь их читать? И еще они прислали газету со статьей Дмитрия Александровича о барском шофере, который выселил старушку из ее комнаты.

— Я читала. Сильно. И горько. Правда? А Федя вас признал?

— Федя прилип к калитке. Он ждет вас.

— Ну расскажите же мне про девочек! И про все, что делается на свете!

Они шли лесом, и под ногами шуршали мокрые листья. Потом дорога вывела их в печальное ночное поле. Потом замерцал вдали огонек, послышался далекий лай, ни с того ни с сего вскрикнула ночная птица.

А они все шли и говорили обо всем вперемешку, для постороннего уха без смысла и порядка — сразу обо всем: говорили про Федю, девочек, Дмитрия Ивановича. И про все, что делается на свете...

У почты их окликнули.

— Александра Константиновна, — услышала Саша голос Новохатнего, — вам с утра телеграмма лежит.

Она схватила телеграмму и под фонарем прочитала:

«Еду. Спасибо. Целую руки. Королев».

Бывает же, бывает такое счастье!

Какое у Новохатнего славное лицо: он стоит под фонарем, и Саша видит это широкое доброе лицо, почему оно прежде казалось ей злорадным?

— Павел Трофимович, — говорит она. — Помните, мы говорили с вами о врачах? Вы читали? Их выпустили. И вот вышел еще один, мой друг, отец Феди.

— Откупились. Бывает.

— Что?!

— А вот то: раз посадили, значит, за дело. А тут вдруг на тебе, выпустили. Ясное дело: сумели откупиться. Они денежный народ, врачи эти...

Почерком Леши: *Дорогая Саша!*

Почерком Тани: *Дорогая Саша!*

Почерком Леши: *Вот мы уже не на Курилах, а на Урале, и мне стыдно сейчас, что я так огорчился, здесь оказалось очень здорово! Жаль, конечно, что не удалось кончить академию, но это, думаю, еще впереди, а? Здесь такая природа, что я просто одурел. Лопухи растут выше человека, в каждый лист можно вполне завернуться.*

Почерком Тани: *Это, конечно, художественное преувеличение.*

Почерком Леши: *Ну, пусть преувеличение. Нельзя же совсем ничего не преувеличивать. Нет, Саша, ты себе не представляешь, как здесь хорошо. Леса — вековые, скалы — предвечные. А горы...*

Почерком Тани: *Смотри «Кзаки», повесть Л. Н. Толстого.*

Почерком Леши: *Нет, Толстой отдельно сказал: «а горы», а я совершенно отдельно. К тому же те горы были Кавказские, а у нас — Уральские, они мрачнее, древнее, угрюмее и, конечно, красивее. Быт у нас тоже ничего. Городок отстраивается, мага-*

зины появляются, с продуктами — неплохо. Только пока что вода из кранов не течет. Я уж почти совсем приспособился носить ее ведрами из колодца, но все никак не решу, продевать ли коромысло под погон или сверх погона...

Почерком Тани: *Все врет. Просто ему лень переодеваться в гражданское.*

Почерком Леши: *А еще здесь неподалеку есть чудесное лесное озеро со скальными берегами. В самые жаркие дни в нем даже можно купаться, одна беда — слой теплой воды сверху очень тонкий, а внизу совсем ледяная. Таня в этом тонком слое помещается, а я нет, и очень ругаюсь. Одно утешение, что Таня скоро... (зачеркнуто).*

Почерком Тани: *Да, Саша, вы еще не знаете, что я поступила работать в школу. Свободных мест совсем не было, и знаете, что мне приходится преподавать? Рукоделие!*

Почерком Леши: *Чтобы ты поняла, Саша, как это нелепо, вообрази, что тебе предложили бы преподавать бокс. Таня из всех женских рукоделий знает только одно: пришивать пуговицы. Вот она со своими ученицами и пришивает пуговицы целыми уроками куда придется: на занавеску — так на занавеску, на пыльную тряпку — так на тряпку... Потом отпарывают, потом снова пришивают, так и урок проходит...*

Почерком Тани: *И вовсе нет! Он так говорит из скромности. Раньше я действительно ничего не умела, а теперь почти научилась вязать на спицах. А кто меня научил? Леша! Он сначала сам выучился по книге, а потом начал учить меня и почти выучил.*

Почерком Леши: *Если ее ученицы будут такие же понятливые, как она, то я ей не завидую... Шутки в*

сторону, Саша, меня очень интересует, как ты там живешь? Не собираешься ли обратно в Белокаменную? Слухи идут, что времена меняются, я получил письмо от Татьяны Васильевны — помнишь, моя преподавательница математики в академии? И она пишет, что, похоже, меня примут обратно с будущего года. Каково? Это уже признак! Так что, думаю, и для медицинской сестры Саши Поливановой работа в Москве тоже найдется. А? Но все-таки я не жалею, что поехал на Курилы и сюда, — надо было и это повидать в жизни, а то так и умер бы, не повидав океана, не узнав, что такое — Урал.

Целую тебя. Леша

Почерком Тани: И я тоже целую вас и очень надеюсь, что скоро буду писать вам всем вместе: Саше, и Дмитрию Александровичу, и Ане, и моей Кате.

Таня.

Лето. Июнь. За окном вагона — то сквозная березовая роща, то темный еловый лес, то поле, поле, сколько хватает глаз. Небо уже побледнело, скоро сумерки. Одна ночь отделяет Сашу от дома: рано утром — Москва. Завтра двадцать второе июня, самый длинный день в году, день выпускных балов, день ее рождения... И годовщина войны. Странно: двенадцать лет назад, в канун войны, она тоже была в дороге: возвращалась из Калуги домой. На вокзале ее встретил Митя. И первые его слова были внезапны как удар.

— Сашенька, милая, — сказал он, — война...

На этот раз ее никто не встретит, она никому не дала знать о своем приезде. Родители на Урале, поехали про-

ведать Лешу и Таню. Но девочки дома. Нет, не надо жалеть, что не дала телеграмму... Она приедет, когда ее не ждут, — так даже лучше.

Саша лежит на верхней полке и неотрывно смотрит в окно. Стемнело. За окном поля, а за полями дрожат и переливаются россыпи далеких огней. Почти год разлуки. Это мало или много? У нее не было досуга оглянуться, навести в мыслях порядок. Но сейчас она знает: память о доме была с ней неотступно, что бы она ни делала, о чем бы ни думала.

— Спускайтесь чай пить! — окликают снизу.

Там седой майор с молодыми глазами, с молодой, быстрой хваткой: чуть станция, он первый выскакивает из вагона и возвращается нагруженный покупками — куры, огурцы, черешня. Напротив него — старик без ноги, потерял еще в гражданскую. Он едет в Москву повидать дочку и внуков.

— Мне Москва не нравится, — говорит он, — сильная скученность населения. А скажите, почему вы лицом молодые, а волос у вас седой? Какое у вас было переживание?

Майор смеется в ответ:

— Дед, ну что ты спрашиваешь? У кого же нет переживаний? Найди мне такую жизнь.

— А как вы размышляете... Такой вопрос у меня есть. Как вы на этот счет думаете: большая вина на Берии лежит?

— О, куда метнул! Большая, конечно.

— Ну... А вот еще один вопрос... Как, к примеру, Сталин... Он как, про все эти дела знал?

— Не могу ответить, — говорит майор.

— Вот и я не могу ответить. Но я, к примеру, скажу: вот у меня сын председатель колхоза. Обязан он знать, что у него в колхозе творится? Он про каждую хату может рассказать, что в печи стоит.

— Сравнил! То колхоз! А тут целая страна!

— Товарищ майор, но вот вы — военный, вы должны знать...

— Товарищи попутчицы! — почти с отчаянием восклицает майор. — Спускайтесь, смотрите, какую я черешню купил. Будьте хозяйкой которая-нибудь! Ну, что такое, две женщины в купе, и такую волю взяли: верхние полки заняли, да еще пить чай не хотят.

Саша и ее соседка Люся — большеглазая худенькая девушка — спрыгивают вниз. Пьют чай, едят черешню, а старик все донимает майора, у него своя забота:

— Крестьянство — это, может, главное сейчас, главное — нет.

— Все про себя так говорят. Спроси у шахтеров, они тебе скажут, что без них земля не стоит. Дорогие попутчицы, а вы смотрели «У стен Малапаги»? Вот это фильм так фильм! Там девчонка играет, как настоящая артистка.

— А скажите... — говорит старик.

— Поздно, поздно. Уж давно спать пора. Москва знаете когда будет? В шесть утра. Давайте укладываться. Соседушка, может, все-таки перекочуете на нижнюю полку?

— Нет, спасибо, с детства люблю на верхней.

Старик еще долго вздыхает и бормочет что-то. Майор лег лицом к стенке и — то ли притворился, то ли в самом деле уснул. А Саша и не пытается спать, все равно не уснуть. Смотрит в непроглядную тьму за окном и думает: почти год разлуки... Мало это или много?

— Вы спите? — шепчет Люся. — Я вот что хочу спросить. Почему такое... почему такое... ухаживает один за мной... И лицом хороший, и характером тихий... А не люблю я его... Вот как получается.

Горит только синяя лампа. У Люси худенькое голубое личико. Она, как и Саша, оперлась лицом на ладони и смотрит в темноту за вагонным окном...

Почему такое, почему... Всех что-то мучает, большое ли, малое... Все спрашивают, думают, маются.

Утренний холодок, высокое, еще бледное небо. Людей много, и кто-то кидается к вагону с цветами, на весь перрон звенит счастливый женский голос: я здесь! Я здесь! Но Саше кажется, что платформа пуста. Зачем она не дала знать о своем приезде? Вот сейчас она уже увидела бы их. Они были бы вместе. Скорее, скорее, метро, троллейбус, еще минута, еще... Саша стоит у своих дверей. «Полированным — два звонка». Где же ключ, он только что был здесь... Черт с ним! Забывая, что час ранний, она нажимает кнопку: два звонка, и еще два, и опять два!

— Мама, мама, мама! Я прямо не верю, что это ты. Но почему, почему же ты не дала телеграмму? Мы бы тебя встретили! Я так люблю встречать! И Анюта не ушла бы в поход! Не огорчайся, не огорчайся, она непременно вернется сегодня, потому что сегодня выпускной бал у Жени, а она ушла в поход с Жениным классом. А потом сегодня бал и в нашей школе, и Анюте поручили говорить речь. Мама, мама, и папа тоже сегодня вернется, самое позднее завтра, он в Ярославле. Вчера вечером звонил и спрашивал, нет ли от тебя писем. Давай пойдем вместе умоемся! И потом вместе позавтракаем! И все время будем вместе!

Они вместе умываются, вместе завтракают. В квартире пусто, тихо: все на даче. В Сашиной комнате появились новые книжные полки, и новое кресло — глубокое, покойное. В комнате у девочек все по-прежнему, но Саше кажется, будто что-то изменилось. Нет, просто она отвыкла. Анисья Матвеевна смотрит на Сашу острым, испытующим взглядом, но голос ее звучит буднично, когда она говорит:

— А мы тебя ждем, не знаем, что делать, то ли Катерину в лагерь, то ли правда дачу снимать.

— Я не люблю отдыхать коллективно, — говорит Катя, — и вообще я от мамы никуда не уеду. Мы поедем куда-нибудь вместе. Или вместе пойдем в поход. Или укажем к Леше. Мама! Но ты же не знаешь самой главной новости! У Леси родился сын Андрей! Вот телеграмма!

Наверно, такая же телеграмма полетела в Ручьевку. А Саши там уже нет... Андрей, сын Андрей... Она встает из-за стола, идет к телефону.

— Можно Дмитрия Ивановича? В больнице? Жаль... А Федя в городе?

Но трубку уже положили: частые короткие гудки.

Она стоит глубоко задумавшись, не отнимая руки от телефонной трубки. Катя тихо подходит к ней, заглядывает в глаза.

— Федя на даче. В Раздорах. Мама, а ты знаешь, что я вместе с Андреем Николаевичем встречала доктора Королева? Знаешь, я все держала Федю за руку. Он смиренно так стоял и все прижимался ко мне. Дмитрий Иванович вышел из вагона без чемодана. Андрей Николаевич спрашивает: а где вещи? А Дмитрий Иванович говорит: нет, не разбогател я там. Они не обнялись, не поцеловались, я даже удивилась, только руки пожали. Я толкаю Федю, а он стоит. Дмитрий Иванович подошел к нему и так осторожно его поднял. И мы все стоим и молчим. Потом Андрей Николаевич говорит: это Сашина дочка. Тогда он посмотрел на меня, улыбнулся и говорит: здравствуй, Катя! Мама, правда ведь, теперь про все можно говорить, и про то, что было с доктором Королевым, тоже?

До чего же ей хочется жить открыто, без оглядки! Саша слушает ее и все видит: и вагон, и платформу, и смиренно стоящего испуганного Федю, и улыбку, с которой Дмитрий Иванович сказал: здравствуй, Катя!

— Мама, — слышит она Катин голос, — а Федя по тебе очень скучает. А ты тоже скучаешь?

— Ладно, скучаешь не скучаешь, Расскажи-ка лучше матери, какие у тебя отметки, — говорит Анисья Матвеевна.

— Отметки как отметки. По пению — пять, и по математике — пять. А остальное — неважно. Зато у Анюты — похвальная грамота. Одни пятерки, даже в глазах рябит.

— А от тебя в ушах звенит, такая грубиянка стала. Только и знаешь учителям грубить.

— Тетя Анися, ты об этом завтра расскажешь, ведь сегодня у мамы день рождения! Зато Анюте поручили говорить прощальную речь десятиклассникам.

— Ты на Анюту не кивай. Ты лучше Расскажи матери, как ты двадцатку загубила на крашеного голубя.

— Ну, чего вспомнила! Мама, мы, наверно, в будущем году будем учиться с мальчишками. И мы бегали смотреть на мальчишек из Пашкиной школы.

— И как? Нравятся?

— Ну что ты! Самые ерундовые, честное слово!

Саша смеется. Вот она и дома!

А потом прозвенели два звонка, и в комнату ввалилась Анюта с огромным рюкзаком на спине.

— Мама!

— Анюта!

Анюта... Вот кто изменился. И не то чтобы выросла. И не то чтобы похудела или похорошела. Просто — новая девочка...

— Где Женя? — спрашивает Катя. — Он обещал мне норвежскую марку.

— Мы поссорились, — говорит Анюта.

— Пускай сначала отдаст мне норвежскую марку!

— Я же тебе объясняю: мы поссорились и, может быть, даже навсегда.

Анюта включает утюг, она гладит свой белый передник и школьную форму. Белые ленты в волосах у нее чем-то походят на пропеллеры — вот-вот полетит.

Они говорят обо всем сразу — о совместном обучении, о походе (там один дурак из Женькиного класса сказал, что женщины в массе своей в умственном отношении ниже мужчин). О ссоре с Женей Анюта расскажет потом, без Катьки. Но на этот раз ссора очень серьезная.

— Мама, что же делать? — говорит Анюта. — Мне пора, а я не хочу с тобой расставаться.

— А если я пойду с тобой и послушаю твою речь?

— Ну что ж, тебя я не боюсь!

И вот они снова вдвоем — Саша и Аня. Вдвоем, как девять лет назад. Тогда рядом с Сашей семеняла маленькая, испуганная Анюта. Она крепко держала Сашину руку и очень боялась расстаться с ней — эта рука была для нее всем миром. Сейчас Аня вела Сашу под руку легко и свободно, и встречные улыбались и смотрели им вслед.

В большом зале одна только Анюта в коричневой школьной форме. А вокруг — белые платья, белые туфли, белые ленты! Все празднично. Что былые двойки, былые обиды и горести перед тем, что им предстоит. Впереди одно только счастье. Об этом им говорят сейчас и учителя, и директор школы, и представитель шефа-завода, и пожилая работница с Трехгорки. Об этом говорит им и Аня. Она поднимается на трибуну, секунду молча смотрит в зал шоколадными своими глазами, находит Сашу и, переведя дыхание, говорит:

— От имени всей школы поздравляю вас всех. Я желаю вам счастья, много, много... Одного только счастья и никакого горя — никогда!

Родители теснятся у стен — мамы и папы, но больше мамы. Мамы смотрят затуманенными глазами, забыв о

себе, вспоминая себя лишь для того, чтобы сравнить свою минувшую молодость с молодостью дочерей.

А в зал входят все новые и новые гости. Вот вошел еще один, и сердце у Саши ударило гулко и сильно. В дверях стоит Митя. Он идет в толпу, легко проскальзывая среди танцующих, и вот остановился у стены рядом с Сашей.

— Мне сказали, что ты здесь. Я за тобой.

Но ей нужно время, чтобы прийти в себя и собраться с силами.

— Погоди немножко, — говорит она. Потом поднимает глаза и вдруг видит его как будто впервые после многих лет. Седина незаметна в его светлых волосах, но резкие глубокие складки легли по обеим сторонам рта, и косая морщина прорезала лоб.

...Нежно-фиолетовым было ночное небо, встретившее их на улице. Эта ночь принадлежала выпускникам. Они лавиной текли к Красной площади, и пели, и смеялись. Сегодня они хозяева Москвы.

Все, что им говорили сегодня, — правда, — думает Саша, — каждый человек должен быть счастлив. Но если бы мне, а не Анюте надо было сказать всем этим девочкам напутственное слово — что бы я сказала? Я бы сказала:

*Сберегайте, девчонки, силы.
Запасайте, как сухари.*

Да, запасайте силы, все силы души. Запасайте силы, как сухари в долгий путь. Запасайте силы, они нужны для всего — для жизни и смерти. Для счастья. И для горя. И для любви.

Они идут вдвоем — Саша и Митя. Молча идут по опустевшим улицам. Они идут задумчиво, не говоря друг другу ни слова. И все светлеет небо, и тени деревьев ложатся на мостовую.

Литературно-художественное издание

Серия «Проза: женский род»

Вигдорова Фрида Абрамовна

Любимая улица

Ведущий редактор *Я.Н. Плигина*

Корректор *И.Н. Мокина*

Технический редактор *Е.П. Кудиярова*

Компьютерная верстка *И.В. Михайловой*

Подписано в печать
с готовых диапозитивов заказчика 10.02.2012.
Формат 84×108¹/32. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 20,16. Тираж 2000 экз. Заказ 2130.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 - книги, брошюры

Издано при технической поддержке
ООО «Издательство АСТ»

ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3а

Электронный адрес:

www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

Издано при участии ООО «Харвест». ЛИ № 02330/0494377 от 16.03.2009.
Ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.
E-mail редакции: harvest@anitex.by

Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати».
ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009.

Пр. Независимости, 79, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

ФРИДА ВИГДОРОВА

Любимая улица

ФРИДА ВИГДОРОВА — известная советская писательница и журналистка. Особой страницей в биографии Вигдоровой как общественного деятеля стало ее участие в судебном деле Иосифа Бродского, к которому она привлекла внимание многих известных деятелей культуры.

В феврале 1964 г. Вигдорова присутствовала на суде над Бродским и сделала запись судебных слушаний, которая получила широкое распространение в самиздате: собственно с этой записи, названной «Белой книгой», наряду с некоторыми ранними произведениями Александра Солженицына, и начинается история общественно-политического самиздата в России. А. Гинзбург посвятил Вигдоровой свою «Белую книгу» о процессе Синявского–Даниэля.

Повесть «Любимая улица» — одна из лучших книг Фриды Вигдоровой — завершает ее диологию (первая повесть — «Семейное счастье»). Это книга о семье, о любви, о долге, о человеческих отношениях. О том, что можно быть просто счастливым. Вигдорова возвращает надежду и веру в то, что все будет хорошо.

Огромное драматическое поле умолчания, напряженное пространство подтекста: литература прямого высказывания сильно проигрывает этой прозе, где все главное загнано за строчки... Невозможность высказаться прямо заставляет автора работать с деталью, нагружать каждую реплику, и в результате получается настоящая проза. Это не к вопросу о пользе несвободы — скорее к вопросу о художественной мере и такте: никто ведь не мешает нам и сегодня ставить себе такие задачи — писать в расчете на понимающего читателя, искать деталь, создавать подтекст... Снег ли она описывает, летнее ли утро, первый ли школьный день — все дышит счастьем, все — подарок; не надо мне говорить только, что тоталитаризм обстригает восприятие. Тут дело в чем-то ином: может быть — в скрытом, таинном даже от себя религиозном чувстве, а может — в спокойном, уверенном ощущении лежащей вокруг большой страны, которую ни автор, ни герои так и не возненавидели, несмотря ни на что.

Дмитрий Быков

Фрида была сродни не только диккенсовским героиням, но и самому Диккенсу: в жизни она творила то, что Диккенс придумывал в своих повестях, — превращала чужую беду в сказку с хорошим концом.

Лидия Чуковская

www.elkniga.ru • www.ast.ru

ISBN 978-5-271-40747-5



9 785271 407475 >